А. Е. Фурман

НАШИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Политический процесс в России с 1991 по 2001 год

Д. Е. Фурман

НАШИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Политический процесс в России с 1991 по 2001 годы

Сборник издан к 10-летию выхода в свет первого номера бюллетеня «Россия и мусульманский мир»

ЛЕТНИЙ САД
Москва · Санкт-Петербург · 2001

ББК 66.3(2Рос)6
Ф95

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
ОАО «РИТЭК»

Автор проекта и редактор-составитель
Альберт Бельский

В книге использованы рисунки А. Зудина, опубликованные в «Общей газете»

Фурман Д. Е.
Ф95 Наши десять лет : Политический процесс в России с 1991 по 2001 год : Сб. статей. — М.; СПб.: Летний сад, 2001. — 446 с.
ISBN 5-94381-033-1

Сборник статей, написанных в 1991—2001 гг. — одно из самых бурных десятилетий истории нашей страны. Сейчас — время остановиться, подумать, вспомнить прошлое и подвести итоги десятилетия, подумать о том, какие хорошие возможности мы упустили и каких опасностей избежали, где были правы и где — нет.

ББК 66.3 (2Рос)6

ISBN 5-94381-033-1

АНАЛИЗ НА БЕГУ

(газетные публикации в революционную эпоху)

Данная книга — сборник газетных статей, написанных в 1991—2001 гг., в одно из самых бурных десятилетий истории нашей страны. Сейчас основные бури и основные моменты выбора уже позади. Мы вступили в значительно более стабильную и устойчивую эпоху. «Время разбрасывать камни и время собирать камни». Сейчас — время остановиться, подумать, вспомнить прошлое и подвести итоги десятилетия, подумать о том, какие хорошие возможности мы упустили и каких опасностей избежали, где были правы и где — нет, где были умными и где — дураками. Только подведя такой итог, посчитавшись со своим прошлым, трезво взглянув на себя, какими мы были в шумное и нервное время пережитой нами революции, мы сможем не вслепую (или вернее, «меньше вслепую», чем раньше) идти вперёд.

1

Жанр газетной «аналитической» публикации — самый «опасный» для авторов жанр. В гуманитарных науках проверить правильность гипотезы не просто. Ты имеешь дело с некоей уже «состоявшейся» реальностью, которую ты объясняешь и строишь на её основе какие-то конструкции. Если ты достаточно добросовестен и умён, постарался учесть все имеющие значение факты, твоя конструкция может быть очень устойчива. Предположим, ты даёшь какое-то объяснение ритмам древнеегипетской истории, циклам расцвета и упадка египетских царств. Опровергнуть твоё объяснение — очень сложно. Конечно, могут быть

открыты какие-то новые источники, которые ты не учитывал и которые не соответствуют созданной тобой картине. Может быть обнаружено, что твоё объяснение, вроде бы подходящее для древнего Египта, не подходит для аналогичных циклов в других странах. Но в любом случае между выдвижением конструкции и обнаружением её несостоятельности пройдут десятилетия. То же самое — с большими, «глобальными» теориями, предсказывающими будущее. Эти предсказания обычно так неопределённы, что и через сто лет невозможно сказать, исполнились они или нет. (Есть ли, например, сейчас, «упадок европейской цивилизации» или даже «кризис капитализма»?) Совсем иначе — с газетными статьями, где ты постоянно вынужден делать предсказания, которые можно проверить буквально на следующий день.

Автор много раз поражался, сталкиваясь с газетными или газетного типа публикациями разных очень умных людей, как мало они понимали то, что происходит вокруг них, как постоянно «попадали пальцем в небо». Достаточно сравнить хотя бы теоретические построения Маркса и Энгельса с их комментариями разных текущих событий, или «Общую социологию» Парето и его же статьи об Италии после первой мировой войны и о раннем фашистском движении. Газетные публикации тут же раскрывают действительное соотношение твоих конструкций и реальности, то, насколько твоё мышление искажается твоими страхами, надеждами, любовью и ненавистью. Здесь вся твоя ограниченность — налицо, здесь ты — «голый».

Ситуация лицезрения собственной ограниченности никому радости не доставляет. Существуют разные защитные механизмы, позволяющие автору газетных публика-

ций сохранять уверенность в собственном уме и проницательности. Но самый главный — это просто забвение. Если человек много пишет в газетах, он не может помнить всё, что он написал. Человеческая память избирательна, она обслуживает наше самоуважение, и если взгляды человека менялись постепенно, без драматических отречений от прошлого, забыть которые невозможно и которые входят необходимым элементом в создаваемый им мифологический образ самого себя («я был слеп, но теперь прозрел»), он просто забывает свои взгляды даже двух- или трехлетней давности, ему кажется, что то, что он думает сейчас, он думал всегда. Это прекрасно знают социологи, многократно сталкивающиеся с тем, что, когда людей спрашивают, как они голосовали, получаются цифры, соответствующие не реальным цифрам результатов прошлых выборов, а скорее — теперешним индексам популярности политиков и политических партий. При этом большинство опрашиваемых не врёт, а просто «искренне» забыло свои прошлые взгляды. Поэтому столкновение со своими собственными публикациями прошлых лет — всегда столкновение болезненное, удар по самолюбию автора.

Я с 1991 г. довольно много писал в газетах и, естественно, не перечитывал то, что писал давно. Но подозревал, что, если стану перечитывать, за многое мне будет стыдно. И когда мой старый товарищ (А. Г. Бельский) предложил мне собрать для издания мои газетные статьи, я взялся за дело с энтузиазмом и отчасти страхом. Мне самому хотелось проверить себя, узнать, что я действительно думал по поводу разных событий, а не то, что я запомнил из того, что думал, и что я сейчас думаю о том, что думал тогда. И действительно, оказалось, что кое за что — стыдно.

То, что автору трудно, но полезно столкнуться вплотную со своим прошлым и своей ограниченностью — понятно. Но может ли быть какой-то интерес в этом у кого-либо, кроме него самого? Для чего читать статьи, отражающие старые и во многом ошибочные точки зрения на прошедшие события?

Определённый интерес здесь может быть. Во-первых, далеко не всё — ошибочно. Человек, имеющий определённую подготовку, не слишком ангажированный и старавшийся добросовестно думать, не мог не увидеть нечто, чего не видят другие, и попадал пальцем в небо я далеко не всегда и иногда видел тенденции очень точно. (Другие при этом, естественно, видели то, что не видел я.) Такие правильные, подтверждённые временем размышления представляют, так сказать, позитивную социологическую и политологическую ценность.

Но, на мой взгляд, мои ошибки и «попадания пальцем в небо» тоже могут представлять интерес не только для меня лично. Мне, например, всегда было очень интересно читать старые газеты. В массе статей, выражающих страхи и надежды, которые, как мы знаем теперь, не реализовались, в то время как реализовался совсем никем не предвиденный вариант, мы видим реальную картину сознания людей прошедшей эпохи. И «глупости» эпохи ничуть не менее интересны, чем её «умности». Понять, что люди не знали и не понимали — не менее важно, чем понять, что́ они понимали и знали. И не только автору полезно столкнуться со своими прошлыми ошибками — и чтобы уяснить для себя, почему они были сделаны и как избежать подобных в дальнейшем, и чтобы стать скромнее — если то, что он писал в 1991 г., оказалось неверным, то, может быть, ошибочно и

то, что он пишет в 2001 г. Но и читатель, видя ошибки автора, тоже может стать умнее и тоже поучиться скромности, вспоминая собственные и такие же, как у автора, и совсём иные ошибки и глупости.

Естественно, что, руководствуясь такими соображениями, я не производил отбора статей, не старался выбрать лишь самые «правильные» и не редактировал их, вымарывая места, за которые мне наиболее стыдно. В текстах исправлены только опечатки, не слишком частые, и в нескольких случаях вставлены сделанные редакцией сокращения. Редакторская правка, мной принятая — сохранена, раз я её принял, она вроде как уже моя. Должен сказать, что с редакторами мне везло, и я хочу сейчас их поблагодарить.

Это — Юрий Буртин, мой старый товарищ, ныне покойный, бывший одно время главным редактором уже забытой газеты «Демократическая Россия». Он меня вообще не правил, хотя один раз не взял статью, в которой я со слишком большим уважением писал о нелюбимом им Горбачёве (я её передал в «Независимую газету»). Это — Александр Гагуа, одно время заместитель Виталия Третьякова в «Независимой газете», также мои статьи практически не правивший. И это — два прекрасных редактора, бывших у меня в «Общей газете», с которой я сотрудничаю уже много лет и надеюсь сотрудничать и дальше, — работавший в ней раньше Андрей Липский и Анатолий Костюков. Это, напротив, активные редакторы, часто сокращавшие мой текст и вообще — вторгавшиеся в него и выдумывавшие заголовки, которые я сам никогда бы не придумал. Но, поработав с ними, я убедился, что сокращения могут не испортить, а улучшить статью, и даже активный и вмешивающийся в текст редактор — не всегда враг.

После этих замечаний о природе газетных публикаций я хочу немного сказать о содержательной стороне дела — о том, почему я писал то, что писал.

2

Когда ты пишешь предисловие к сборнику собственных газетных статей, ты вынужден писать о самом себе, что делать, не впадая в «самоприукрашивание», довольно трудно. Тем не менее я попытаюсь писать объективно.

Взгляды людей, пока они не приняли какой-то разработанной и продуманной идеологии (и в значительной мере и после этого), всегда представляют собой некую кашу из разных идейных обрывков. Тем более аморфным и кашеобразным было мировоззрение людей в конце советского времени, когда люди ещё боялись и не имели возможности последовательно размышлять и формулировать свои мысли и большинство непрерывно лгало, что не может не влиять на мышление (постоянно разграничивать правду, к которой ты стремишься в мыслях, и ложь, которую ты говоришь — невозможно, мысли обязательно начинают путаться). Но при всей неопределённости мировоззрения и настроений того слоя, к которому я принадлежал, московской гуманитарной интеллигенции, одним боком смыкавшейся с «деклассированной» диссидентской средой, другим — с номенклатурной цековской элитой, доминирующим в них была нелюбовь к советской власти. Нелюбовь чисто пассивная, вполне сочетающаяся с произнесением всех нужных слов и нормальным советским карьеризмом, но ждущая безопасной ситуации, при которой она сможет прорваться наружу. Впоследствии стало очевидно, что в официальную идеологию КПСС не верило и боль-

шинство членов ЦК и Политбюро и что реальные мировоззрения диссидентов и тех, с кем они боролись, не очень-то отличались друг от друга. (Кто может сказать, чем отличалось мировоззрение М. Горбачёва и А. Сахарова, З. Гамсахурдиа и Э. Шеварднадзе, Г. Алиева и сидевшего при нём А. Эльчибея?) Тогда это не было так очевидно, но догадаться было можно.

Общее для эпохи и социального слоя мировоззрение — это рамки, в которых могут быть самые разные «отклонения», связанные с индивидуальной психологией, семейным и личным опытом, определившие затем разные реакции людей на наступающие бурные события падения советской власти. Естественно, были они и у меня.

Я, как и большинство, в официальную идеологию, естественно, не верил. Может быть, не верил даже больше и дольше, чем другие (практически вообще никогда). Если понимать под словом «западник» человека, убеждённого, что объективная цель развития его страны — воспроизвести у себя те социальные механизмы упорядоченной и устойчивой свободы, которые обусловливают успехи западных обществ, я, безусловно, был «западником». Тем не менее, подавленной злобы к советской власти у меня почти не было, во всяком случае, было во много раз меньше, чем у большинства моих друзей и знакомых, в том числе и значительно более преуспевавших, чем я, ходивших на всякие заседания в ЦК и постоянно ездивших за границу. Главные причины этому — некоторые особенности «идейного развития».

В жизни человека самое главное закладывается и определяется в детстве. Мы забываем многие детские впечатления и обычно не осознаём их значимости, но иногда вдруг

начинаем понимать, что всю жизнь воспроизводим вновь и вновь какую-то психологическую ситуацию детства и в новых, взрослых и «серьёзных» формах всю жизнь продолжаем делать то, что начали в детстве. Могут быть также достаточно простые мысли, рано пришедшие человеку в голову и остающиеся с ним на всю жизнь, формирующие его отношение к миру. Это — несложные, но «сильные» мысли. Я думаю, что их возникновение и дальнейшее развитие — процесс интересный, поэтому, несмотря на его сугубо личный характер, я о нем немного расскажу.

У меня не так много детских воспоминаний. Но одно совершенно мизерное событие мне запомнилось очень чётко, что говорит, что при его внешней ничтожности, оно сыграло для меня очень большую роль. Я был в первом классе, и бабушка провожала меня в школу (чтобы попасть туда, надо было перейти относительно оживлённую улицу). Я спрашиваю у неё: «Бабушка, а Сталин — это царь?» Бабушка, из интеллигентной буржуазной семьи, отлично помнившая царское время, серьёзно отвечает: «Да». Больше она ничего не говорила, и я понял, что дальше спрашивать не нужно — я уже получил ответ. Это был «момент истины», открытие. Я понял, что за разными названиями может скрываться одинаковое содержание, что могут меняться этикетки, но суть оставаться прежней. Моё восприятие событий 1991—2001 гг. в громадной мере определено этим эпизодом 1950 года.

Позже, где-то в десятом классе, мне пришла в голову мысль, являющаяся развитием этого разговора и впечатления. Мы учили о Ленине, о революции и обо всём в этом роде. Но вдруг я подумал, что, если бы я родился, скажем, в Турции, мне бы преподавали совсем другие вещи, и я бы

был не марксистом, а мусульманином. Моя вера в марксизм-ленинизм, следовательно, — не моя, она обусловлена случайными обстоятельствами моего рождения, навязана мне, как ислам навязывается юному турку. Шансов на то, что марксизм, который мы учим, — правда, столько же, сколько шансов на то, что правда — ислам. Это тоже была отнюдь не сложная, но «сильная», пережитая, запавшая в душу мысль.

Эти эпизоды и возникшие в них мысли определили мои последующие занятия. На историческом факультете я стал заниматься религиозной борьбой в поздней Римской империи. При этом я увлекался и историей КПСС, с увлечением читая стенограммы съездов. Меня очень занимало сходство догматической борьбы в христианской церкви и в большевистской партии. О церкви я писал, о партии, естественно, нет (потом, уже в эпоху перестройки, я издал работу на эту тему). Но меня это не очень расстраивало. Вообще к цензуре я относился спокойно. В силу некоторой «экзотичности» моих занятий я не очень-то от неё страдал, и лгать мне приходилось не так уж много. Кроме того, я думал, что какая-то цензура (хотя бы цензура общественного мнения, цензура глупости) и борьба с ней неизбежны в любом обществе, что тут же обнародовать всё, что тебе пришло в голову, не нужно, и что в конечном счёте всё действительно сто́ящее сказать удастся.

Человек с таким миросозерцанием, естественно, не мог быть марксистом-ленинцем. Но он не мог и испытывать жгучую ненависть к советской власти и её идеологии, которая, в конце концов, не более плоха и лжива, чем другие. Ещё одно соображение не давало мне особенно ненавидеть советскую власть — я видел, что она умирает, что в

марксизм-ленинизм, являющийся её «душой», уже никто не верит, и фактически КПСС и СССР — глубокие старики, бессильные и впавшие в маразм. Советской власти я не боялся и ничего особенно плохого от неё не ждал. То, что жить ей — недолго, я, во всяком случае в семидесятые годы, понимал очень чётко. Какой будет способ её смерти, я не знал, но мне казалось, что это — не самое важное. Если перед тобой — глубокий старик, ты можешь смело предсказать его скорую смерть, не имея никакого представления, как и от чего она наступит.

Я был убеждён, что, в конечном счёте, Россия будет демократической страной. Демократия представлялась мне и представляется сейчас чем-то вроде нормального атрибута определённого возраста человечества, как атрибутами других возрастов были, скажем, государственная, а не племенная организация, письменность, железные, а не каменные или медные орудия. Овладеть этими достижениями почти всегда трудно, но раньше или позже овладевают ими все.

Но я не мог представить себе демократию сразу же после падения советской власти. Я думал, что между советской властью и демократией у нас должен быть период антикоммунистического, но очень похожего на советскую власть фашизма, который будет слабее и недолговечнее, чем коммунизм (за советские годы мы всё же ушли далеко вперёд по сравнению с 1917 г.), но всё же достаточно страшен. Я развлекался тем, что придумывал разные внешние приметы этого будущего радикального изменения знаков при сохранении сути — «проспект Солженицына», «улица генерала Власова», «Большая Белогвардейская», «сельскохозяйственная община имени святого Сергия Радонежского». Не боясь ни советской власти, ни отдалённого демо-

кратического будущего, я очень боялся «переходного периода».

Я сформировался как человек «академического» склада, любящий читать, избегающий шума, больших сборищ, лишённый слишком больших честолюбия, властолюбия и корыстолюбия. И я искренне надеялся, что неизбежный катаклизм произойдёт после моей смерти и я смогу прожить, спокойно занимаясь тем, что мне доставляет удовольствие и радость и что объективно полезно.

3

Горбачёва я, как и все, воспринял в энтузиазмом. Я был уверен, что советская власть будет «либерализироваться» (у меня даже была такая шуточная формула — «коррупция, переходящая в либерализм»), но появления на посту генсека реформатора, сознательно ведущего страну к демократической норме, я не ожидал.

Когда какой-то вариант возможного развития событий реализовался, он обычно начинает представляться как естественный, закономерный или, во всяком случае, очень вероятный. Но реализуется не всегда самый вероятный вариант. И сейчас, как и тогда, я думаю, что хотя само по себе падение советской власти было «безальтернативным», оно могло произойти в значительно более страшных формах, и Горбачёв — это подарок, сделанный России историей, его появление на посту генсека — счастливая случайность для нашей страны. Мне думается, что, например, появление в русской истории царя, который сознательно и добровольно решил бы ввести конституционное правление (чего на самом деле не произошло), было значительно более вероятно, чем появление его аналога на посту генсека (что произошло).

Я уверен, что шесть горбачёвских лет в громадной мере «смягчили» падение советской власти и постсоветские процессы.

При этом, хотя я испытывал такой же энтузиазм по отношению к Горбачёву, как и все мои друзья и знакомые, более того, я сохранил благодарность и уважение к нему и тогда, когда они его утратили, мои надежды на него были значительно скромнее, чем их надежды. Так как я не верил в возможность быстрого превращения нашей страны в развитое демократическое и рыночное общество, я скорее радовался той свободе, которую создавал Горбачёв, чем расстраивался, что он медлит и свобода эта — неполная. Наоборот, меня всё больше пугало, что развитие принимает стихийный, неуправляемый характер и выходит из-под горбачёвского контроля. Мне казалось, что люди уже получили больше свободы, чем они способны её «переварить», что Горбачёв слишком спешит, что надо остановиться и законсервировать тот уровень свободы, который уже есть, дать людям адаптироваться к нему. Ельцин, становящийся кумиром в моём социальном слое, внушал мне отвращение и ужас. Перспектива, которой я страшился ещё задолго до Горбачёва — повторения на новом этапе и в новых формах революционного цикла начала века (падение уже либерализировавшегося старого режима, период безудержной свободы и возвращение авторитарной системы с другими идеологическими знаками), — становилась всё более реальной.

При этом активной «перестроечной» деятельностью я не занимался. Меня втягивали, и я сам втягивался в публицистику, но не газетную, а «тяжеловесную» и скорее научную, но при этом я сопротивлялся изо всех сил. Я стремился

сохранить свой жизненный план «застойной» эпохи и заниматься не тем, чего требует время, а тем, что было наиболее интересно для меня лично — сравнением разных религий и их социальных следствий. «Перестроечные» сборища, на которые я всё-таки иногда ходил, хотя никогда на них не выступал, где разные профессора и академики, ещё совсем недавно сидевшие тише воды и ниже травы, теперь спешили выплеснуть наружу ту «антисоветщину», которая накапливалась у них за годы произнесения и писания того, во что они не верили, пугали меня. Страх у меня чередовался и уживался с надеждой, что, может быть, «как-нибудь всё обойдётся», что Горбачёв справится.

Я не думаю сейчас, что это было просто иллюзией. Мне и сейчас представляется, что были определённые шансы упорядочить и растянуть во времени процесс, продлив на некоторое время жизнь преобразованным КПСС и СССР и избавив народы СССР и от многих трагедий, и от многих разочарований. Но можно до бесконечности спорить о том, какие шансы здесь были упущены — доказать тут что-либо крайне трудно. Так или иначе, оправдались не мои надежды, а мои страхи. Наступил август 1991 г.

Если бы чрезвычайное положение ввёл сам Горбачёв, я, скорее всего, просто был бы тогда за него. Но его ввели другие люди. Размышлял о том, что из этого может выйти, я недолго — как только я увидел знаменитую пресс-конференцию гекачепистов, мне стало ясно, что демократы одержали полную и окончательную победу.

Тут я пришёл в ужас и начал («со страху») писать статьи в газеты. Я винил себя за то, что был слишком пассивен раньше, и решил, что моя обязанность — преодолеть инерцию, серьёзно заняться современными проблемами

и делать всё, что можно, чтобы помешать уж слишком плохому развитию событий. Я писал о том, что победа демократов — это поражение демократии, что революция обязательно пожрёт своих детей, что впереди — авторитарный режим националистической окраски; писал именно для того, чтобы хоть как-то помешать тому, чтобы это произошло, или хотя бы тому, чтобы это происходило в самых страшных формах.

4

Получается так, что я начал активно писать в газеты тогда, когда всё было более или менее решено и веер возможностей резко сузился. Ситуация смерти старого режима и становление нового — всегда ситуация значительной степени неопределённости, наличия очень разных возможностей. Так, хотя русское самодержавие было обречено при всех вариантах истории, в конце девятнадцатого — начале XX века существовал колоссальный диапазон возможностей. Например, Александр II вроде бы намеревался ввести конституцию, но не успел. Ясно, что никакой закономерности здесь нет. Он не успел, но мог и успеть. Между тем очевидно, что в этом случае вся история страны пошла бы иначе (как сейчас представляется — лучше, хотя мы не знаем, какие опасности подстерегали бы нас на этом другом пути). Громадный веер возможностей существовал и в 1917 г. Например, просто кто-нибудь мог бы убить Ленина и Троцкого — и всё пошло бы иначе (опять-таки нет гарантий, что лучше, но что иначе —несомненно). Но когда большевики уже победили, диапазон возможностей резко сузился. Конечно, можно представить себе, что Ленин бы жил дольше, что не Сталин победил бы Троцкого, а Троцкий

Сталина, что Сталин умер бы раньше, что затем пришел бы к власти не Хрущев, а Маленков или Берия и т. д. Всё это были бы иные варианты истории. Но основные контуры развития сохранялись бы при всех этих вариантах. Внутрипартийная демократия не могла не исчезнуть. Какой-то культ какой-то личности не мог не возникнуть. Марксизм не мог не выродиться в набор бессмысленных догматических формул. Форсированной индустриализации не могло не быть. Затем, на более позднем этапе, не могло не быть расцвета коррупции, либерализации и олигархизации.

То же и с нашим вторым революционным циклом конца века. Опять-таки, падение советской системы было неизбежным. Но не будь Горбачёва, оно могло произойти совершенно иначе. Горбачёв мог бы удержаться. Мог бы победить ГКЧП (я думаю, тот ГКЧП, который был в действительности, победить не мог, но мог бы возникнуть какой-то другой, с иным составом, ГКЧП). Но после поражения ГКЧП, распада СССР и прихода к власти демократов веер возможностей резко сузился. Основные контуры будущего развития уже были заданы. Так, авторитарное президентство не могло не возникнуть, кто бы ни оказался вождём демократов. Различия здесь могли быть лишь стилистическими. Конфликт между президентом и законодательной властью мог не принять такие кровавые формы, как в 1993 году, но вообще избежать его было нельзя, и победить в нём должен был президент. Приватизация, осуществляемая группой лиц, не скованных ни демократической законностью, ни партийной дисциплиной, вообще практически ничем, не могла не превратиться в разворовывание государственной собственности и не сопровождаться массовым обнищанием. Распад СССР не мог не повлечь за

собой множество конфликтов и не породить в России «патриотическую» реакцию. Основная раскладка и характеристики наших партий и политических размежеваний электората, система выборов верховной власти, при которой избран может быть только тот, кто её уже имеет, — всё это уже было задано в 1991 г. То, что происходило после этого года, было значительно более «безальтернативно», чем события горбачёвского времени. Тем не менее и в этих резко сузившихся рамках сохранялась возможность более и менее благоприятного развития событий и какая-то, большая вначале, когда режим ещё не консолидировался, не окреп, и затем уменьшающаяся, возможность и принципиально иного развития. Я старался быть объективным, но до конца это не получалось — страхи и надежды всё время искажали анализ. Сказать сейчас, какие из этих надежд и страхов были просто иллюзорны, какие — не реализовавшимися, но вполне реальными возможностями, мне очень трудно. Я перечислю сейчас некоторые из вызывавших у меня наибольшие страхи и надежды альтернативных ситуаций постсоветского периода.

Может быть, потому, что у меня не было никаких надежд в 1991 г., разворачивающиеся далее события вызывали у меня в целом не столько страх и негодование, сколько чувство облегчения. Мне кажется, что нам не только повезло с Горбачёвым, но и в сузившемся после 1991 г. коридоре возможностей реализовывались далеко не всегда самые плохие возможные варианты. Наоборот, я считаю, что мы, например, счастливо избегли многих вполне вероятных конфликтов на постсоветском пространстве и «югославского варианта», которого я так боялся. Можно очень много спорить, почему он не реализовался (или реализовался в

очень ограниченных масштабах), в какой степени здесь сыграли роль глубокие отличия российского и сербского обществ, в какой — сам пример Югославии, сдерживавший Россию, разные субъективные факторы и т. д. Но всё равно я уверен, что могло быть значительно хуже. Националистическая реакция на распад СССР и империалистская и националистическая трансформация идеологии правящего слоя в России также оказалась значительно более слабой, чем я опасался. (Боясь её, я явно недооценил и степень зависимости нашего правящего слоя от Запада, накладывавшей жесткие ограничения на национализм, и степень «послушности» народа власти). С другой стороны, как это всегда бывает, не реализовались и многие более хорошие варианты. В 1993 г. мне казалось, что расстрел парламента может вызвать какой-то сильный общедемократический протест, породить реальную и широкую демократическую оппозицию. Этого не произошло. Могло ли произойти при иных субъективных, случайных факторах, опять-таки, сейчас сказать определённо невозможно. Большие надежды у меня вызывала фигура А. Лебедя, который, как мне казалось, всё-таки мог преодолеть жесткое размежевание разных оппозиций, не способных объединиться и поэтому не опасных для власти, и произвести «электоральную революцию», создав прецедент демократической смены власти. Но из этой фигуры тоже ничего особенного не вышло. Несмотря на симпатии к Лебедю и смутные надежды, связанные с ним, в 1996 г. у меня с самого начала не было никаких сомнений в победе Ельцина — не было настолько, что на первом туре свой голос я отдал Горбачёву. (На втором — голосовал против всех.)

В конце ельцинского периода, однако, мне казалось (и сейчас кажется), случайно возникла альтернативная ситуация, которая могла иметь иной и очень хороший для нашего развития исход. Вмешался чисто субъективный фактор — Ельцин никак не мог подобрать себе преемника, который не внушал бы ему страха. Появилась реальная перспектива раскола правящего слоя, самоорганизации его части, которая выдвинет своего, а не назначенного Ельциным, кандидата. Неожиданно забрезжила ситуация первых действительно альтернативных выборов верховной власти в русской истории, которая могла бы радикально изменить отношение народа и власти. И я думаю, что если бы, с одной стороны, Ельцин задержался с назначением преемника ещё на какое-то время, а Примаков с Лужковым оказались иными людьми, или вместо них оказались иные люди, очень маленькая вероятность реально альтернативных выборов и неожиданного, но очень большого шага России к демократии могла бы и реализоваться. Но этого тоже не произошло. Режим идеально справился с критической ситуацией.

После того, как кризис передачи власти был преодолен, веер возможностей снова и резко сузился. Я не думаю, что могут в ближайшее время возникнуть факторы, дестабилизирующие режим. Если Ельцин, со всеми его выходками, с рейтингом, опускавшимся чуть не до нуля, в условиях значительно более «живого», сохраняющего какую-то волю к сопротивлению общества, смог переизбраться на второй срок и обеспечить избрание никому не известного и назначенного им чуть ли не в последний момент преемника, то переизбрание не пьющего и нормально говорящего по-русски (и даже по-немецки) Путина у меня никаких сомнений

не вызывает. Как не вызывает сомнений и то, что к концу второго срока Путин сможет сделать всё, что захочет — обеспечить избрание назначенного им человека или изменить Конституцию и остаться у власти и дальше. Режим сейчас принял законченные, классические формы, он стабилен как никогда.

Тем не менее, раньше или позже, кризис его абсолютно неизбежен. В XXI веке в стране, по многим параметрам — значительно более развитой, чем страны третьего мира, и культурно тесно связанной с Западом, режим «безальтернативной» президентской власти, передаваемой от президента назначенному им преемнику, — «пережиточный», архаичный. Он соответствует нашей исторически сложившейся психологии, но даже в нашем теперешнем сознании он не может до конца восприниматься как норма. Тем более он будет ощущаться как ненормальный и «постыдный» следующим за нами поколением, которое будет иметь иной исторический и жизненный опыт и воспитывается в неизмеримо более свободной, чем наше, обстановке. И этот неизбежный кризис, как любая подобная ситуация, будет означать новое резкое расширение веера возможностей. Но сам я до этогокризиса явно не доживу.

5

Вообще возможности газетных (да и любого другого) комментария и анализа очень ограничены. Но в ситуации неопределённости, кризиса ещё можно представить себе, что какие-то очень яркие публикации что-то могут изменить. Сужение веера возможностей после того, как кризис разрешен, естественно, означает и сужение возможной эффективности публикаций.

В этой ситуации газетные комментарий и анализ должны очищаться от публицистики. Они должны служить прежде всего уяснению закономерностей общества, что может стать реальным фактором потом, когда веер возможностей при следующем неизбежном кризисе снова расширится. Но это – очень трудно. Невозможно быть бесстрастным и спокойным наблюдателем и исследователем в своей стране, судьба которой — твоя судьба и судьба твоих близких, действующих политиков которой ты многих знаешь лично и не можешь как-то лично к ним не относиться. Симпатии и антипатии, надежды и страхи неизбежно вторгаются в анализ и его деформируют (я уже не говорю о тех ошибках анализа, которые проистекают просто от недостатка знаний и от чисто интеллектуальной ограниченности).

Но делать нечего – если ты чем-то занимаешься, надо стараться делать это настолько хорошо и добросовестно, насколько это в твоих силах. Я могу сказать, что, во всяком случае, старался и стараюсь.

Каждое поколение оказывается перед своими выборами — и индивидуальными, типичными для его времени и обстоятельств, и коллективными. Наше поколение подходит к концу, и основные свои выборы оно уже сделало. Как сузились возможности альтернативного развития жизненных событий, складывания биографии у людей моего возраста, так сейчас сузились возможности складывания «биографии страны», истории. Новое расширение произойдёт уже при новых людях. Были ли наши жизненные и исторические выборы правильными, лучшими из возможных? Конечно, нет. Так вообще быть не может. Мы наделали множество глупостей и ошибок. Эпоха 1989—1992 гг.,

по-моему, это просто какой-то «пир глупости». Как мы лично могли прожить лучшие жизни, так и наша страна («теоретически») могла сейчас быть и более свободной и более богатой и более уверенно глядящей в будущее. Но заниматься самобичеванием и слишком переживать об упущенных хороших возможностях не стоит. И дело не в том, что пропущенные возможности не воротишь — их надо осознавать, чтобы сделать в новых альтернативных ситуациях более правильные выборы. Дело ещё и в том, что возможность какого-то очень хорошего варианта нашего постсоветского развития — действительно «теоретическая». Мы упустили много хороших возможностей, но и избежали множества плохих, о чём также не следует забывать. И я думаю, что упущенные хорошие и нереализовавшиеся плохие возможности в больших временны́х промежутках всегда уравновешивают друг друга, как уравновешивают друг друга при игре в «чёт-нечет» чёт и нечет.

Наша история не могла сложиться худшим из теоретически возможных образом и не могла сложиться лучшим из теоретически возможных. Шансы на постоянное выпадение чёта или нечета — ничтожно малы. Она, в конечном счёте, больше, чем какими-либо случайными обстоятельствами, определяется тем, какие мы, каковы особенности нашей культуры, наши привычки, наша психология и память о своём прошлом. Всё это сформировалось давно, и как при бесчисленных возможных вариантах человеческой жизни все они — в относительно узких рамках, заданных генетикой и детскими впечатлениями, так и все мыслимые варианты нашей истории (не только той, которая прошла перед глазами людей моего поколения) — в относительно узких рамках. При всех вариантах Россия, при том, что

было «заложено» в ней в самом начале её истории (выбор православия, географическое положение между Европой и Азией, татаро-монгольское завоевание), не была бы сейчас такой свободной и богатой, как США или Англия, но и не была бы в XX—XXI веках традиционным и нищим обществом вроде Афганистана или каких-нибудь африканских стран. Мы такие, какие есть, и имеем то, что «заслужили», — не самые успешные, но и не самые отсталые ученики «мировой школы».

Я уверен, что в наступившем веке мы станем действительно демократической страной (или, если распадёмся, демократическими странами) и относительно западных стран будем несколько богаче, чем сейчас (как это происходит с также относительно поздно, но раньше нас вышедшими на путь нормального демократического развития южноевропейскими странами вроде Португалии или Греции). Но это не значит, что можно спокойно ждать естественного хода событий. Всё будет зависеть от того, как следующее поколение будет решать проблемы, которые перед ним встанут. «Экзамен на демократию» мы с треском провалили в начале двадцатого века. Мы не сдали его и в конце двадцатого. (И я думаю, что и не могли бы сдать — всё-таки экзамен для нас был слишком труден, и подготовка у нас была слишком слабая.) Но достаточно сравнить революцию 1917 года и большевистский режим с революцией 1991 г. и теперешним постсоветским режимом, чтобы увидеть, как мы продвинулись, как приблизились к норме. Впереди — новый экзамен. Маловероятно, чтобы при возможности пересдачи экзамена человек так никогда бы его и не сдал. Но если совсем не готовиться, можно всё-таки и снова не сдать. «Экзамены», дающие возможность выйти

на путь нормального демократического развития, не могут быть слишком часто. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Но от того, как мы сегодня осмысливаем наш опыт, как мы анализируем причины наших неудач, будет в значительной мере зависеть и то, какой выбор сделают наши дети, и как скоро, в какой форме (сохранившись как единое целое или нет) и насколько болезненно у России получится окончательно войти во «взрослый» мир развитых демократических обществ. Поэтому будем стараться.

июнь 2001 г.

1991

**От Сахарова до Хасбулатова. Нам опять нужна оппозиция.
Центр и демократия. На что надеяться демократам?**

ОТ САХАРОВА ДО ХАСБУЛАТОВА

(Трансформация нашего демократического движения)[1]

В ситуации, возникшей после провала путча 19 августа, когда демократическое движение разгромило своих врагов и превратилось в господствующую в России силу, особенно важно подумать над тем, что это движение собой представляет, куда и как оно развивается. На наш взгляд, его эволюция повторяет логику развития любого идущего к власти революционного движения – это логика постепенной и незаметной подмены целей средствами. В начале движения в нем доминирует героическая и идеалистическая, «донкихотская» фигура академика Сахарова, вокруг которого группируются немногие бывшие диссиденты и либеральные интеллигенты. Это – эпоха, когда до настоящей политики, то есть борьбы за власть, ещё далеко и когда участие в движении потенциально обладает колоссальной политической силой, ибо в обществе накоплен громадный протест против «старого режима» и коммунистической идеологии, и как только появляются демократические выборные институты, принадлежность к движению оказывается средством для приобретения реальных власти и статуса.

На выборах народных депутатов СССР становится очевидно, что в крупных российских городах демократы могут победить. Начинается создание организационных структур и борьба за победу на выборах, за власть. И в это время, хотя в движении доминируют еще люди «старого типа» – Сахаров, Карякин, Адамович и др., приобретшие извест-

[1] «Независимая газета», 03.09.1991.

ность вне политики, в их профессиональных сферах, и в политике — «любители», — появляются и люди нового типа и более молодого поколения, фактически сразу же начинающие свою деятельность как профессиональные политики-демократы. При этом постепенно старые «любители», естественно, отходят на задний план, ибо политика — серьёзное дело, требующее самоотдачи. Не могут Евтушенко или Адамович заниматься ею так, как Станкевич и Заславский.

Профессионализация демократической политики, вытеснение в демократическом движении профессионалами дилетантов — нормальный процесс. И также нормально и естественно, что этот процесс постепенно трансформирует дух, мораль и в конечном счете — идеологию движения. «Настоящий» политик, профессионал, может быть не менее порядочен, чем «любитель» (политика — не более грязное дело, чем любое другое), но у него — иные жизненные задачи и соответственно — иная система ценностей. Политика — дело его жизни, и он просто не может позволить себе то, что может позволить человек, для которого эта сфера — не единственная и не главная. Поэтому чем «серьезнее» становится наше демократическое движение, тем оно становится «циничнее». Цель в нем начинает оправдывать средства. Уже в межрегиональной группе возникает новый партийный дух, тот дух, который позволял, например, Гдляну обвинять Лигачева во взятках, так и не предъявив никаких доказательств, а другим «межрегионалам» — считать, что это совершенно нормально (идет борьба, а Лигачев — враг).

Если выборы народных депутатов СССР — первый этап движения демократов к власти, то выборы в местные

Советы и депутатов РСФСР — второй этап. Демократы пришли к власти в Москве, Ленинграде, а затем и в России. И одновременно это — второй этап перерождения движения. Их лидер — уже не «Дон Кихот» Сахаров, смерть которого ставит черту под целой эпохой истории движения, а перешедший к демократам бывший член Политбюро Ельцин. Старый тип известных либеральных интеллигентов, любителей в политике, в российском парламенте почти не представлен. Быть демократом стало уже определенно выгодно. Начинается массовое бегство из КПСС в демократический лагерь, и те же люди, которые раньше толпились на Старой площади, начинают толпиться в Белом доме. Соответственно происходят и бурные трансформации в идеологии. На первый план выдвигается лозунг «российского суверенитета», позволяющий установить союз одновременно с сепаратизмом союзных республик и с русским национализмом, но идее демократии отнюдь не тождественный. И если на раннем этапе движания выдвигалось требование передать Карабах армянам, то теперь почти незамеченной проходит трагедия турок-месхетинцев (ибо борьба за их права может означать косвенную поддержку союзных структур). Вскоре выдвигаются принципы незыблемости республиканских границ и сохранения старого статуса автономий, полностью противоречащие не только идеям, господствовавшим на раннем этапе движения, но и праву наций на самоопределение. При этом никаких голосов протеста не раздается — движение идет к власти и ему не до принципов.

Путч 19 августа — третий этап эволюции. Он дал возможность полностью разгромить оппозицию, и одновременно «героическая защита Белого дома» дала как бы

индульгенцию на всё. Вновь закрываются газеты (теперь уже — недемократические), смещаются нелояльные местные власти. Россия выступает как «супердержава» Союза и, сразу же после того как она провозгласила принцип незыблемости границ, заявляет, что у нее есть территориальные претензии ко всем соседям. Одновременно в российском парламенте торжествует новый (и одновременно — очень древний) дух «аплодисментов, переходящих в овацию». Демократы превращаются в «так называемых демократов» именно тогда, когда никто уже не решается их так называть. Победа демократов оборачивается серьезной угрозой для демократии, и уже очень четко вырисовывается перспектива авторитарного популистского режима с вождем, «народным президентом», во главе, базирующимся на преданном ему «демократическом движении», в идеологии и символике которого преобладают антикоммунизм, русский национализм и националистически окрашенное православие. Большевистско-фашистский дух, изгнанный в дверь, с удивительной легкостью пролез в окно.

Произошло то, что в истории происходило тысячи раз, начиная с эволюции раннего христианства и кончая эволюцией большевизма. Логика борьбы за власть подменяет цели средствами, делает средства — власть, привлечение на свою сторону масс — реальными целями, до неузнаваемости трансформируя идеологию. Движение подчиняет себе массы, но одновременно само подчиняется им, их предрассудкам, их сознанию. И в стране с нашей политической традицией любая идеология, победив в масштабе страны, став господствующей, неизбежно приобретет «фашистоидные» черты. То, что она начертала

демократию на своем знамени, такая же малая этому помеха, как изначальный интернационализм большевиков был помехой в становлении сталинского режима с его русским шовинизмом и антисемитизмом. Все идет «как положено». Что же делать?

Демократия — не господство партии «демократов», тем более наших «демократов». Демократия — это борьба партий в рамках закона. Сейчас демократы оказались практически без оппозиции, ибо компартия распалась. Но если демократам оппозиция не нужна, то демократии она нужна как воздух. Поэтому нам нужны не сплочение вокруг Ельцина и не пляски на костях поверженного противника. Нам нужна критика данного варианта демократии, в котором идеи демократии все более подменяются идеей великой России, «ельцинского царства», возникающего на обломках Союза. Нужно сплочение всех тех, кого страшит эта перспектива, кому демократия дороже, чем партийные интересы, и тех, чьи интересы, не противореча принципам демократии, противоречат данному, исторически ограниченному ее воплощению. Если этого не произойдет, то сколько бы мы сейчас ни говорили о демократии, мы снова придем к тоталитаризму, который вернется в новом и поэтому неузнанном облике, как неожиданно, совсем не оттуда, откуда можно было предполагать — не от «белых», а от большевиков, — пришло возвращение, причем в многократно усиленной форме, худших черт самодержавия.

Первая русская революция «проскочила» на своем пути от самодержавия к большевистской диктатуре стадию демократии. И если история хоть чему-нибудь нас учит, мы должны сделать все возможное, чтобы не повторить ее путь.

НАМ ОПЯТЬ НУЖНА ОППОЗИЦИЯ[1]

Этот нерешительный и слабый путч дал российскому демократическому движению легкую победу. Он восполнил как раз то, чего так недоставало нашим демократам: подарил символ, что-то вроде взятия Бастилии. Теперь и у нас есть свои святые, свои мученики.

Главное его политическое последствие: враги Ельцина и сил, его поддерживающих, сметены. Можно всё: смещен союзный министерский кабинет, приостановлена деятельность РКП, закрыты газеты «Правда» и «Советская Россия», сняты нелояльные руководители на местах, очень ослаблен Горбачёв. Мало того, путч оттянул наступление будничной жизни для нашего демократического движения. Поясню: революция — всегда праздник, всегда карнавал. Потом наступает самый тяжелый момент: переход к будничной повседневности. Для революционных политических лидеров это всегда тяжелое испытание, потому что они формируются как раз в ситуации праздника. Они появляются и выдвигаются благодаря умению произносить яркие, зажигательные речи и проч., а на посту государственного деятеля от них требуются уже совсем иные свойства. Как тамада совсем не обязательно лидер в повседневной и трудовой жизни. Эти будни уже начинались. Стали падать тиражи газет, накопились усталость от митингов и манифестаций, раздражение от бессилия новой власти. Путч отодвинул будни, подарил продолжение праздника.

Итак, провалившийся мятеж 19 августа — великий подарок нашему революционно-демократическому движению.

---

[1] «Демократическая Россия», 32.08— 4.09.1991.

Но не демократии. Демократия и это движение — отнюдь не совпадающие между собой вещи. У нас демократы — это «революционная» партия со своими политическими целями, начертавшая демократию на своих знаменах. Эта партия, как и любая партия, имеет свою специфическую, не сводящуюся к демократии идеологию, свои специфические, не сводимые к демократии интересы, связанные с особенностями ее возникновения, с обстоятельствами ее политической борьбы. Отношение здесь примерно такое, как между одной из партий (Демократической или Республиканской) в США и американской демократией.

К примеру, круг вопросов, связанных с национальными отношениями, национально-государственным устройством. Политически после избрания Ельцина на пост главы российского парламента российским демократам оказалась выгодной идея республиканского суверенитета, позволявшая вступить в блок с национально-демократическими силами в республиках и использовать в своих интересах русский национализм. (Хотя поначалу господствовала идея прав всех наций, а не государственного самоопределения республик.)

Таким образом, у нас конкретно-историческая форма демократизма стала подменять собой само содержание демократизма. Идеология «Демократической России» постепенно начала обрастать напластованиями, не имеющими отношения к демократии как таковой, но имеющими отношение к конкретным политическим условиям существования этой партии. И сам демократический блок чем ближе к власти, тем, естественно, больше включает в себя людей, далеких от демократии и привлеченных туда стремлением к личном выгодам. Все больше включается и элементов

околонационалистических. Наоборот, многие группы и силы», объективно вполне укладывавшиеся в логику и систему общедемократических принципов, оказались вне этого блока, на стороне КПСС и союзного централизма. Чем, например, антидемократичны требования татар, которым демократы противопоставляют принцип единой и неделимой России? Но из-за конкретной расстановки политических сил татар меньше пугает союзный центр с его слабеющими структурами, чем усиливающаяся и все более обретающая националистическую окраску российская демократия. Чем отличается рабочий Таллинна от свердловского рабочего? Только тем, что поддержка требований таллиннских рабочих российским демократам сегодня не выгодна. Поэтому свои, во многом демократичные, требования русский рабочий Таллинна выражает через Интердвижение. Подобным образом демократические по сути устремления бандеровцев привели их к поддержке Гитлера.

В сложившейся обстановке фактического возвращения к однопартийности в России процесс перерождения демократического блока пойдет семимильными шагами. Мы уже видим обстановку российского Верховного Совета, где царит атмосфера неприличной лести по отношению к своему руководству: аплодисменты, переходящие в овации, и предложение присвоить Ельцину звание Героя Советского Союза, и неприкрытое хамство по отношению к чужим.

Сложилась ситуация, благоприятная для оживления русского национализма. Россия получила возможность вести себя как великая держава, диктуя свою волю другим (народам?) республикам. Причем порой наши демократы доходят до того, до чего даже Сталин не додумался: к

примеру, идея, что союзный премьер-министр должен быть обязательно «представителем России» (Сталин был все же «представителем Грузии»). Если дело пойдет так дальше, то мы очень скоро окажемся в обстановке популистского репрессивного режима с Ельциным во главе. А те силы, устремления которых объективно не покрываются этим блоком, будут искать в условиях демонтажа КПСС новое идеологическое выражение. Тот же таллинский рабочий шёл за КПСС, которую возглавлял Горбачёв, и потому его идеология била до некоторой степени ограничена теми рамками, в которых развивалась КПСС (то есть все же крайностей фашистского толка не допускавшими). Теперь — стремительная фашизация интердвижения. А татарским сепаратистам, по-видимому, не оставлено идеологической альтернативы: их путь теперь — путь к исламскому фундаментализму. Что еще могут они противопоставить России?

Российские демократы победили почти без борьбы. А демократия пока не победила. Демократии нужны, условно говоря, не только демократы, но и республиканцы, то есть нужна яростная, решительная борьба сил, которые все являются при этом демократическими. Самое, наверное, опасное сейчас — сплочение демократических сил вокруг Ельцина. Это может легко помочь бывшему первому секретарю Свердловского обкома проскочить в своем развитии демократически-популистскую стадию и превратиться в российского Перона или Насера. Меньше всего демократия сейчас нуждается в запрещении КПСС, закрытии «Правды», пире победителей на костях побежденных. Больше всего — в критике господствующих вариантов демократической идеологии и выработке альтернатив

тех демократических идеологий, что вобрали бы в себя объективные демократические требования, которые данный, исторически ограниченный, «демроссийский» вариант вобрать в себя не может. Подобно тому как в США был блок, отстаивающий права штатов, и был противоположный, отстаивающий права сильного центра и, одновременно, меньшинств. Будь там только демократы или только республиканцы — демократии бы не было.

Выработка такой альтернативы — серьезной, реальной и не по принципу большей или меньшей умеренности, а по принципу иных идеологических акцентов, — насущнейшая историческая необходимость. Если на следующих президентских выборах у Ельцина не будет серьезного демократического конкурента, то дело нашей демократии на данном историческом отрезке следует считать проигранным.

ЦЕНТР И ДЕМОКРАТИЯ[1]

Никакая революция никогда не умела остановиться вовремя: на то она и революция. Милюков и Керенский, Мирабо и Лафайет, Горбачёв и Лукьянов казались нерешительными и мягкотелыми или даже просто предателями, и революции всегда выносили на поверхность Лениных, Робеспьеров, Гамсахурдиа. Потом, через несколько лет, или через семьдесят лет, как у нас, наступало похмелье и прозрение («за что боролись, на то и напоролись»), но в период революции остановить её мчащийся под откос поезд почти невозможно.

[1] «Демократическая Россия», 13—19.09.1991.

Наша революция, возможно, уже миновала тот период, который потом будет вспоминаться как счастливое время удивительной свободы. И один из признаков этого — почти полное разрушение союзного центра. Мы попали в ловушку, созданную нами самими. Мы отождествили зло и реакцию с центром, имея в виду не только вот этот имперский центр, а центр вообще, мы отождествляли добро и прогресс с расчленением Союза. Это было очень заманчивое отождествление, заманчивое и политически, и психологически. Оно позволяло включить в «демократический блок» мощные силы националистических движений и использовать стремление самых разных и не всегда самых лучших людей «пограбить награбленное» при дележе союзной власти и союзной собственности. И оно позволило подменить очень сложную задачу — построение развитого демократического общества — задачей очень простой.

На мой взгляд, с нашим центром связан ряд мифов, аналогичных тем, которые всегда возникают спонтанно при разрушении империй.

Миф первый — центр был силен, и борьба с ним была героической борьбой с монстром. Это была действительно борьба с монстром, но реальную силу этого монстра показал комический путч его несчастных сторонников 19 августа. Наш центр можно сравнить с гигантом и колоссом, когда-то молодым и сильным (и в эту пору много грешившим), но давно уже изъеденным бесчисленными внутренними болезнями. И мы быстро почувствовали это, не устояв перед понятным человеческим искушением попинать ногами больного старика, воображая при этом, что пинаем того молодца и наглеца, каким он был когда-то, и ощущая себя мифологическими героями.

Миф второй — центр был коварен и для самосохранения разжигал этнические конфликты. В этом всегда обвинялись умирающие империи, и каждый раз происходило одно и то же: как только исчезал якобы вызывающий конфликты имперский фактор, начиналась немыслимая резня. Сейчас, после кровавой истории независимых Индии и Пакистана, смешно думать, что индийские этнические и религиозные конфликты инспирировались англичанами, как это утверждали индийские борцы за свободу. Они возникали из самих реалий индийской жизни. И у нас конфликты в Фергане, Молдове, Осетии, Карабахе и других регионах возникли не из-за интриг центра, хотя, разумеется, определенные силы в центре могли быть заинтересованы в этих конфликтах и поощрять их. Конфликты были всегда, но приобрели кровавые формы из-за того, что процесс разрушения союзных структур резко обогнал процессы демократизации, создания демократических систем, вводящих конфликты в мирное русло. Даже в том случае, если центр поощрял выступления автономий против России, прибалтийских русских против прибалтов и абхазов и осетин против грузин для своего самосохранения, то объективно этим он охранял права меньшинств, препятствовал установлению тирании большинства. Центр был настолько слаб, что вместо наведения порядка в Фергане переселил оттуда турок-месхетинцев. Но если бы центра вообще не было, то и никаких турок-месхетинцев сейчас тоже не было бы. Центр не мог положить конец карабахскому конфликту. Но я не уверен, останутся ли вообще без центра в Карабахе какие-нибудь армяне. Если центр не будет преобразован и воссоздан к новой жизни, а просто «отдаст богу душу», то конфликты, которые были до

19 августа, могут показаться цветочками по сравнению с тем, что нам предстоит (очень вероятны, например, войны России с Украиной и Казахстаном).

Миф третий — центр мешал развитию демократии. Уже не говоря о том, что инициировал демократические процессы в республиках все-таки Горбачёв, центр объективно выполнял и ряд важнейших демократизирующих функций. Он не давал нигде никому захватить власть полностью, везде являясь «второй властью», противовесом. При центре, даже слабом, сажать политических противников в тюрьмы местные революционные или контрреволюционные князьки все-таки стеснялись, и от откровенно фашистских режимов мы были гарантированы. Сейчас же происходит то, что происходило опять-таки сотни раз при разрушении империй. Вольнолюбивые жители Уганды требовали от англичан полной свободы, а не куцего самоуправления, добились этого, продержались несколько лет и попали под власть Иди Амина, диктатора-людоеда в буквальном, а не переносном смысле слова. И вообще почти нигде возникшие на развалинах английской, французской и других империй государства не обошлись без кровавых диктатур и войн между собой. И если центра не будет, то не обойдемся и мы.

Я совсем не хочу сказать, что наш центр и наш Союз — высшая ценность, которую надо сохранять любой ценой и навеки. Ценности прав человека, демократии (в том числе и права народов на самоопределение) неизмеримо выше. Но именно во имя этих высших ценностей мы не должны позволять Союзу распадаться и умирать, пока у нас не созданы стабильные демократические структуры. Если бы в Грузии, например, несколько раз прошли парламентские выборы, сложилась демократическая партийная система,

были бы гарантированы права абхазов и осетин, то совершенно не важно, в Союзе Грузия или нет. Но если выход Грузии из Союза означает, что целые народы, за судьбу которых мы все несем ответственность, будут попросту уничтожены, мы должны всячески препятствовать этому выходу, обставлять его жесткими условиями, требовать гарантий для национальных меньшинств. Сейчас, очевидно, ни в одной нашей республике, кроме, может быть, уже освободившихся прибалтийских (демократизм которых, однако, мы тоже склонны преувеличивать), нет условий для демократии. Демократия везде держится на Союзе, в том числе, я уверен, и в России.

Поэтому сейчас те, для кого демократия — не прикрытие стремления нажиться на переделе власти и богатства, не прикрытие национализма, должны, наконец, задуматься, нужно ли им просто добивать лежачего или, наоборот, попытаться вернуть его к новой жизни.

На мой взгляд, сейчас лозунгом демократии должно стать воссоздание сильного центра как гаранта прав человека на всем нашем евразийском пространстве. Разумеется, центр должен быть воссоздан на основе делегирования ему полномочий республиками, но таких полномочий, которые делали бы его сильнее, чем каждая отдельно взятая республика (включая и начинающую, кажется, приходить в безумие от своих легких побед над бессильным и старым монстром Россию). Центр должен иметь право и реальную силу, чтобы вмешиваться во внутренние дела республик, если там нарушаются права человека, не спрашивая согласия местных князей.

Для этого ему не нужно обладать чудовищной, но полностью бессмысленной армией, теоретически способной

уничтожить Китай и США одновременно, а практически не способной навести порядок в Осетии и Фергане... Но ему нужна достаточно сильная высокопрофессиональная и мобильная армия, способная легко подавлять погромы типа ферганского (которых у нас еще будет достаточно). Он должен быть не слабее, а сильнее старого центра. Воссоздать такой центр — очень трудно (значительно труднее, чем полностью его развалить), но пока еще возможно. И если у нас хватит ума и сил сделать это, мы спасем себя, ибо пока демократия у нас не пустила корней и пока мы не гарантированы, что распад Союза не будет означать серию русско-казахских, таджикско-узбекских и прочих войн, Союз и союзный центр — основная гарантия и нашей демократии, и нашего выживания. Лишь в том случае, если мы сохраним (или воссоздадим) сильный центр, мы сможем добиться того, что эта русская (и украинская, грузинская, и т. д.) революция будет последней.

НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ ДЕМОКРАТАМ?

Честность может оказаться единственным шансом уцелеть[1]

Цикл нашего политического развития сейчас вырисовывается достаточно ясно. Это еще одна модификация обычного революционного цикла, идущего от старого, внешне монолитного, но прогнившего насквозь режима, когда-то — жестокого, но в конце ставшего «от старости» как бы и либеральным, через период все большей демокра-

[1] «Независимая газета», 8.10.1991.

тизации к диктатуре, в которой, при внешне радикальной перемене всех идеологических знаков на противоположные, фактически восстанавливается в новой (всегда неполной, но зато часто более «энергичной» форме старое содержание). Так развивались и французская революция (от Людовика к Робеспьеру, а затем — Наполеону), и первая русская (от самодержавия к Ленину и затем Сталину), и множество других революций. Так развиваемся и мы — от «старого режима» Брежнева к эйфории ранней перестройки, к первому съезду народных депутатов СССР, удивительно напоминающему своим ограниченным, «сословным» представительством Генеральные Штаты или Государственную думу, затем — к уже чисто демократическим выборам в республиканские органы власти, к которым в ходе развития революции все более и переходит реальная власть, и, наконец, после августовских событий — к практическому исчезновению власти «старого режима» и начавшемуся наступлению на демократические институты уже «с другой стороны». Народ, в котором раздражение против старых порядков и старой идеологии все же заметно превалирует над приверженностью демократии, уже «выпустил пар», сбросил памятники и сейчас явно хочет новой «сильной власти», которая наведет порядок, положив конец «парламентской говорильне». Поэтому идущие и намечающиеся сейчас битвы законодательной власти с исполнительной — это битвы арьергардные. Голодавшие депутаты Моссовета не смогли созвать на митинг столько людей, сколько собрали «поповцы», и раздираемому борьбой фракций российскому парламенту явно не тягаться с «харизматической» личностью «народного президента», в котором националистические депутаты из бабуринской

группы «Россия», похоже, также начинают видеть «своего» — как многие «белые», прозревая, начинали понимать, что большевики и есть воссоздатели царства и собиратели земли русской. Тенденция к тому, что Россия (и уже не как основа великой державы — СССР, а как страна, которой суждено занять в мире место где-то рядом с Бразилией) вернется (во всяком случае на какое-то время) к привычным для нее авторитарным методам управления, с каждым днем все очевиднее.

На что же надеяться и что делать в этих условиях, когда время, очевидно, начинает работать против демократии, демократам? Не «так называемым демократам», для которых лозунги демократии — лишь прикрытие стремления «грабить награбленное», или тем, кто, искренне крича: «Да здравствует демократия!», так же мало понимает, что это такое, как искренне выкрикивавший тот же самый лозунг питерский рабочий в 1917 г., а настоящим демократам, которые явно остаются в меньшинстве.

Во-первых, на то, что хотя их поражение в ближайшей исторической перспективе весьма вероятно, в конечном счете демократия наверняка победит. Демократии не побеждают в революции и контрреволюции. И Робеспьер, и Наполеон, и Реставрация, и все последующие революции и контрреволюции во Франции — это вехи и этапы процесса, в конечном счете приведшего к стабильной, зрелой и прочной современной демократии. И как ни своеобразен исторический путь России, к демократии, очевидно, придем и мы. Но мы отлично понимаем, что, хотя надежда на конечную победу демократии и может придать силы и исторический оптимизм, все же утешение, что при демократии будут жить наши внуки, весьма сомнительное.

Во-вторых, это надежда на то, что мы все же значительно ближе к демократии, чем в 1917 г., — и иной социальный состав и образовательный уровень населения, и иная ситуация в мире в целом. И можно надеяться, что новый авторитарный «спазм» будет короче и мягче, чем «ленинско-сталинский». Однако он, несомненно, будет циничнее, «грязнее» и в своем эклектическом сочетании старой, царистской символики с советской символикой и реальностью (бывший член политбюро — «великий князь») — пошлее. Но даже надежда на относительную мягкость нового авторитаризма может не оправдаться. Мы знаем, что уже весьма развитому германскому обществу пришлось пережить кошмар гитлеризма, а те ужасы, которые нас подстерегают в связи с развалом Союза и перспективой межреспубликанских войн и «переселения народов», могут породить массовое безумие, вполне сопоставимое с безумием униженных и измученных последствиями поражения в первой мировой войне немцев.

Но есть третья и самая главная надежда. Это — надежда на роль «субъективного фактора» и многовариантность и непредсказуемость истории. Тенденция к возрождению авторитаризма — всего лишь тенденция. Очень многое зависит от нас самих, от нашего ума и наших усилий. Главная надежда — на нас самих. И здесь мы естественно переходим к другому вопросу — что делать?

Основная сила, влекущая революцию от старого к новому авторитаризму, — это сила инерции. Демократы (мы здесь говорим даже не о «так называемых», а о настоящих) постепенно подменяют борьбу за свои принципы борьбой против старых, «конкретно-исторических», форм антидемократизма и не замечают, продолжая добивать уже

поверженного врага, как за спиной у них вырастает новый и более опасный. Французские демократы бесконечно искали «заговоры аристократов» и пошли на казнь короля — только для того, чтобы быть казненными Робеспьером. Многие искренние русские демократы до октября 1917 г. и даже позже были глубоко убеждены, что главная опасность для российской демократии исходит от явных и тайных приверженцев монархии, и кончили жизнь от пули чекистов или в эмиграции. В историю как бы вставлен механизм наказания за моральные проступки, и новый авторитаризм — это всегда расплата революции за ее грехи и ее ослепление.

И для нас грядущий авторитаризм будет наказанием — за то, что у нас борьба за принципы демократии подменилась борьбой против союзного центра и компартии, за то, что мы были готовы выбрать в депутаты любого проходимца, если только он объявлял себя демократом и антикоммунистом, за то, что мы издевались над Горбачёвым — человеком, больше чем кто-либо сделавшим для русской демократии (наслаждаясь собственной псевдомужественностью и зная в глубине души, что это — совершение безопасно, ибо и человек он не мстительный, и власть от него уходит), за то, что мы воспользовались провалом путча для того, чтобы окончательно развалить Союз, совершенно не думая о последствиях, в том числе и последствиях для только зарождающейся русской демократии, и за многое другое.

Что же делать? Преодолеть нашу инерцию, восстановить верность самим принципам демократии, что может в данный может означать радикальную переориентацию «фронта». Мы должны быть за свободу партий, а не за свободу тех партий, которые нам нравятся. А это значит, что если еще вчера мы боролись за отмену 6-й статьи, сейчас у

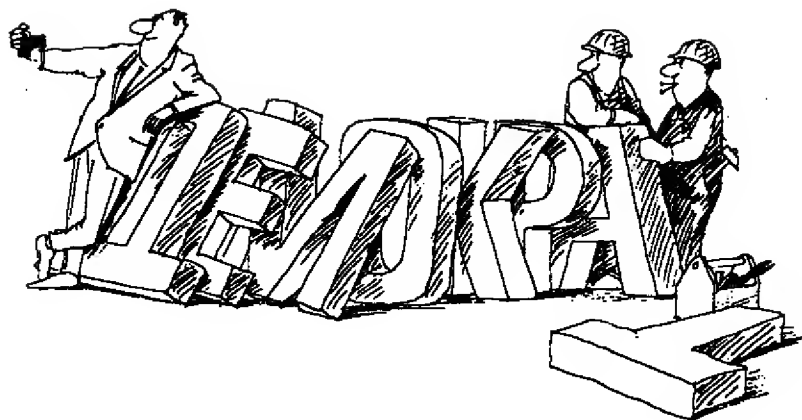
нас по меньшей мере должна «вызывать озабоченность» судьба компартии. Мы должны выступать за законность и право для всех. Поэтому если вчера мы могли стоять в цепях у Белого дома, ожидая атаки «гэкачепистов», сегодня мы должны требовать открытого, гласного и честного суда над ними (есть очень большие сомнения, что наши новые правители на такой суд пойдут). Мы должны быть за права всех наций, а не тех, которые нам нравятся или поддерживать которые нам выгодно: за права татар, гагаузов и абхазов не меньше, чем за права эстонцев. И если мы — за равноправие русских меньшинств, то мы не должны делать их пешками в дешевой политической игре, то грозя их поддержкой Украине и Казахстану, то полностью о них забывая.

И нам сейчас надо меньше всего думать о том, кто нас поддержит, какую выгоду принесёт такая позиция. Ибо как цинизм революций часто приводил революционеров к гибели, так «донкихотство» часто приводило к неожиданным победам. Надо следовать своим принципам, своей совести, и тогда могут появиться неожиданные союзники, сильные враги оказаться слабыми, и опасности — рассеяться. Наша честность может оказаться нашим единственным шансом уцелеть.

Ибо если сейчас, когда Г. Х. Попов «добивает» Моссовет, когда четко вырисовывается перспектива войн между возглавляемыми разного рода диктаторами союзными республиками, демократы будут продолжать видеть главную опасность в интригах коммунистов и союзного центра, — они не заслуживают лучшей участи, чем демократы 1917 года.

1992

Наши интересы в Закавказье. Мы и наши соседи.



НАШИ ИНТЕРЕСЫ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Нужно ли России вмешиваться в карабахский конфликт?[1]

По мере того как в Закавказье разгорается война Армении и Азербайджана, все более заметно действие сил, которые подталкивают к активной роли в этом конфликте Россию.

Если абстрагироваться от разного рода групповых интересов, то можно сказать, что в конфликт нас втягивает та же причудливая комбинация идейных течений, которая побудила Россию разрушить СССР. Разрушение СССР со стороны России происходило под действием двух противоположных сил. Во-первых, русского национализма, стремившегося к превращению СССР в «неприкрытую» Российскую империю не только с реальным по существу, но и с явным и полным доминированием России. Он изображал Россию страной, эксплуатируемой республиками, чуть ли не «пьющими из нее соки», и тем самым создал всю аргументацию, необходимую для разрушения Союза, и лишил себя возможности ему сопротивляться. Во-вторых, демократического движения, видящего в СССР, скорее, «тюрьму народов», а в его разрушении — скорейший путь своего прихода к власти, и перехватившего националистические лозунги «российского суверенитета», поймав правых националистов в ловушку.

Та же комбинация действует и сейчас. Национализм, российский шовинизм», питающийся древними, архаическими образами национальных интересов, которые всегда

[1] «Независимая газета», 4.03.1992.

заключаются в одном — в расширении государства, завоевании «жизненного пространства», «инстинктивно» занимает простую и ясную позицию — ни пяди российской земли не отдавать никому (ни японцам, ни чеченам, ни татарам, ни поволжским немцам), а любую «плохо лежащую» чужую землю (Крым, например) прихватить.

Примитивный архаичный инстинкт подсказывает и примитивные «инстинктивные» политические комбинации. Еще древние индийцы выдвинули предельно простой политический принцип, которым, однако, руководствовалась сложная и хитроумная политика разных великих и малых держав на протяжении тысячелетий. Естественным союзником раджи является другой раджа, владения которого не граничат с владениями первого раджи, но граничат с владениями его соседа. Этой логике подчинено бесчисленное количество политических союзов (франко-российский союз против Германии, германо-советский против Польши, советско-вьетнамский против Китая). В отношениях внутри СНГ, в котором Россию больше всего боятся Украина и Казахстан, но не очень боятся Киргизия и Молдова, она тоже все более дает о себе знать. И достаточно вспомнить карту Закавказья, чтобы понять, кто в нем наш «естественный союзник». Это не граничащая с Россией Армения. Поддержка Армении позволит нам «вернуться» в Закавказье.

Но и другая сила — сила западнического, космополитического демократизма — толкает нас в том же направлении. Дело в том, что так же как в сознании «правых националистов» существует иерархия народов — любимых (свой собственный), более или менее безразличных и нелюбимых (евреи), подобная иерархия существует и в сознании

западников-демократов, хотя, естественно, высшие и низшие места ней занимают совсем иные народы.

Например, прибалты, как народы «западные», занимают место более высокое, чем сами русские, украинцы или молдаване, и неизмеримо более высокое, чем узбеки или туркмены. Поэтому наша демократическая реакция на ущемление прибалтов была незамедлительной и очень бурной, а реакция на трагедию никому не известных и никакого места в этой иерархии не занимающих турок-месхетинцев — нулевой (хотя эта трагедия во много раз больше, например, вильнюсской драмы, вызвавшей многосоттысячные демонстрации). В этой иерархии (будем говорить честно) армяне занимают место во много раз более высокое, чем азербайджанцы. Армяне — христиане, азербайджанцы — мусульмане, а ислам — религия, демократами-западниками особенно нелюбимая. Образ армян — это почти что образ евреев: культурного западно-ориентированного маленького народа, пережившего геноцид, зажатого между громадными темными мусульманскими народами и отчаянно борющегося за свое выживание. И как демократ-западник всегда инстинктивно был на стороне Израиля против арабов, так же он на стороне армян против азербайджанцев. Как все подобные «любви», эта любовь, хотя и базируется на определенных основаниях, слепа и не дает возможности создать объективного представления о картине, неизмеримо более сложной, чем порождаемая симпатиями и антипатиями мифологическая схема, и, как любая примитивизация и огрубление реальности, мешает достижению тех самых целей, которые дороги демократам.

Теперь попытаемся отрешиться от всех наших инстинктивных побуждений и посмотреть, что подсказывают нам

разум и мораль. Для создания демократической, «нормальной» России расширение, присутствие, «влияние» где бы то ни было не могут быть самоцелью. Снова начинать «по третьему разу» экспансию России — это значит лишь оттягивать ее «нормализацию», причем и экспансии на этот раз не получится: время не то, годы не те, силы не те. Демократической России не нужны зависимые от нее соседи — ей нужны соседи мирные, процветающие, демократические.

Но, может быть, тогда нам надо вмешаться в дела Закавказья во имя мира и демократии? Тоже нет. Если СССР и Горбачёв имели моральное право и даже обязанность применять полицейскую силу для установления правопорядка на территории СССР, который все-таки был единым союзным государством, то у разрушившей Союз России такого права нет.

Не можем мы и выполнить функцию посредника. Мы слишком недавно были «старшим братом», слишком сильны у нас великодержавные привычки, чтобы в Закавказье кто-то мог поверить, что такое посредничество не просто замаскированная попытка «вернуться». Кроме того, мы слишком пристрастны и необъективны, и ни один нормальный азербайджанец, знающий, как освещался и освещается карабахский конфликт в наших средствах массовой информации и какой пост занимает в России Галина Старовойтова, на такое посредничество не согласится. США смогли успешно выступить как посредник в арабо-израильском конфликте лишь тогда, когда показали на деле, что, хотя они поддерживают Израиль и никогда не дадут его уничтожить, поддержка эта отнюдь не безусловная, и международное право и права человека для них значат все же больше, чем естественная симпатия к еврейскому государству.

Мы даже не можем выступать за права армян Карабаха на самоопределение. Не говоря уже о всей сложности и спорности конкретных приложений этого абстрактно неоспоримого права (чем отличается право армян Карабаха присоединиться к Армении от права судетских немцев в 30-е годы присоединиться к Германии, а сейчас — от права поляков Виленщины присоединиться к Польше или русских в Нарве — к России?), если мы хотим выступать приверженцами этого права, мы должны начинать с самих себя, и прежде всего — признать право на независимость Чечни, уж никак не менее очевидное.

Поэтому, как это ни печально, мы должны признать, что ничего хорошего в Закавказье мы сделать не можем, а плохое (поспешив разрушить СССР до того, как в республиках укрепятся демократические институты и они «встанут на ноги») мы уже сделали, и кровь азербайджанцев и армян, грузин и осетин в громадной мере — на нашей «демократической» совести. А раз так, то не надо вообще ничего делать. Надо как можно скорее вывести оттуда наших солдат, которые гибнут еще более бессмысленно, чем они гибли в Афганистане, и во всяком случае — наиболее «убийственную» технику.

Силы конфликтующих сторон примерно равны, соседи у них нейтральны (хотя и турки и иранцы — мусульмане, они по разным причинам отнюдь не союзники Азербайджана). Поэтому рано или поздно конфликт кончится каким-нибудь компромиссом. И пусть поисками его занимаются сами армяне и азербайджанцы и те, кому они могут доверять: США, Европа, Иран, Турция — кто угодно. Нам там делать нечего. А зуд, побуждающий нас лезть в дела, ставшие уже для нас чужими, надо сдерживать.

МЫ И НАШИ СОСЕДИ

К вопросу о пересмотре границ[1]

Вся логика развития событий после разрушения СССР толкает Россию в одном направлении — к повторению пути послеверсальской Германии или сегодняшней Сербии. Большая страна, окруженная более слабыми странами, с нацменьшинствами, представляющими эту большую страну, тем более, если эти нацменьшинства угнетаются (а в какой-то мере любое нацменьшинство может ощущать себя угнетаемым), практически не может устоять перед искушением использовать свою силу. Немцам было больно смотреть на Судеты, непонятно почему принадлежащие чехам и заселенные немцами, которых эти чехи угнетают, на бедных немцев в Померании, Данциге, Клайпеде, Эльзасе. Сербия просто не могла не вмешаться, когда восстали сербы в Хорватии, еще не забывшие зверства усташей и не желающие вдруг оказаться «за границей» по отношению к Белграду. И так же трудно сейчас России.

Очень трудно не вмешаться, не ударить кулаком по столу (или авиацией по Кишиневу), видя, что происходит в Молдавии. Очень понятны угрозы Руцкого по отношению к Грузии — это нормальная человеческая реакция на кошмар в Осетии и националистическую тупость ряда грузинских лидеров. Границы, унаследованные Россией и другими республиками, — границы нелепые, и просто язык не поворачивается говорить об их незыблемости.

---

[1] «Независимая газета», 3.07.1992.

Но не только внешнеполитические реалии толкают Россию к переделу границ. Толкают и реалии внутриполитические. Разрушение Советского Союза, ничем не похожее на сознательный, соответствующий убеждениям и стремлениям господствующих народов демонтаж английской и французской империй, бывшее ловким ходом Ельцина в его борьбе за власть, просто не может не вызвать реакции у запутавшихся в своих противоречивых стремлениях, все более ощущающих себя облапошенными своими вождями русских. Если добавить к этому экономическую реформу, ход которой позволяет как на самую радужную перспективу надеяться на восстановление в начале XXI века жизненного уровня 1985 г., то удивляться росту реакции не приходится. А этот рост националистическом реакции заставляет тех же самых людей, которые активно разрушали Советский Союз, вставать в националистические позы. Совершенно естественно и закономерно на смену демократической волне 1988–1991 гг. идет националистическая волна, которую сейчас пытаются оседлать все карьеристы, которые раньше пытались оседлать волну демократическую. Остановить ее так же трудно, как трудно было остановить первую волну.

Всё влечет нас к борьбе за передел границ. Но это значит — к войне, в которую, между прочим, немцы при Гитлере тоже втянулись постепенно. Сначала мирным путём, хотя и при угрозе применения силы, была ликвидирована несправедливость по отношению к немцам в Чехословакии (я думаю, что здесь не место иронии — действительно, несправедливость), затем, уже военным путем, но малой кровью, были освобождены немцы в Польше, и пошло-поехало — до 1945 г. Нам сейчас можно без особых усилий

объединить Южную Осетию с Северной. Может быть, мир даже закроет на это глаза, а народ будет рукоплескать Ельцину или Руцкому. Затем начнется война с Украиной и Казахстаном. А что будет затем? Решение Москвы и Вашингтона о сокращени вооружений — это, конечно, очень хорошо. Но реально мы сейчас значительно ближе к войне, даже, может быть, к третьей мировой войне, чем при Брежневе. И уж и говорить нечего, что борьба за передел границ будет означать конец нашей «недоделанной» и хрупкой демократии, победу идущей сейчас националистической волны и фашизацию России (и всего нашего эсэнгешного «пространства»). И очевидно, в конечное счете, когда мы совсем зарвемся, объединение против нас мира, наше поражение и резкое «съеживание» (остается только надеяться, что на той территории, которая у нас останется, мировое сообщество установит порядок, как оно это сделало в ФРГ и Японии).

По этому пути нас влечет вся логика развития событий. Но все же этой логике надо противодействовать всем, кому дорога российская демократия и в конечном счете просто дорога Россия. История не полностью предопределена (или, что то же самое, ее предопределенность не может быть нам известна), и всегда остается надежда.

Однако борьбе с этой тенденцией тех, кто действительно стремится к демократической России, мешает и тот хаос разнородных, противоречащих друг другу принципов и ценностей, который существует в их сознании по вопросу о границах в СНГ. В самом деле, хотя войны и фашизации они не хотят, их моральное сознание протестует против незыблемости границ, ибо незыблемость границ противоречат праву наций на самоопределение и создает иерархию

народов. Признать незыблемость теперешних границ — это вроде означает признать все накопленные историей несправедливости и преступления, все зло истории — от завоевания Иваном Грозным татарских ханств, после чего татары были обречены жить в государстве, постоянно отмечающем разные годовщины Куликовской битвы, до привлечения на работу в Эстонию русских рабочих, которых никто не предупреждал, что со временем от них потребуют учить трудный и странный эстонский язык. В мире существуют разные противоречащие друг другу права и правды. И право государств на незыблемость границ противоречит праву наций на самоопределение, практическое приложение которого абсолютно непонятно (референдумы никак не могут считаться безупречным инструментом, ибо можно, например, выгнать татар из Крыма или осетин из Южной Осетии или просто понаехать туда и затем провести здесь референдумы), но которое признает наше моральное чувство. И если прибавить к этому, что нельзя совсем уж отрицать особые права коренных народов на историческую территорию (хотя одному богу известно, с какого века территорию можно считать «исторически» принадлежащей народу), что вносит еще больше путаницы, ибо сохранить, например, исторические права абхазов на Абхазию, где они оказались меньшинством в результате сталинской политики, поощрявшей грузинскую миграцию, можно лишь ценой ущемления прав живущих сейчас в ней грузин, то мы полностью запутываемся в этих разных правах и правдах. И даже самый демократически, миролюбиво и националистически настроенный человек оказывается в полной растерянности и, руководствуясь самыми благи-

ми намерениями, может поддерживать курс, ведущий к катастрофе.

Как выйти из этого положения и можно ли из него вообще выйти? Можно ли примирить эти разные «правды»? Я думаю, что примирить их нельзя, но можно установить определенную иерархию этих прав и наших принципов.

Отношения государств — «субъектов международного права», на наш взгляд, должны регулироваться прежде всего правовыми принципами, как и отношения индивидов должны прежде всего регулироваться правом. И основой основ, краеугольным камнем современных правовых отношений между государствами является признание нерушимости границ, с 1945 г. ни разу не менявшихся в результате войн, насильственным путем. Это аналог права частной собственности. И как любой правовой принцип, как принцип права частной собственности, этот закон не только может, но, можно сказать, даже должен расходиться с требованиям морали и справедливости.

Несправедливо, когда один человек унаследовал от родителей миллионы, а другой — долги. И точно так же несправедливо, что Молдова — государство, а Гагаузия — нет, что русские Левобережья должны жить в Молдове, армяне-карабахцы — в Азербайджане, чеченцы — в России. Но как бы ни были несправедливы имущественные различия, бедняк не имеет права из соображений справедливости грабить богача. Ибо альтернатива праву — бесправие и хаос, а несправедливость и страдания, возникающие из бесправия и хаоса, во много раз больше несправедливости, зафиксированной законами и охраняемой ими. И точно так же, как бы ни было это несправедливо, но Карабах —

часть Азербайджана и Чечня — часть России, это правовой факт. Альтернатива признания этого факта — всеобщий кровавый хаос, война всех против всех в стране (теперь не стране, а «пространстве»), начиненной ядерным оружием. Это несправедливо, но зло, вытекающее из этой несправедливости, во много раз меньше, чем то зло, которое возникнет, если мы начнем здесь борьбу за справедливость, применяя военную силу. Если это — зло, то оно — наименьшее из зол.

Значит ли это, что мы должны смириться со всеми закрепляемыми этим правом несправедливостями, что осетины вечно должны оставаться разделёнными, а татары должны и впредь смотреть по телевидению и слушать по радио о спасшей Россию от варваров Куликовской битве? Нет.

Это значит только одно, что, если Россия присоединит Южную Осетию, даже руководствуясь самыми добрыми намерениями, она будет преступником (преступники иногда тоже руководствуются добрыми намерениями). Это значит, что вся наша деятельность, направленная на устранение этих несправедливостей, должна быть в рамках закона.

Прежде всего мы должны добиваться того, чтобы Россия показывала пример разрешения национальных конфликтов. Бедняк не имеет права грабить богача. Но богач морально обязан помогать бедным. По отношению к Чечне и Татарии мы — богачи. Никто не может заставить нас признать их суверенитет. Мы имеем полное право (в том числе и моральное) добиваться соблюдения Чечней и Татарией наших законов, в том числе и силой. Но мы можем и просто по-человечески отнестись к татарам и чеченцам,

изменив наше законодательство, приблизив его к требованиям морали и человечности и дав им возможность законного и упорядоченного ухода от нас. Наше право — не делать этого, но сделать это — тоже в нашем праве, и, если мы это сделаем, это будет великим и благородным актом, который изменит весь климат в СНГ. Только сами показав такой пример, мы будем иметь моральное право оказывать давление (но не насилием и не угрозой насилия) в пользу русских меньшинств и народов вроде гагаузов, осетин или абхазов. Мы даже можем добиваться изменения границ в нашу пользу, но при абсолютном исключении насилия, апеллируя, например, в вопросе о Крыме к международному суду и способствуя этим развитию международного права. Мы можем, наконец, бороться за создание такого климата, таких условий в СНГ, когда границы не будут иметь такого уж большого значения. Мы можем многое и разное, но должны только четко понимать, где проходит грань между законом, которому мы обязаны подчиняться, нравится он нам или нет, и моралью, требующей от нас действий в рамках закона или направленных на законное же изменение законов.

Мы сейчас, компенсируя комплекс неполноценности, стали особенно часто говорить, что Россия — великая держава. Что это такое, не совсем ясно, но ясно, что Россия — страна сильная и в СНГ — сильнейшая. И с великой страны — большой спрос. Мы можем погрузить не только себя, но и полмира в кровавый хаос, и мы можем создать демократический порядок в СНГ и стать решающей силой в его создании во всем мире. Если демократические силы России остановят наше сползание к войнам и фашизму, если мы добьемся хотя бы десяти лет мирного демокра-

тического развития и немножечко успокоимся и придем в себя, самое страшное будет позади. Но для этого демократически настроенные люди России должны всеми силами бороться с попытками насильственного изменения границ, даже если они оправдываются самой высшей и самой очевидной справедливостью.

1993

**Политика смокинга и политика маскхалата.
Все ли мы потеряли?**

ПОЛИТИКА СМОКИНГА И ПОЛИТИКА МАСКХАЛАТА

Двойственная внешняя политика России стала зеркалом русской революции[1]

Государственные перевороты сначала в Грузии, затем в Таджикистане и, наконец, в Азербайджане высветили общую тенденцию к реставрации старой номенклатуры в союзе с мафиозными элементами. Во всех без исключения случаях был и третий участник блока — демократическая Россия. Попытаемся понять — для чего «демократическому» российскому руководству нужно помогать номенклатурно-криминальным блокам отстранять законную власть?

Прежде всего, мы должны четко понимать, что есть две абсолютно разные внешние политики, которые осуществляются разными людьми, и эти люди руководствуются разными мотивами. Это — политика в дальнем, «настоящем» зарубежье, которую мы условно можем назвать «политикой смокинга», и в ближнем зарубежье, которую можно назвать «политикой маскхалата».

В дальнем зарубежье мы действуем, идя в фарватере Запада. Иногда проявляем нечто вроде сервилизма — например, спешим с поддержкой сомнительной в правовом и моральном отношении бомбежки США Ирака. Здесь правит интеллигентный и хорошо говорящий по-английски Козырев, являющий собой облик новой России, которую можно пустить в «приличное общество» и которая любит в этом обществе находиться, пусть и не совсем в равноправной роли.

---

[1] «Московские новости», 12.09.1993.

Если судить по времени, уделяемому Козыревым странам дальнего зарубежья, можно подумать, что Дания или Греция для нас важнее Азербайджана или Украины. На самом деле для будущего России отношения с Украиной, Средней Азией, Беларусью важнее отношений даже с Японией или Францией. И роль России для будущего этих стран больше, чем роль любой другой страны. Россия не СССР, у нее нет возможности реально воздействовать на ситуацию в далеких уголках мира. Чем же объяснить, что МИД обращен прежде всего к дальнему, а не к ближнему зарубежью?

Можно, конечно, вспомнить извечную тягу нашей элиты к странам с конвертируемой валютой и красивой жизнью: «Не для того мы ИМО окончили, чтобы по Минскам и Киевам сидеть». Но главное, видимо, в другом. Наша дипломатия, скорее всего, бессильна в ближнем зарубежье. Если бы она всерьез занялась им, ей бы, скорее всего, тут же указали на место. Это иная сфера, где действуют иные законы и иные люди.

Здесь «поле игры» разных сил. Нажимают одни — и происходит наступление азербайджанцев, нажимают другие — наступают армяне.

Но кто и на кого «нажимает»? Очевидно, одной из сил, реально осуществляющей политику в ближнем зарубежье, выступает армия. Здесь генерал Лебедь важнее Козырева и, может быть, самого Ельцина. И понятно почему. Лояльность генералов жизненно необходима власти, и так как материальные ресурсы ее ограниченны, она вынуждена смотреть сквозь пальцы на то, что армия сама заботится о своем благополучии. А возможности здесь грандиозны. Один бог знает, сколько у нас оружия. Подкинуть

десяток-другой танков, помочь специалистами — ничего не стоит. Между тем в локальных войнах и мятежах это может решить все. Речь, конечно, не только о генералах, но и руководителях ВПК, чиновниках и вообще влиятельных людях. Номенклатура бывшего СССР — это громадная сеть личных связей, пересекающихся «кланов». Ясно, что два бывших секретаря обкома или директора завода сохраняют неформальные отношения и в условиях, когда оба они оказались в разных государствах и стали «демократами». Внешняя политика в ближнем зарубежье просто не может осуществляться по нормальным каналам дипломатических ведомств. Было бы смешно, если бы, например, Гейдар Алиев или Эдуард Шеварднадзе с их московскими связями стали бы действовать через азербайджанский и грузинский МИД. Это особая сфера, где совершается «броуновское движение» встреч с нужными людьми и старыми друзьями.

Но в этом «броуновском движении» всё же можно усмотреть некоторые основные тенденции. Это, во-первых, шовинистические тенденции, о чем свидетельствует и политика в Таджикистане, и «игры» вокруг Крыма и Севастополя. Кроме того, в ней отчетливо прослеживаются тенденции «классовые». Новая Россия регулярно вмешивается в дела тех регионов, где у власти оказываются силы, не входящие в старую номенклатуру, и помогает их свергнуть. Это Гамсахурдиа в Грузии (я совсем не хочу сказать, что Гамсахурдиа был хорош, а Шеварднадзе — плох, но социальная противоположность Гамсахурдиа и Шеварднадзе очевидна), это демократы и мусульмане, которых мы, естественно, объявили фундаменталистами в Таджикистане, наконец, это Эльчибей и народофронтовцы в

Азербайджане. Россия вмешивается всегда, когда происходит не просто смена идеологической окраски, но колеблется реальное господство старой элиты.

«Внешнеполитический дуализм» — отражение более глубокого «дуализма» самой российской демократии. Она возникла не из народной революции. Подъем народа под демократическими лозунгами был, но он не главное. Главное все-таки в том, что сформировавшемуся в недрах советского общества правящему слою коммунистическая идеология становилась «тесна». Этому слою, утратившему веру в коммунизм, нужна была новая система легитимизации, он хотел стать «не хуже, чем на Западе». Секретарю райкома хотелось стать мэром, директору главка — директором корпорации, «теневику» — уважаемым бизнесменом. Наша демократия в громадной мере — «переодевание».

И распад СССР тоже в какой-то мере «переодевание». Когда бюрократическая элита пошла на раздел СССР, она не руководствовалась сколь-либо четкими идеями отказа от империи или права на самоопределение. Это был сговор бюрократий, стремящихся поскорее избавиться от старой формы, нацепив «смокинг». Это не воспринималось до конца всерьез, с ясным пониманием того, что возникнут новые государства с границами между ними.

Теперешняя элита — это старая элита в новых костюмах. Бывшие секретари обкомов могут вызывать восторги у американских сенаторов, провозглашая гибель коммунизма. И они могут быть даже искренни, поскольку в глубине души всегда на этот коммунизм плевали и рады его падению, давшему им возможность выступать перед сенаторами. Но они все равно остаются секретарями обкомов, со всеми соответствующими этому званию привычками и

строем мыслей. Они довольны, что их приглашают в «приличное общество», и по такому случаю надевают смокинг, лишь иногда выдавая свое происхождение излишней суетливостью и стремлением услужить. Но в бывшем СССР они — у себя дома. Здесь они — в халате. Здесь сфера инстинктов — шовинистических, классовых и прочих.

Дуализм внешней политики — это дуализм формы и содержания российской демократии. Правда, форма — сила не меньшая, чем содержание, она способна это содержание подчинить и «перемолоть».

Но если все будет продолжаться так, как идет, ей содержания не побороть. Внешняя политика в ближнем зарубежье создает вокруг нас зону нестабильности, на долгие годы вперед портит отношения с соседями. Она втягивает нас в неоколониальные войны. Демократическая форма, надетая нашим обществом, этого не выдержит. Противоречие между официальными лозунгами и ценностями и реальным поведением в ближнем зарубежье может сохраняться еще какое-то время, но все равно придется выбирать. И если мы хотим, чтобы выбор был в пользу «смокинга», мы должны понять, что судьба демократии в России сейчас решается в «ближнем зарубежье».

ВСЕ ЛИ МЫ ПОТЕРЯЛИ?[1]

Для того, чтобы понять, что произошло в Москве в сентябре — начале октября, мы должны прежде всего отказаться от довлеющей над нашим сознанием схемы борьбы

[1] «Общая газета», 8—14.10.1993.

демократии с коммунистами. Конечно, среди поддерживавших Руцкого и Хасбулатова были коммунисты, как в этой пестрой компании были и фашисты, и монархисты, и анархисты, и либеральные демократы (не в духе Жириновского, а просто нормальные либеральные демократы). Но этот блок не был коммунистическим. Руцкой и Хасбулатов — сподвижники Ельцина в борьбе с Горбачёвым (как сам Ельцин был на еще более раннем этапе развития нашего революционного процесса сподвижником Горбачёва), парламент, который распустил Ельцин — это тот самый парламент, который привел его к власти и помог ему уничтожить Советский Союз. Бывшей же номенклатуры среди победителей «демократов» значительно больше, чем среди теперешних коммунистов. Но если это не борьба демократии с коммунизмом, то в чем же смысл и суть этой борьбы?

Вспомним, как развивались все революции — и английская, и французская, и наша первая революция. Все они шли по одной, имманентной им схеме — от либеральных реформ через демократию к диктатуре. При этом всякий раз, когда к власти приходила устанавливающая диктатуру революционная фракция, против нее боролась эклектическая коалиция всех «недобитых» — и революционеров предшествовавших этапов, и либералов, и страстных реакционеров — и эсеров, и меньшевиков, и кадетов, и черносотенцев. И при всем громадном своеобразии протекающего у нас процесса — это тоже революционный процесс, развивающийся по той же схеме.

Мы тоже прошли через демократию, не заметив этого и оказавшись неспособными, как это бывает с демократами при революциях, вовремя остановиться. Мы тоже были ослеплены страхом перед старыми врагами, уже бессильными,

и более того, объективно, вне зависимости от своей идеологии, ставшими защитниками демократии, не заметив истинной опасности, идущей изнутри революционного лагеря, нового врага, незаметно выросшего за спиной. Автор данной статьи еще в августе и сентябре 1991 г. писал, что парламент обязательно будет разогнан Ельциным и демократию мы потеряем. И, видит бог, он бы отдал очень многое, чтобы оказаться неправым. Но к сожалению, все пошло по достаточно традиционной схеме, по десятки раз пройденному пути, и люди, как всегда, слепо шли по этому пути, ведшему все к той же яме.

Переворот произошел. Конституции — нет, Конституционного суда — нет. Свободы слова почти нет. Выборов — не будет, ибо выборы, в которых не будут участвовать коммунисты и сторонники разогнанного парламента — это не выборы. Будет прикрытая либеральной фразеологией диктатура определенной, наиболее рвущейся к рынку и приватизации и наиболее циничной части старой номенклатуры, без тени стыда перешедшей от «ленинских принципов» к молитвам перед чудотворной.

Это — содержание процесса. Теперь несколько слов о последних событиях, о том, как был осуществлен переворот. До воскресенья казалось, что Ельцин проигрывает. Применить силу для разгона парламента он не решался. И мировое и наше общественное мнение колебались. Регионы в основном были против. На него оказывалось сильнейшее давление в сторону компромиссов. Но любой компромисс для него был подобен смерти. Он уже несколько раз замахивался на парламент и Конституцию и если бы отступил и на этот раз, над ним бы уже стали смеяться. Он был на той грани, когда поза, которая раньше

воспринималась как героическая, начинает восприниматься как шутовская.

И тут пришло спасение — кровавое воскресенье. Мы явно никогда не узнаем всей правды об этой истории, как вообще «всей правды» узнать нельзя ни о чем (до сих пор выдвигаются новые, интересные и убедительные версии декабристского восстания). Но кое-что очевидно уже сейчас. Очевидно, что для правительства кровавая оргия обезумевших фанатиков была единственным шансом удержать власть, не «осрамившись» и не допустив одновременных выборов президента и парламента. А уж предпринимать какие-либо усилия для того, чтобы фанатики, заранее заказывавшие себе гробы, пролили кровь, и вовсе не было необходимости. Чуть-чуть задержались с помощью «Останкино», и весь мир воочию увидел, какая опасность нависла над страной.

Собственно, есть только два объяснения случившемуся: или чудовищная «халатность» правительства, безусловно, преступная, — или не бог весть какой сложный расчет, также безусловно преступный.

Мы должны понять, что сейчас мы — у последней черты. Дальше — конец всем завоеваниям перестройки и демократизации. Кроме одного завоевания — наворованных денег и номенклатурной приватизации. Мы уже начали соображать, что к чему, демократия уже пустила корни — это видно в сопротивлении далеко не одних коммунистов и фашистов ельцинским указам. Нам не дали стать людьми, стать не стадом, а народом.

Громадная вина здесь — на Западе. Или все эти клинтоны и буши так же ничего не понимают, как легко дурачимый московский интеллигент, или за их позицией стоит

рассуждение приблизительно такого типа: куда России демократия, какой у них может быть парламент и Конституционный суд? Самое лучшее — если у них будет диктатор, но наш, контролируемый. Но скоро они поймут, что Россия — не Чили и «контролируемого диктатора» здесь не будет. Что такое для своих соседей даже умеренно авторитарная Россия, они могут спросить у своего старого друга Шеварднадзе. А что будет авторитарная, они могут легко понять, просто экстраполировав уже наметившиеся наши внешнеполитические тенденции. Не только мы, но и наши соседи, да и сам Запад — у последней черты, за которой начинается третий период российского авторитаризма и империализма — расплата за всеобщую слепоту и беспринципность.

Этот период, очевидно, будет все же более «вялым», надеюсь, коротким и последним. Предотвратить его возможностей уже нет — они упущены. Есть только возможность смягчить его и сделать более коротким. Это зависит от нас, от нашего сопротивления, от нашего ума, от того, стали ли мы все-таки чуть больше гражданами за те годы свободы, которые у нас были, которыми полностью воспользоваться мы не смогли, но которые все же не смогли пройти даром. Мы потеряли почти все, но в ближайшие дни и недели станет ясно, потеряли ли мы и уважение к самим себе и своей стране.

1994

«Русский вызов» и комплекс национальной неполноценности. Кто из трёх сестёр умнее? Выше лба уши не растут.

«РУССКИЙ ВЫЗОВ» И КОМПЛЕКС НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

Об особенностях нашего сегодняшнего самосознания (по поводу статьи К. Мяло, опубликованной в НГ, 12.04.1994)[1]

Статья Ксении Мяло написана с болью и страстью. Это — крик души. И именно потому, что это — крик души, полемизировать с ним бессмысленно, но прислушаться к нему, понять, что за ним скрывается, — нужно. Когда человек бьется в истерике, говоря, что его хотят или довести до самоубийства или устроить ему «мутацию» и «смену цивилизационного ядра», и угрожают этим самым самоубийством («национальным самоубийством 150-миллионного народа») и убийствами («Апокалипсис неизбежен»), слова его, разумеется, понимать буквально нельзя (в том числе и угрозы, которые в 99 случаях из 100 остаются пустыми словами), но все же к ним надо отнестись очень серьезно. Во-первых, потому что это — признак глубокого душевного страдания и нездоровья, во-вторых, потому что есть все же и один случай из ста. Так откуда же душевное страдание Мяло, что её мучает?

Из статьи видно, что мучают её не столько вещи «простые», «материальные» и очевидные: наша бедность, которая все увеличивается, преступность на улицах наших городов, коррупция и т. п. (хотя, разумеется, от всего этого она тоже страдает), — сколько чувство униженности русских. И это понятно, ибо чувство унижения — очень сильное чувство, причиняющее страдания большие, чем

---

[1] «Независимая газета», 16.04.1994.

всякого рода материальные лишения. Но кто же унижает русских, откуда это чувство униженности?

По Мяло получается, что унижают, оскорбляют, не любят все — и Запад, и страны «ближнего зарубежья». Но основной источник этой униженности все же, если я правильно понял автора, — слабость собственного русского национального самосознания, неуважение русских к самим себе, закомплексованность на тему: «А что скажет Запад?» И я думаю, что тут она совершенно права. Если ты сам себя не уважаешь, не жди уважения и от других. И фактов, свидетельствующих о нашем неуважении к себе, — хоть отбавляй. Это проявляется и в том, что число поездок за рубеж у нас — важнейший показатель социального статуса, и в том, что большинство российских ученых готово при первой же возможности уехать на Запад, не думая о будущем российской науки, как большинство бизнесменов готово продать за валюту все, что угодно, и в том, что израильское посольство измучено русскими, пытающимися выдать себя за евреев, и во многом другом. Нормального, естественного патриотизма, любви и преданности своей Родине у нас удивительно мало (я говорю о любви и преданности, проявляющейся в каких-то конкретных делах, а не в разглагольствованиях), и если бы в Москве открылась какая-нибудь иностранная контора, в которой можно было бы «продать Родину», я думаю, перед ее входом выстроились бы громадные очереди.

Но чего, мне кажется, не понимает Мяло — это того, что в национализме самоуважения ничуть не больше. Я не говорю о глубокой патологии, вроде веры в то, что горстка евреев может управлять Россией, что подразумевает глубочайшее уважение к евреям и такое же глубочайшее

неуважение к себе. Я говорю о более обыденных и нормальных случаях, например, о фразе «Россия — великая держава», которая последнее время не сходит с уст всех наших политических деятелей. О чем говорит эта фраза? О том же, о чем говорили бы фразы: «Я — великий человек» или «Такой крупный ученый, как я», «Такой всеми уважаемый человек, как я», — о глубокой, хотя и подавленной неуверенности, что это на самом деле так. Вообще хвастовство — всегда прикрытие ощущения собственной неполноценности, а национализм — всегда хвастовство. «Такой талантливый народ, как мы, проявлявший такой героизм и т. д. и т. п.» — замените в этих словах «мы» на «я» — и сразу же перед вами возникнет образ достаточно малопривлекательный и большого уважения не вызывающий. У Мяло такого пошлого хвастовства нет. Но ее угрозы Апокалипсисом — того же рода. Они очень напоминают пьяные угрозы всех поубивать. «Раз меня никто не любит и не уважает, я и сам себя убью и вам Апокалипсис устрою».

В глубине души такого человека — желание нормальных уважения и самоуважения, но как их добиться — он не знает и начинает думать — раз уж не любят, то пусть хотя бы боятся. Но угрозы всему миру и параноидальные идеи, что его хотят лишить «цивилизационного ядра» (эти идеи тоже призваны поднять самоуважение — если тебя хотят «мутировать» и лишить «цивилизационного ядра» — значит, все-таки кому-то ты очень нужен, кого-то твое «цивилизационное ядро» очень волнует), не прибавляют уважения и любви к тебе. Жириновский и Мяло — естественная реакция на поразительную слабость нашего чувства собственного национального достоинства и соответственно —

на неуважение к нам других. Но это — такая реакция, которая усугубляет это неуважение и нелюбовь, которая обрекает нас крутиться в порочном кругу, вырваться из которого крайне сложно, и за которой прячутся тот же комплекс неполноценности и зависимость от мнения других, которые проявляются и у русских, лебезящих перед Западом. Тот, кто лебезит, легко становится шутом и хулиганом, но ни лебезя, ни хулиганя, он не добьется того, о чем мечтает в глубине души — в «приличный дом» на равных его все равно не пустят. Самоуничижение и хвастовство, выклянчивание снисходительного одобрения и угрозы устроить Апокалипсис — это две стороны того же комплекса, основа здесь одна.

Когда же возник этот комплекс? Это, конечно, очень глубокий комплекс, прочно связанный с самой структурой нашей национальной личности. Возник он, очевидно, с первых серьёзных контактов русских с Западом, когда русские обнаружили, что на Западе живут и богаче, и чище, и свободнее. Он в полной мере присутствует в «русофобии» Петра I, стремившегося, пользуясь выражением Мяло, именно к «мутации русского духа». Он проходит красной нитью через всю историю нашей культуры с ее постоянно амбивалентным отношением к себе и к Западу, борьбой «русофобии» и «русофилии». Иногда, правда, он ослабевал и почти исчезал, иногда — разгорался. Как мне кажется, он был слаб в первые годы Горбачёва, когда думалось, что еще немного — и мы будем приняты на равных в «семью европейских народов». Но сейчас он разгорается, принимая у многих совершенно патологические формы. И не мудрено. Ибо если оценивать наше поведение за последние годы с нормальных человеческих позиций, его нельзя не признать

поведением глупым и постыдным. Стыдно за легкость и бездумность разрушения государства, совершившегося совсем не так, как англичане, например, демонтировали свою империю — сознательно и планомерно, а как-то сдуру, «под пьяную лавочку». Стыдно за наивную веру в рынок, который сам собой принесет молочные реки и кисельные берега. Стыдно за то, что демократия превратилась в бесконтрольное хозяйничанье разворовывающих страну клик. Стыдно за всеобщую продажность и клянчанье денег у иностранцев. Стыдно за 4 октября. А когда человеку стыдно, он очень часто и очень естественно начинает объяснять свои провалы не собственной дурью, а происками врагов и в конце концов может дойти до паранойи («меня мутируют») и угроз убийством и самоубийством.

Что же делать? Вообще-то ответ очень прост — стать нормальными, приличными людьми, достойными уважения.

Надо перестать хвастаться собственным величием. Надо четко понять, что действительно немыслимая грандиозность сталинской империи была основана на идеологии, которая умерла, а без нее мы даже не такие уж большие. 150 миллионов — не так уж много по нынешним временам, тем более что эти самые 150 миллионов — не бог весть какие работники. Китайцев, которые сейчас развиваются куда быстрее и успешнее, чем мы, как известно, куда больше, и в XXI веке Китай просто не может не стать страной, значительно более сильной, чем мы. Правда, у нас есть унаследованный от советской власти ядерный потенциал, которым мы продолжаем слегка угрожать (не называя вещи своими именами), но потенциал этот может пригодиться только в случае, если мы всерьез решимся на буквальное национальное самоубийство.

Надо отбросить параноидальные страхи и прекратить такие же параноидальные угрозы. Завоевывать нас никто не будет, как никто не догоняет неуловимого Джо из анекдота. Я думаю, приснись американскому президенту, что Россия завоевана США, он проснулся бы в холодном поту. И «мутировать» нас никто не собирается, если не подразумевать под мутацией превращение в нормальную, спокойную и никому не угрожающую страну, как «мутировала» после войны Германия, но и такую «мутацию» никто нам, к сожалению, сделать не может. И угрожать Апокалипсисом никому не надо.

Надо перестать лебезить перед сильными и богатыми и обижать слабых (обратите внимание, как по-разному мы ведем себя с Прибалтикой, замахиваться на которую боимся, ибо она — Запад, и с Грузией, Азербайджаном, Таджикистаном, народы которых долго не забудут российские войска, которым мы со смесью наивности и цинизма стремились придать статус миротворческих сил ООН). Но не надо и переходить от самоунижения и клянчанья к хамству и угрозам. Вообще надо вести себя нормально и достойно.

Не надо рассусоливать свои беды и обиды. Никто в них не виноват. Никто нас не толкал в Беловежскую пущу. Но раз уж пошли — надо найти мужество признать последствия этого. И никто нас, во всяком случае, сознательно, не гонит из своих стран, как французов гнали из Алжира. Может быть, прибалты и гонят, но оттуда как раз не очень-то и едут (всё-таки какой-никакой, а Запад). Но если мы будем подстрекать русских на «ирреденту» и пытаться оттяпать то, что «плохо лежит» и что мы торжественно признали не своим — могут и погнать. На Западе нас, действительно, сейчас не любят и нам не доверяют. Но доверять

стране, которая так ведет себя со своими соседями, откуда исходят угрозы Апокалипсиса, где зарождаются и разрабатываются планы «последнего броска на Юг», расстреливаются неугодные парламенты, — нельзя.

И кроме того, надо нормально работать и для себя, и для своей страны, покончить с разгулом преступности и коррупции, создать наконец правовое демократическое государство и т. п. — вообще стать приличными людьми.

Но все это — легко сказать, но невероятно трудно сделать. Я не думаю, что это значит «перестать быть самими собой», мутировать и «сменить цивилизационный комплекс», во-первых, потому что наш цивилизационный комплекс все-таки не тождествен нашему комплексу неполноценности, во-вторых, потому, что перестать быть самими собой вообще невозможно, поэтому и думать об этом не нужно. Немцы, перейдя от состояния, в котором они были при Гитлере, к ФРГ, немцами быть не перестали, и даже евреи, став израильтянами (наверное, самая сильная «мутация» в новейшей истории), не перестали быть евреями. Но все же это — очень глубокое и очень трудное изменение, затрагивающее глубокие слои нашей национальной психики. И для того чтобы оно совершилось, надо прежде всего увидеть правду, какой бы неприглядной она не была. Говорить: «Я — русофоб» — глупо. Мы и так все — русофобы, и так уже достаточно себя не любим (хотя для русского это все же лучше, чем говорить «я — туркофоб» или «я — юдофоб», как для еврея лучше быть юдофобом, чем русофобом или арабофобом). Но если сказать себе: «Такой, какой я есть, я и не заслуживаю особого уважения и любви», — и при этом не начать обвинять в этом всех кругом, не впасть в пьяные слезы и пьяный дебош, —

это же половина дела. После этого переход в состояние, когда ты и себе уже не противен и другие тебя не презирают, — относительно прост и естествен. Сможем ли мы совершить такой переход? Я думаю, в конечном счете — сможем.

Меня в этом убеждает примеры многих наций, прошедших через страдания, приступы комплексов неполноценности и настоящего безумия и в конце концов пришедших к современной общечеловеческой норме. Ведь в наших неврозах и комплексах мы тоже отнюдь не уникальны. Правда, немцам, например, чтобы очухаться и прийти в норму, пришлось перенести страшный разгром и потерю трети Германии. Может быть, истинный исторический смысл Жириновского и Мяло и заключается в том, чтобы привести нас к нормальному состоянию таким же сложным путем? Хочется надеяться, что есть все же и другие пути.

КТО ИЗ ТРЁХ СЕСТЁР УМНЕЕ?[1]

Уже отшумела первая волна комментариев и оценок по поводу недавних выборов на Украине и в Белоруссии. Настало время более глубинного анализа. События последнего времени, произошедшие в трёх странах-«сёстрах»: Украине, Белоруссии и России, — как мне представляется, имеют почти символическое значение, раскрывающее глубокие культурные различия «трёх сестёр» и разную степень готовности к демократии.

---

[1] «Общая газета», 5–11.08.1994.

На Украине это, естественно, — президентские выборы и победа Л. Кучмы над Л. Кравчуком. Выборы эти вызвали в нашей печати поток комментариев, среди которых мне не попался ни один, отмечающий самое важное в этом событии. Самое важное — это не победа «вроде бы реформатора» над «вроде бы консерватором», кандидата, «вроде бы» готового к сближению с Россией, над кандидатом, опять-таки «вроде бы» склонным к противостоянию с ней, не падение второго беловежского «заговорщика», а совсем иное — сам факт мирной, законной, демократической передачи власти от одной «команды», «партии», группировки другой. Украина «сдала экзамен на демократию», причем именно сейчас, а не на выборах 1991 г., которые были вообще не выборами, а актом отвержения СССР и КПСС, и сдала успешно. И это — куда важнее, чем личности и даже политические курсы кандидатов.

Сейчас Украина качнулась от романтического национализма к прагматизму (причем амплитуда колебания не так уж велика: Кравчук — не такой уж националист, а Кучма тоже явно не собирается ликвидировать украинскую независимость) и от преобладания в политической жизни Украины Запада и Центра к преобладанию Востока и Юга. Со временем (это совершенно неизбежно) она вновь устремится к подчеркиванию своего своеобразия и своей «западности». Но главное — это то, что, похоже, заработал демократический «маятник», механизм развития без революций и контрреволюций.

По-моему, очень хорошо для Украины и то, что победил именно Кучма. Опять-таки, дело не в том, что Кучма «лучше», а в том, что победа кандидата, опирающегося, скорее, на русскоязычные и потенциально сепаратистские регио-

ны, означает интеграцию этих регионов в украинскую национальную политическую систему. «Подучивший» забытый им родной язык, Кучма символизирует это движение от чреватой сепаратизмом отчужденности, от безразличия к шуму в Киеве и Львове к заинтересованности, к ощущению государства как своего.

Возможно, это предположение и неверно, но как гипотезу все же решусь его высказать: не возникает ли на Украине некий аналог американской двухпартийной системы, когда два громадных, естественно, очень разношерстных и в силу этого сравнительно «неидеологических» политических блока будут иметь устойчивые электораты в некоторых областях и неустойчивые — в других, борьба за которые и будет вестись на выборах? Как южные штаты были долгое время «заповедником» демократов, а «средний Запад» — республиканцев, Галичина может стать оплотом одного блока, а, скажем, Донбасс — другого. Это было бы идеальным вариантом, позволяющим прагматизировать политическую жизнь, внести в нее предсказуемость и упорядоченность.

В Белоруссии — свои выборы, очень отличные по характеру от спокойных и трезвых украинских. Победа Л. Кучмы 52 процентами — это нормальная демократическая победа. Победа А. Лукашенко 80 процентами — это уже ближе к мирной антиэлитарной революции. Кебич и все его окружение, вообще вся белорусская элита надоела своему народу значительно больше, чем киевские кравчуковские бюрократы — своему. Кравчук навсегда останется в истории Украины как «положительный герой», как первый национальный президент, человек, который смог без крови привести страну к независимости и который смог

достойно уйти, подчинившись воле народа. Кебич, обвиняемый в коррупции, цеплявшийся за власть и связанный не с созданием государственности, а с проектом объединения денежных систем, на такую роль не тянет. Кебич — не Кравчук, а Лукашенко — не прагматик Кучма. Это — «выходец из народа», бросивший перчатку в лицо элите и единственный человек, голосовавший в белорусском парламенте против беловежских соглашений. Это — в громадной мере непредсказуемая политическая фигура, человек, очевидно, страстный и честный, но вряд ли сам представляющий, что он будет делать дальше.

Будущее Белоруссии — темно. До нормального механизма передачи власти, нормальной системы политических блоков, каждый из которых может прийти к руководству государством, и это не будет означать социальных и политических катаклизмов, ей еще далеко. И все же демократические выборы в Белоруссии это тоже успех. Антиэлитарный потенциал выплеснули все же в законных и мирных формах, и если А. Лукашенко не учудит чего-нибудь, а старая номенклатура не попытается его скинуть силой, если он усидит в своем кресле до следующих выборов и они состоятся, то и Белоруссия, хотя и позже, чем Украина, и более трудным путем, придет к стабильной демократии.

А что же у третьей сестры, самой большой и старшей — России? У нас пробный шар, запущенный Шумейко. Его предложение в 1996 г. никаких выборов не проводить, естественно, всеми с негодованием отвергнуто и, также естественно, начинает завоевывать умы и сердца политической верхушки. Выборов, мне думается, не будет, и любопытно только, что придумают, чтобы их не проводить.

Ибо выборы сейчас — страшны всем и никому не нужны. Их можно было проводить до октября 1993 г., вернее, вместо октября 1993-го. Альтернатива того времени — Ельцин и Руцкой — тоже не очень веселая, но не такая уж и страшная. Но после октября и декабря ситуация изменилась. У правящей верхушки сейчас — не только беспокойство, что станут известны банковские счета и будет выясняться их происхождение (аналогичное страхам кебичевской команды), но и куда бо́льшие опасения, что следующая власть будет расследовать октябрьские события. Тут писать мемуары и наслаждаться заслуженным покоем может и не получиться. Переход власти к оппозиции может стать для нашей верхушки не неприятностью, а катастрофой. Но у нас и оппозиции-то нормальной нет. Блок Руцкого—Хасбулатова был более или менее безопасен для страны. Но этого блока уже нет. И Руцкой и Хасбулатов, посидевшие в тюрьме, вряд ли стали в ней демократичнее и либеральнее. Но они уже и не сила. Сила — Жириновский, победа которого была бы катастрофой для России и ее соседей, и Зюганов, который ничуть не лучше. У нас нет ни Кучмы, ни даже Лукашенко. В этих условиях выборы — страшны всем и не нужны никому.

В октябре-декабре мы, кажется, перешли Рубикон и сделали невозможным нормальное демократическое развитие, передачу нормальной власти нормальной оппозиции. Второй раз в нашей истории мы не сдали экзамена на демократию. В первый раз в 1917 г. мы его провалили с треском. Второй — чуть-чуть не дотянули. Но все же не дотянули.

Мы видим, таким образом, что из трех стран-«сестер» лучше всего дела у Украины, хуже — у Белоруссии и

совсем плохо — у России. Почему? Просто цепь случайностей? Просто такие попались люди — Кравчук, Кучма, Лукашенко, Кебич, Ельцин? Наверное, все же не только это. Личные качества здесь значат многое, но не всё. За ними, сквозь них выступают более глубокие культурные характеристики.

Украинская традиция — это традиция своеобразной позднесредневековой казацкой полуанархической полуреспублики, а для западных областей — это и традиция Австро-Венгрии и Польши. Украинское национальное возрождение, стремясь найти опору в образах прошлого, не наталкивается на фигуры типа Ивана Грозного и Петра I, наоборот, оно естественным образом отталкивается от такого рода фигур, подчеркивая (а в какой-то мере мифологизируя) казацкий «демократизм» и «списывая» и крепостное право, и царский деспотизм, и даже советскую власть — на Россию.

Белорусской государственной традиции фактически нет вообще, национальное самосознание у белорусов — слабее, чем у украинцев. Здесь меньше чувства гордости за обретенную независимость, и в какой-то мере даже забавно, что первым президентом независимой Белоруссии стал единственный депутат, бывший против этой независимости. Очевидно, поэтому и элита ведет себя по-иному, у нее меньше чувства исторической миссии, явно присутствовавшего у Кравчука и его окружения, и БНФ слабее Руха, и проблемы создания общества и государства отступили на задний план перед стремлением отомстить коррумпированной верхушке и надеждой получить российскую помощь.

И, наконец, наша российская мощная авторитарно-тоталитарная государственная традиция. Мы — народ само-

державной империи и народ, который не может списать коммунизм на чей-то иной счет. У нас нет иного исторического герба, кроме двуглавого орла, иного славного прошлого, кроме царского и советского, и самая популярная у наших демократов фигура российской истории — Столыпин, который все же оставил след не только реформой, но и «столыпинскими галстуками».

И эта монархически-коммунистическая традиция давит на нас, превращая нашу демократию в какое-то уродство. Из нормальной оппозиции она делает жириновско-зюгановскую, из президента — генсека (если не царя). Россия — мощнее своих сестер, она, в отличие от них, создала в прошлом великую империю, но сейчас она и расплачивается за это, ибо сдать «экзамен на аттестат политической зрелости» ей труднее, чем им. А сдавать все равно придется — никуда не денемся.

ВЫШЕ ЛБА УШИ НЕ РАСТУТ[1]

Идея «стабилизации», распространяемая из правительственных и околоправительственных кругов, как мне представляется, — не просто пропагандистский ход и попытка выдать желаемое за действительное. Существующее положение действительно может рассматриваться как относительно стабильное, при котором народ и его правящая элита обрели социальные, идеологические и политические формы, адекватные их уровню развития, психологии и культуре.

---

[1] «Общая газета», 2—8.09.1993.

Период 1989—1993 гг. с его напряженной политической борьбой, в которой участвовали широкие народные массы, чередой бурных событий и быстрой сменой идеологии и государственных форм, относительно большой социальной мобильностью, вынесшей на поверхность общественной жизни множество новых, не принадлежавших к советской номенклатурной элите фигур, следует рассматривать как промежуточный революционный период, разделяющий два периода относительной стабильности — позднесоветский, брежневский и постсоветский, ельцинский. Для народа период 1989—1993 гг. был периодом революционного «выпускания пара», стихийного проявления накопившегося недовольства коммунистической идеологией и советским режимом, и периодом радужных ожиданий, связанных с демократией, к которой, однако, психологически и культурно он оказался не готов. Для элиты это был период необходимой для нее смены идеологических, политических и экономических форм ее господства, поскольку коммунистическая идеология уже не давала необходимой легитимизации ее положения, а советский «социалистический» строй сдерживал ее стремление к собственности, к свободной и «красивой» жизни. Одновременно это был очень болезненный период, ибо временно дестабилизировал положение элиты и породил значительные психологические напряжения. Ситуация «разделения властей», двоевластия, возникшая в этот переходный период (сначала союзной и республиканской власти, затем президентской и парламентской), была неизбежной, но абсолютно не соответствующей психологии и привычкам ни элиты, сформировавшейся в брежневские годы (неспособной к открытой, гласной политической

жизни, связанной с борьбой за симпатии народа), ни самого народа.

Эта бурная эпоха уже позади. То, что у нас сейчас, — это не переходная ситуация, а определенный «строй» социально-экономической, идеологической и политической жизни, более близкий к строю брежневской эпохи, чем к переходным революционным формам.

В социально-экономической сфере приватизация и становление капиталистического рынка фактически начались при Брежневе. Шли они в двух формах — в форме превращения экономических планов в фикцию, укрепления независимости хозяйственных руководителей и в форме роста теневой, криминальной экономики. (При этом две данные формы, хотя и не были тождественны друг другу, были теснейшим образом переплетены.) Современная приватизация — логическое продолжение этого процесса. При этом если в бурный переходный период в экономической сфере была сильная мобильность (легко создавались состояния, легко делались политические карьеры, что поколебало позиции номенклатурной экономической элиты), то сейчас, похоже, она уже прошла через болезненный период приспособления к новой ситуации, прочно схватив рычаги экономической власти.

Очевидно, будет складываться система ограниченного рынка, в которую будут встроены механизмы государственного регулирования и протекционизма и в которой господствовать будут колоссальные корпорации-монополии, непосредственно выросшие из государственного монополизма предшествующего периода. Эта система — переходная от классически социалистической к капиталистической, но относительно самостоятельная и прочная —

будет определять нашу экономическую жизнь в течение более или менее длительного периода.

В идеологической сфере марксизм-ленинизм превратился в фикцию уже в брежневский период. Фактически брежневский режим держался на идеологии «державности» и апелляции к национальной традиции, хотя для значительной части элиты того времени реальная идеология была скорее аморфно-«западническая». В период 1989—1993 гг., когда речь шла об освобождении от коммунистической идеологии и советского строя, на первый план вышла, естественно, идеология «западническая», демократическая.

Идеологических альтернатив было две — либерально-западническая и националистически-традиционалистская. В период освобождения от коммунистической идеологии и советского строя на первый план вышла, естественно, либерально-западническая альтернатива. Сейчас, когда элита в основном выполнила работу по освобождению от коммунистической идеологии и советской власти, когда наступает период стабилизации, либерально-западническая идеология должна в какой-то мере отойти в тень, а «национально-державная», более соответствующая теперешним задачам, напротив, вновь усилиться. Это отнюдь не значит, что она может превратиться в тоталитарно господствующую, а либерально-демократическая — потерпеть полное поражение. Любые тоталитарные идеологии как коммунистического, так и фашистского толка, неразрывно связанные с подъемом народных масс и социальной мобильностью, элите не нужны и не отвечают современному состоянию народа.

В политическом плане брежневский режим был лишь формально тоталитарным. Фактически тоталитаризм был

крайне «размягчен» и даже авторитарные его компоненты были ограничены все усиливающимися олигархическими. Современный, ельцинский режим — его прямое продолжение и развитие. Режим этот, несомненно, авторитарный. Демократические институты утратили при нем свое значение и играют фактически фасадную роль. Но хотя его авторитарность лишь в очень слабой мере ограничивается демократическими институтами и участием народа в политической жизни, она очень сильно ограничивается другими, в значительной мере неформальными ограничениями, идущими от олигархии. Ельцин в еще меньшей степени является властью для элиты — как общенациональной, так и местной, чем Брежнев. «Демократический» фасад в виде Думы способствует легитимизации положения номенклатурной элиты в глазах Запада и «западнической» части общества, а элементы традиционалистской авторитарности делают режим более понятным и привычным для народных масс. Причем ни демократический фасад, ни традиционалистский авторитаризм не переходят границы, за которой начался бы подрыв власти правящего слоя.

Таким образом, во всех сферах элита в основном выполнила стоявшие перед ней задачи и добилась создания относительно стабильных форм своего господства. Поэтому она будет избегать слишком бурной борьбы внутри себя, «раскачивания лодки». Ее лозунги сейчас — «согласие», «реализм». Борьба различных ее группировок теперь будет все более напоминать борьбу в брежневский период — при помощи интриг и заговоров, но без апелляции к народу. Самое опасное, конечно, новые выборы — и не столько потому, что они могут привести к власти какую-то альтернативную силу, сколько потому, что они

означают дестабилизацию, вытаскивание грязного белья, новую нервотрепку. И надо думать, что будут предприняты все возможные шаги, чтобы избежать выборов или сделать их как можно более «предсказуемыми».

Во всех сферах общественной жизни мы совершили движение типа: два шага вперед и один или даже полтора назад, придя не к тому состоянию, о котором мечтали (или делали вид, что мечтали) демократы 1989—1991 гг., а к тому, до которого доросли, к которому оказались культурно и психологически готовы. Прыжок от брежневского режима к демократии не удался, ибо «выше лба уши не растут» и к реальной демократии наше общество еще не готово. Оно готово лишь к тому режиму, который установился сейчас. Этот режим, безусловно, является шагом вперед от брежневского, он допускает значительно бóльшую степень свободы, но демократией он не является.

Именно поэтому его стабильность может быть лишь относительной. Мы не создали самого главного — механизма законной демократической передачи власти от правящей партии к оппозиции. Путь к власти новых сил, вызревающих в любом развивающемся обществе, у нас жестко блокирован и, следовательно, блокировано само движение вперед. Поэтому теперешняя стабилизация — лишь временная. «Экзамен на демократию», который мы с треском провалили в 1917 г. и чуть-чуть не дотянули до сдачи в 1989—1991 гг., сдавать все равно придется. Третьей попытки мы не минуем.

1995

Что же это за «чрево», которое вынашивало «гада»? Зрелые годы Гайдара-внука. Президент Лукашенко — вождь восточных славян. Старика жалко, но оживлению он не подлежит. Проиграли все, кроме президента.

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА «ЧРЕВО», КОТОРОЕ ВЫНАШИВАЛО «ГАДА»?[1]

Все эпохи в каком-то аспекте — переходные. Сейчас у нас — переходная эпоха свободной и всеобщей ругани Ельцина и его режима. Она — переходная от предшествующей эпохи стадной слепоты, заставлявшей видеть в нем чуть ли не «отца русской демократии», а в расстреле Белого дома — триумф демократических сил над силами реакции, к (вполне возможно) грядущей эпохе страха, который может снова заставить увидеть в нем много положительного, как он заставлял Пастернака, Булгакова и других лучших представителей русской интеллигенции видеть много хорошего в Сталине. Сейчас лик нового российского авторитаризма слишком очевидно омерзителен, чтобы эту омерзительность можно было и дальше пытаться не замечать, и еще недостаточно страшен, чтобы его по-настоящему боялись за пределами чиновничьего аппарата. Поэтому и ругают его все, кому не лень.

Очень хорошо, что люди наконец-то увидели правду, — лучше поздно, чем никогда. Тем не менее пробудившийся сейчас гнев во многом — не по адресу. Надо не возмущаться, не удивляться омерзительности власти, а попытаться понять, откуда она взялась, какое «чрево выносило гада» (я имею в виду не личность, а явление) и способно ли это чрево еще плодоносить.

Последние годы мы все плохое в нашей стране списывали на 70-летнее коммунистическое господство, как когда-то коммунисты все плохое списывали на счет «проклятого

---

[1] «Общая газета», 12.01.1995.

царистского наследия». Но вот коммунистов нет, а мы снова пришли к авторитарному полицейскому режиму (на этот раз — с сильным криминальным оттенком). Мы единственная страна в Европе, которая после освобождения от коммунизма расстреляла собственный парламент, которая расправляется со своими нацменьшинствами в стиле Саддама Хусейна, страна, президента которой нельзя пускать за границу (да и вообще никуда нельзя пускать), чтобы не возникли непристойные скандалы. И если про коммунистов еще можно было сказать, что к власти они пришли не демократическим путем, а в результате путча, навязав себя народу, то про современную власть так сказать никак нельзя. Президент у нас — действительно «всенародно избранный», причем за его избрание агитировали все выдающиеся представители российской интеллигенции, «цвет российской культуры», для которых он до последнего времени был «признанным лидером российской демократии». Его политика одобрялась всеми референдумами, его авторитарная конституция была принята всенародным голосованием. На этот раз винить уж совсем некого.

Теперешнего «гада» выносили, выкормили и выпестовали мы сами, и начали пестовать в эпоху Горбачёва, когда захлебывались от внезапной свободы. Ни одно демократическое антикоммунистическое движение (за исключением, может быть, грузинского) не сочетало такой внутренней слабости — масштабы нашего диссидентства несопоставимы с масштабами польской «Солидарности», движений в Чехословакии, Венгрии, ГДР; свобода пришла к нам сверху, без каких-либо особых наших усилий — с такой претенциозностью, стремлением к революционной позе и неуемной жаждой власти. Наши демократы были готовы на любую

ложь и демагогию, на любые разрушения и любые противоестественные союзы, лишь бы не ждать следующих выборов, а поскорее прорваться к власти. Нигде демократы не делали своим лидером секретаря обкома (Кравчук и Бразаускас были союзниками Руха и Саюдиса, но отнюдь не лидерами). Нигде они не проявляли такой готовности одновременно и плевать на свой народ, обманывая его обещаниями реформ при подъеме жизненного уровня, бездумно разрушая государство, в котором этот народ был «имперским», и подыгрывать его темным националистическим инстинктам (его якобы больше всех угнетали в СССР, и разрушение СССР будет «возрождением великой России»). Ни одно демократическое движение не было готово с такой легкостью пойти на ограничения демократии. Никто так не поэтизировал Пиночета, повторяя перевернутую марксистскую догму о примате производственных отношений (капитализма) над надстройкой — демократией. И уж, конечно, непредставимы польские, венгерские, какие угодно демократы, приветствующие расстрел своих парламентов, и польские или венгерские аналоги Ростроповича, организующие концерты на площади в то время, когда танки расстреливают граждан твоей страны.

«Снявши голову, по волосам не плачут». Выкормивши, выпестовавши криминально-авторитарного «гада», не надо удивляться, что он, последовательно пожирая тех, кто его вскормил, в конце концов примется и за тебя. И не надо удивляться его безобразию. Он — лишь зеркало, порождение и отражение пороков нашего демократического движения, а оно, со всеми своими пороками, в свою очередь, — порождение нашей культуры. Ибо культура — это не музейный набор «культурных достижений» и «памятников»,

а устойчивые характеристики народной жизни, в которых проявляется душа народа. Аракчеев и Бенкендорф принадлежат культуре не меньше, чем Пушкин, Сталин — ничуть не меньше, чем Пастернак, Ельцин — ничуть не меньше, чем Бродский.

Самодержавие, Октябрьская революция (и неудача Февральской), сталинский и брежневский режимы, наконец, ельцинский режим — это разные проявления одних и тех же культурных и психологических характеристик, изживание которых в конце XX века становится практически условием нашего выживания. Ибо если мы так и не сможем в обозримом будущем построить правовое упорядоченное демократическое общество, если авторитарно-криминальная система будет продолжать развиваться по своим законам, это в конце концов может привести нас не к метафорической «гибели России», а к буквальной «гибели всерьез».

Это надо понять, устыдиться и ужаснуться. И если это произойдет, надо сказать спасибо президенту и его окружению. Сказать спасибо, что мы больше не можем списывать наши беды на исторические случайности, что мы оказались лицом к лицу с суровой реальностью. Ибо только увидев себя и ужаснувшись, человек может заняться глубокой и болезненной самокритикой и самовоспитанием.

И, может быть (шансов мало, но хочется надеяться), стыд, сочувствие маленькому чеченскому народу, над которым измывается тупая и бездушная сила, сочувствие нашим предаваемым солдатам, героический пример Ковалева и других депутатов, сидящих в Грозном, и не менее значимый пример группы русских генералов, показавших мужество, гражданственность и реальный демократизм —

неизмеримо большие, чем до сих пор заседающие в Президентском совете интеллигенты (может быть, эти генералы и есть настоящие «новые русские»?), приблизят этот следующий этап.

ЗРЕЛЫЕ ГОДЫ ГАЙДАРА-ВНУКА[1]

Гайдар-дед был «выходцем из народа», революционером-большевиком, в пятнадцать лет командиром полка и замечательным детским писателем. Его сын — контр-адмирал и ведущий журналист газеты «Правда». Внук, сделав успешную научно-партийную карьеру в недавние бурные «революционные» времена, перепрыгнув сразу ряд карьерных ступеней, стал премьер-министром.

История семьи Гайдара — типична и логична. Плебеи-революционеры захватывают власть и становятся «аристократией». Психология их радикально меняется, и для Гайдара-внука революция — уже гадость и безобразие. Он и книгу свою, вышедшую месяц назад, в честолюбивой полемике с Лениным назвал «Государство и эволюция». С естественным чувством превосходства он говорит о революционерах (вроде своего деда) как о «молодых честолюбивых маргиналах, не видящих для себя возможности занять "причитающееся" им высокое положение, мирно карабкаясь вверх по общественной лестнице. Остается другое — швырнуть эту лестницу наземь и попирать ногами...». И опять-таки, совершенно естественно, что образы прошлого, на которые он ориентируется, — это отнюдь не

[1] «Общая газета», 13.04.1995.

соратники деда. По тому, как пишет Гайдар-внук о Витте и Столыпине, видно, что с них, а уж никак не с «товарища Дзержинского», он стремился «сделать жизнь».

Ясно, что и идеология Гайдара-деда не подходит для Гайдара-внука. Марксизм-ленинизм — идеология равенства. Она могла помочь деду стать членом новой элиты, но она чужда его потомкам, которые уже элита по рождению.

Но вот что интересно: хотя «общественную лестницу» Гайдар-внук, в отличие от Гайдара-деда, отнюдь не «швыряет наземь и не попирает ногами», с идеологией деда он проделывает именно эту операцию. Он ее ненавидит, сравнивает с Драконом из пьесы Шварца, выросшим на крови великой войны, и здесь Гайдар-внук — отнюдь не Витте и не Столыпин, а как раз тот самый «честолюбивый маргинал», тип, столь им самим презираемый.

Наша антикоммунистическая революция, одним из лидеров которой является Егор Тимурович, — парадоксальная революция. Возглавила ее отнюдь не революционная контрэлита, а сама элита (или её значительная часть), которая, поведя за собой широкие интеллигентские слои, со вполне революционной и вполне плебейской страстью растоптала идеологию, при помощи которой она и стала элитой и которую она вдруг возненавидела за ее революционность. Большевизм Гайдар ненавидит, но сама эта его ненависть — большевистская.

Однако не только в своей ненависти Гайдар-внук — дедушкин наследник. Если присмотреться к философии внука, мы увидим нечто, очень похожее на зеркальное, перевернутое отражение философии деда. Обе эти философии — секулярные версии древнего мифа о потерянном и возвращенном рае. Для марксизма «потеряный рай» —

время до «отчуждения», до появления частной собственности. Эпоха частной собственности — «Царство Дьявола». Далее, с явлением пролетариата и марксизма, наступает переходная эпоха «борьбы сынов света с сынами тьмы», которая, после кульминационной эсхатологической битвы, уступит место завершающей эпохе, возвращающей «рай» без частной собственности, но возвращающей его уже «на новом, высшем этапе» — чтобы никогда больше его не терять. У Гайдара-внука — похожее членение истории, хотя и с обратными знаками. «Потерянный рай» — это эпоха, когда Россия была очень близка к настоящему капитализму, хотя оставалась еще в русском обществе какая-то гадость, сделавшая возможным вхождение через великую кровь в следующую эпоху, — «Царство коммунистического Дьявола». Затем, на третьем этапе, являются Горбачёв, Ельцин и Гайдар, и разворачивается борьба с «сынами тьмы», вроде Зюганова. Если бы Гайдар писал свою книгу еще года два назад, она, очевидно, закончилась бы на ноте эсхатологического оптимизма: наступление четвертой эпохи окончательно вернувшегося «капиталистического рая» казалось тогда очень близким. Сейчас она заканчивается на несколько иной ноте: «Впереди — трудная борьба». Но, в конечном счете, «победа будет за нами!».

Понятно, что это схема, хотя и точная. Бессознательная зависимость Гайдара-внука от идеологии Гайдара-деда — глубже и многостороннее. Прежде всего, самое существенное, делающее для Гайдара-внука коммунизм принципиально плохим, а западное общество — принципиально хорошим, это форма собственности. При всем том, что Гайдар говорит о демократии и праве, ясно, что для него это всего лишь «надстройка», что если есть правильный

«базис» (частная собственность), то и все остальное (свобода) приложится.

Как мне представляется, этот «перевернутый марксизм» объясняет очень многое в карьере Гайдара-внука. Почему, например, человек, считающий себя демократом (сомневаться в искренности Гайдара, когда он говорит, что является сторонником демократии «западного типа», не приходится), видит своим героем в дореволюционном прошлом России не Милюкова или каких-нибудь меньшевиков, а Столыпина? Всё ясно: Столыпин, хотя далеко не демократ, — но борец за «хороший» капитализм, и тем самым он — создатель «базиса», на котором потом, глядишь, сама собой выросла бы и соответствующая демократическая «надстройка». И я вполне представляю Гайдара-внука, смотрящего по телевизору, как танки стреляют по зданию парламента, и думающего: «Да, это ужасно! Но и через это надо пройти. Зато теперь никто не остановит победного хода приватизации!»

«Исторический материализм» Гайдара-внука — своеобразный идейный аморализм людей, которые по природе, может быть, очень даже добрые люди (как, наверняка, добрым и хорошим человеком был чекист, написавший «Голубую чашку»). Это еще также и своеобразный антидемократизм на «переходный период» — ведь и большевики далеко не были принципиальными «сторонниками тоталитаризма». Тоталитаризм, «диктатура пролетариата» были нужны, чтобы привести людей к «царству свободы». Наконец, здесь — просто человеческая спешка: если путь — ясен, а в конце его — «потерянный рай», то и пройти путь лучше поскорее.

По всей логике Гайдара-внука центральный, ключевой вопрос — денационализация. Какая? Естественно, такая,

при которой собственность достается тому классу, к которому принадлежит сам Гайдар. «Обмен номенклатурной власти на собственность... Звучит неприятно, но если быть реалистами, ...это был единственный путь мирного реформирования общества». Этим Гайдар и занимался в период своего недолгого, но бурного премьерства. И здесь — еще один парадокс книги Гайдара (и ее автора): для этого представителя номенклатуры, проводившего номенклатурную приватизацию, нет более ругательного слова, чем «номенклатура».

В чем дело? Отчасти, вероятно, здесь — то же бессознательное влияние марксизма с его идеей господствующего класса. Но не только это. Гайдар ругает номенклатуру за трусость, за нежелание идти «без страха и упрека» до логического конца, за стремление стать собственниками и в то же время — спрятаться за широкую спину государства. И тут становятся ясны причины поражения Гайдара. Правящей советской элите нужно было провести болезненную операцию освобождения от марксизма, КПСС и приватизации государственной собственности. Для такой операции ей нужны были люди, способные идти вперед без оглядки, лидеры с элементами доктринерства и идеализма. Естественно, это люди с периферии номенклатуры, из той ее части, где она сливалась с интеллигенцией, накопившей за годы советской власти страстный антимарксизм, вполне сочетающийся с «марксистской психологией». Именно такие люди — Гайдар и его команда. Но когда «дело сделано», доктринеры начинают мешать власти, и их отшвыривают за ненадобностью. «Мавр сделал свое дело».

Для Гайдара-внука его поражение — не только карьерная неудача. Это в какой-то мере и идейная драма. Гайдар

не может не сознавать, что при всем своем уме, культуре и, вполне возможно, идеализме он был пешкой в руках людей темных и абсолютно аморальных. Благими намерениями внука, как и благими намерениями деда, оказался вымощенным путь в ад, хотя оба и грезили «потерянным раем».

Ясно, что впереди будут новые попытки. С Гайдаром или без него — это дело второе. Но, чтобы они, в конце концов, увенчались успехом, нам надо четко понять кое-что, чего Гайдар, как мне кажется, так и не понял.

Надо понять, что капитализм — отнюдь не «базис», а демократия — отнюдь не «надстройка». Что из признания права людей на частную собственность отнюдь не вытекает, что в процессе приватизации можно временно отменить десять заповедей. Что современное западное общество возникло не на грабеже и спекуляциях «первоначального накопления», а на основе строгой пуританской морали и жесткого правосознания. Что когда правящая элита начинает с остервенением топтать идеологию, на преданности которой она делала карьеру, получается не эволюция и не революция, а просто пакость.

КАКУЮ ПЕСНЮ СПОЕТ ГЕНЕРАЛ ЛЕБЕДЬ[1]

Генерал Александр Лебедь — поразительное явление в российской политике. Знаменитым полководцем его не назовешь, и битву за Бендеры не причислишь к великим битвам русской истории. Яркой и многообещающей политической программы у него нет. Сидит он в Тирасполе,

[1] «Общая газета», 18.05.1995.

в отдаленности от политических центров. И кроме того, он несколько раз твердо и, похоже, искренне, заявлял, что баллотироваться в президенты не помышляет.

И тем не менее фигура Лебедя присутствует во всех попытках прогнозов будущих президентских выборов. Некоторые серьезные аналитики даже считают, что он — очень вероятный победитель и, может быть, уже в первом туре. Какая же таинственная сила выталкивает этого человека в большую политику?

Если у нас вообще состоятся президентские выборы в 1996 г., это, естественно, будут выборы образов, «имиджей», включающих символическо-идеологические компоненты (произнесение слова «держава» с большей или меньшей дрожью в голосе, появление или непоявление в церкви со свечкой и т. д.). Победит тот, кто «понравится». И хотя Лебедя никак нельзя назвать «самым обаятельным и привлекательным», в его образе есть нечто, что соответствует глубинным психологическим потребностям многих современных российских людей.

Мне думается, что «загадка Лебедя» — в сочетании трех черт его образа: 1) психологической авторитарности; 2) честности и непринадлежности к политическому «истеблишменту» (что в наших условиях практически одно и то же); 3) вполне умеренных политических взглядов. Все вместе создает довольно причудливую и противоречивую комбинацию.

Авторитарность, мужественность, даже ощущение исходящей от него физической угрозы, того, что с таким человеком «лучше не связываться», буквально излучаются Лебедем. В его облике есть даже что-то «фольклорное» и едва ли не гротескное. При этом несомненно, что Лебедь —

не актер, он не играет и не утрирует свою «мужественность», он на самом деле такой. Никакой актер так не сыграет: голос и лицо не изобразишь.

Солдатскую прямоту, конечно, изобразить можно, и разыграть ситуацию, когда ты говоришь начальству правду-матку в глаза в расчете на благодарность народа, испытывающего к начальству чувства в лучшем случае двойственные, не так уж сложно — на наших глазах это разыгрывалось уже много раз. Но похоже, что Лебедь и здесь ничего не разыгрывает и не утрирует. Характерно, что он дважды отказывался от уже полностью готовых для него очень выгодных и лестных ролей. Ему была создана роль «героического защитника Белого дома от гэкачепистов» — он не поддержал этот миф.

После сражения в Бендерах он очень естественно выдвигался на роль «воина — надежды угнетаемых русских». Он и этой роли до конца не принял. Так может вести себя или человек очень уж хитрый, разыгрывающий какую-то сложную многоходовую комбинацию, или, что является более простым и, на мой взгляд, более правдоподобным объяснением, — просто человек, остающийся самим собой и именно поэтому кажущийся «непредсказуемым» и, возможно, очень хитрым. В коррупции Лебедь, очевидно, не замешан, ибо, будь он замешан, при его неудобстве для очень мощных политических сил, это уже давно было бы вытащено на свет. И вдобавок он еще не только лично, но и «социально» честен, ибо далек, даже пространственно, от нашей элиты.

Но образ Лебедя не сводится к полуфольклорному образу «честного воина», рубящего правду-матку. В нем есть третий и самый важный компонент. Когда видишь Лебедя

и слышишь его голос — ждешь набора трескучих фраз о державе, порядке и мощи русского оружия. И испытываешь удивление, когда понимаешь, что треска практически нет, что перед тобой — весьма неглупый человек, причем вполне «нормальный», не стремящийся к войне, диктатуре и лишенный «фашистоидных» элементов в мировоззрении, которые так естественно ожидаются при его «природном» авторитаризме. Слов о «предателях православной цивилизации», как от Руцкого, от него не услышишь. Это «интеллигент» Жириновский, знающий турецкий и английский языки, мечтает о походе на юг; это «признанный лидер российской демократии» Ельцин устраивает кровавую баню в Москве и свой поход на юг начинает разрушением крупного российского города Грозного. Воплощение же твердости Лебедь — выступает против чеченской войны и вообще против того, чтобы «искать на нашу русскую задницу приключений». На мой взгляд, этот контраст между яркой психологической авторитарностью и умеренностью конкретных оценок и высказываний и составляет главный источник потенциальной силы Лебедя. Дело в том, что это противоречие в облике Лебедя идеально соответствует противоречивости нашего современного массового сознания. Наряду с почти всеобщей сейчас жаждой твердой руки, которая «наведет порядок» и положит конец бесконтрольному хозяйничанию номенклатурно-криминальных клик, в нашем массовом сознании есть, как показывают многочисленные опросы, тоже почти всеобщее убеждение, что свобода — ценность. Не сумев жить при демократии, в громадной мере уже «провалив» демократический эксперимент, мы отнюдь не готовы отказаться от свободы слова и права «выбирать начальство». В какой-то мере мы все

понимаем, что отказ от демократии будет глубочайшим национальным провалом, доказательством того, что мы все же — народ «слаборазвитый», «развивающийся».

Привлекательность облика Лебедя — отражение этого противоречия и надежды как-то его разрешить, сочетая жесткого лидера диктаторского типа с демократией, устроив что-то вроде военного переворота, но мирным и правовым путем, без отмены свобод слова и т. д. ровно на пять лет. Возможно ли такое сочетание?

То, что Лебедь победить может, если только он сохранит до конца избирательной кампании свой теперешний «имидж», — несомненно. Проблема в том, что он будет делать дальше. И я говорю не про отсутствие у него команды и экономической программы.

Команда найдется, программа выработается. Страх вызывает другое — жесткий по характеру человек, получивший колоссальную власть, которую дает президенту нынешняя Конституция, и вместе с тем — колоссальные проблемы, требующие «жестких» решений, может, даже не желая этого, легко и незаметно для самого себя превратиться в диктатора и тирана. Чтобы человек с таким характером и привычкой командовать, при такой власти и в такой ситуации, захотел не разрушать, а укреплять демократический правопорядок, он должен быть уж очень умным и честным. То, что Лебедь — не дурак, не жулик и не бессовестный демагог, — почти несомненно. Но хватит ли у него ума и душевных качеств для такой роли — не известно, наверное, ни ему самому, ни тем более нам, которые знают не Лебедя, а лишь его «имидж».

Теоретически Лебедь может оказаться президентом, который даст народу уверенность, что демократия не

обязательно означает царство коррупции и мафий, а борьба с ними необязательно означает диктатуру. Если не устроит новых «приключений» типа чеченского и октябрьского и если на четвертом году президентства не заставит гадать — пойдет он на выборы или нет. Но он же вполне может оказаться человеком, который пропоет нашей демократии «лебединую песнь». Что он несет и несет ли он вообще что-то — мы скоро увидим.

ПРЕЗИДЕНТ ЛУКАШЕНКО – ВОЖДЬ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН[1]

Либеральная белорусская пресса, оппозиционная Александру Лукашенко, не спорит о том, хочет или нет он стать президентом Великой России или какой-нибудь Восточно-Славянской Федерации. Спорят лишь о том, может ли это у него получиться.

Готовность Лукашенко ездить в русскую провинцию и вступать там в прямые контакты с местными лидерами, стремление попасть в российские СМИ, легкость, с которой он признает русских «старшими братьями» белорусов, находят свое объяснение. Это — не поведение человека, достигшего вершины карьеры, дальнейшее «восхождение» которого уже неотделимо от «восхождения», успехов его государства. Это, скорее, поведение человека, для которого его страна слишком мала, как для Наполеона была мала Корсика, а для Гитлера Австрия. На первый взгляд, это просто бред. Но только на первый взгляд. Внимательное

[1] «Общая газета», 10.08.1995.

рассмотрение белорусской ситуации и возникшего из нее «феномена Лукашенко» делает эту гипотезу (разумеется, не гипотезу о Лукашенко как о нашем будущем президенте, а гипотезу о том, что он вынашивает подобные планы) довольно правдоподобной.

Несмотря на советскую, а затем и постсоветскую «суверенную» государственность, этническое самосознание белорусов во много раз слабее самосознания многих негосударственных народов. В отличие от третьего восточнославянского брата — украинцев, они не имели традиции национального государства или протогосударства, борьбы за независимость, своего «эпоса» освободительных войн, не имели своего аналога Галичины с ее относительно свободной национальной жизнью в рамках Австро-Венгрии и особой религией — униатством. Можно сказать, что белорусы не могли решить для себя (и так и не решили до сих пор), кто они — особый народ или русский «субэтнос». За годы советской власти белорусы подверглись колоссальной русификации. Причем не только из-за стремления Москвы, но прежде всего естественным путем, из-за слабой приверженности к своему языку и значительно большей легкости перехода на русский, чем создания белорусскоязычной среды современного производства и городской жизни. Если прибавить к этому, что при советской власти белорусы жили сравнительно неплохо, что экономический прогресс Беларуси в послевоенный период был весьма значителен, что партизанское движение для белорусов стало едва ли не первой всенародной борьбой с поработителями, а белорусский национализм в годы войны скомпрометировал себя сотрудничеством с оккупантами, мы поймем, что национальных импульсов для борьбы с

Центром в Беларуси было мало. Народный фронт не смог стать таким же массовым движением, как его аналоги в других республиках. Тем не менее общий распад коммунистической системы втянул упирающуюся «белорусскую Вандею» в процессы суверенизации и полупостроения-полуимитации демократии и рыночной экономики со всеми неизбежными компонентами этих процессов: расцветом коррупции, обогащением номенклатуры и немногих «новых белорусов» и обнищанием большинства народа. Чем дальше, тем больше народ чувствовал ностальгию по советским временам и связывал свои беды с «националистами» и «демократами», гербом «Погоня» и попытками возродить забытый им белорусский язык. Это и есть тот фон, на котором возникает «феномен Лукашенко» — явление, имеющее аналоги в других республиках, но в Беларуси приобретшее своеобразную окраску и гротескные формы.

Директор совхоза Лукашенко, ставший активным депутатом и председателем парламентской комиссии по борьбе с коррупцией, не имел ни ясной политической линии (вначале он считался «демократом» и блокировался с немногочисленной народнофронтовской оппозицией, но затем стал единственным депутатом, проголосовавшим против ратификации Беловежских соглашений), ни какой-либо своей партии или движения, ни поддержки влиятельных сил, вообще ничего. Он имел лишь искренность и бесстрашие, проявлявшееся в его «судьбоносном» голосовании и обвинениях в коррупции всей верхушки, а также явную близость своих сумбурных воззрений и ценностей воззрениям и ценностям белорусского народа. Как и большинство белорусов, он был убежден, что все беды — от распада Союза, интеллигентов-националистов, нечестной номен-

клатуры, разного рода мафий и отчасти — Запада. И хотя его соперник на выборах Кебич был премьер-министром, хотя он поддерживался Россией и держал в своих руках местные администрации, фактически создав «Наш дом — Беларусь», во втором туре он получил жалкие 14 процентов, а «деревенский выскочка» — 80 процентов голосов. В Беларуси произошла популистская электоральная революция.

При крайней слабости партий, отсутствии четких идеологий и озлобленности народа такие революции характерны для постсоветского мира. Периодически то там, то здесь возникают «харизматики», привлекающие народ бесстрашным бросанием своих перчаток в лицо начальства и щедро раздающие обещания, не имеющие за собой вроде бы ничего, кроме решительности, но побеждающие, как Давид, номенклатурных Голиафов. Элементы такого популистского протеста (с иными идеологическими добавками) были и в победе Ельцина, и в успехе Жириновского. Но только в белорусских условиях предельной растерянности народа это явление достигло максимальных размеров. Нигде номенклатурная элитарная власть не была побеждена с такой легкостью «простым парнем из народа». И нигде эта власть не продемонстрировала с такой силой свою мощь, сведя «народную электоральную революцию» к чистой символике, к сотрясанию воздуха.

Победа Лукашенко ни к чему не ведет. Не только не выполняются щедро раздававшиеся обещания прекратить рост цен, но не происходит сколько-нибудь существенных подвижек в элите. Группу честолюбивых молодых интеллигентов, помогавших Лукашенко и думавших, что будут направлять этого «некультурного и наивного, но честного

человека», он очень скоро разогнал. Он окружил себя все той же старой номенклатурой. Никаких громких процессов над коррупционерами и никаких «чисток». Экономическая политика — равнодействующая между требованиями МВФ и «социалистическими» импульсами президента, определяемая интересами медленно (медленнее, чем в России) обуржуазивающейся номенклатуры.

Естественно, что рейтинг Лукашенко начинает падать. Интеллигенция (в Беларуси значительно более оторванная от народа, чем в России) его просто ненавидит. Для нее он — символ унижения и ее, и белорусской нации, про язык которой он сказал, что на нем «нельзя выразить ничего великого», ибо «на свете есть только два великих языка — русский и английский». И каждый новый «лукашизм» — словесный перл президента, усиливает эту ненависть. (Последний — фраза, сказанная им заехавшему в Беларусь Ли Пэну: «Хотя Вы человек с Востока, но высочайшего, европейского уровня руководитель».) Лукашенко становится предметом бессильного интеллигентского издевательства; его пик — публикация в газете «Свобода» поэмы «Лука Мудищев — президент». Но если на интеллигенцию ему более или менее плевать, то без поддержки народа он все же обойтись не может.

Что делает в этой ситуации Лукашенко? Естественно, он борется с врагами — с обессиленным, пересидевшим свой срок парламентом и с газетами, которые он в основном приструнил. Он пытается создать «президентскую вертикаль» и развивает колоссальную активность, вплоть до объявления тем сочинений на вступительных экзаменах в вузы. Но нужно нечто большее. Человек, с немыслимой легкостью одержавший головокружительную победу и не

знающий, что с ней делать, не имеющий никакой «мирной» и долговременной программы, может идти лишь от боя к бою и от победы к победе, как Наполеон. Ничего другого он просто не умеет и не может.

Блестящим ходом Лукашенко было проведение референдума по четырем вопросам — объявление русского языка вторым государственным, ликвидация принятой в 1991 г. «националистической» символики, одобрение политики президента, направленной на экономический союз с Россией, и предоставление президенту права распускать парламент, приуроченного к парламентским выборам. Вновь битва и головокружительная победа, но затем вновь возвращение к серым будням и новая утрата популярности.

Когда в твоей стране все битвы выиграны и все враги повергнуты, для победителя очень естественно перейти к экспансии вовне. В специфических условиях Белоруссии эта идея может принять своеобразную форму: плана мирного завоевания Лукашенко России посредством мирного завоевания Россией Белоруссии. Многие белорусские аналитики убеждены, что такой план есть.

Обсуждать шансы Лукашенко на претворение этого плана в жизнь не стоит — их нет. Но сам факт дискуссии на эту тему в белорусской печати говорит о крайней неустойчивости и непредсказуемости политической жизни этой страны. И сам Лукашенко может смертельно обидеться на Россию (слишком страстная любовь часто переходит в ненависть). И еще более вероятно, что белорусский народ, разочаровавшись в нем, может качнуться в иную крайность. Непредсказуемость вообще характерна для постсоветского мира, где гуляют популистские волны. Но в Белоруссии,

где в народе крайне слабо ощущение ценности своей этнической уникальности и своей государственности, где слаб инстинкт государственного и национального самосохранения, она особенно велика.

СТАРИКА ЖАЛКО. НО ОЖИВЛЕНИЮ ОН НЕ ПОДЛЕЖИТ[1]

Четыре года назад гэкачепистский путч стал толчком к окончательному развалу Союза. 20—27 августа провозгласили независимость Эстония, Латвия, Украина, Беларусь, Молдова; еще через несколько дней — Азербайджан, Киргизия и Узбекистан. Почувствовав, что когда-то грозный старик отдает концы, наследники бросились его добивать.

Впереди маячили Беловежские посиделки. Те, кто готовы были пинать Союз, действовали так, будто, не добей его сейчас, он вообще никогда не умрет, более того, воспрянет снова молодым, сильным и жестоким. Те же, кто отстаивал Союз, думали, что если они сейчас спасут его, то сохранят «навсегда». На самом же деле сама дилемма: «сохранить или уничтожить» — была ложная. Если можно вылечить человека от болезни (или просто — не убивать его), это отнюдь не значит, что он вообще не умрет.

Никакого противоречия между заботой о здоровье и признанием неизбежности смерти нет. Равным образом не было никакого противоречия между сохранением Союза в 1991 г. и признанием того, что в конце концов он обязательно распадется (не вечно же ему было жить?).

---

[1] «Общая газета», 24.08.1995.

СССР должен был умереть, но дать ему еще хотя бы несколько лет жизни было вполне возможно. И даже нужно. СССР был обречен, ибо он начал умирать, если так можно выразиться, еще до своего рождения. Российская империя распалась в 1918 г. вместе со своими родственниками — Турецкой и Австро-Венгерской империями. Россия, как и все другие империи, была, конечно, отнюдь не только «тюрьмой народов». Она обеспечивала мир на колоссальной территории, способствовала ускоренному развитию многих племен и народов. Но в XX веке время империй кончилось. Российская оказалась наиболее «живучей» по очень ясной причине — в России победила коммунистическая интернационалистическая идеология. Российская империя получила вторую жизнь именно потому, что ее восстановители искренне отрицали какую-либо связь с ней нового государства — СССР, видя в нем просто первый кусок территории земного шара, отвоеванный у мира капитализма, передовой плацдарм будущего всемирного «тысячелетнего царствия» коммунизма. Только вера в революционный марксизм (и неотделимый от этой веры тоталитарный контроль) могла преодолеть естественный сепаратизм народов с очень разными культурами, объединить в одном государстве эстонцев с калмыками и литовцев с туркменами. И как только эта вера стала ослабевать, а контроль — смягчаться, СССР стал потихоньку разрушаться. Начало этого умирания — отнюдь не время горбачёвской перестройки, а скорее — позднее сталинское время, когда марксистская эсхатология стала постепенно сдавать свои позиции. Но если во всемирно-историческом плане процесс гибели империи «запоздал», это еще отнюдь не значит, что в 1991 г. наши республики уже были готовы

к нормальной самостоятельной жизни. Еще хотя бы несколько лет проведения постепенной экономической реформы в масштабах всего СССР, укрепления партий и институтов гражданского общества, приобретения привычки к демократическим выборам, введения в республиках государственных языков, постепенных и мирных миграций, возможно — некоторой перекройки границ посредством переговоров при сильном, не допускающем этнических чисток, погромов и войн центре, — сделали бы республики более жизнеспособными, а последующий (все равно неизбежный) распад — более человеческим и «цивилизованным».

Наиболее умные англичане понимали, что рано или поздно им придется уйти из Индии (причем без особых изъявлений благодарности со стороны индийцев) еще тогда, когда Индия не была завоевана окончательно. Но это не мешало им налаживать колониальный порядок и подготовлять индийцев к тому состоянию, когда они смогут жить без них, а англичане уже не смогут ими править — «нести бремя белых». Я далек от того, чтобы отождествлять СССР и Британскую империю, положение русских с положением англичан. Но некоторое сходство все же есть.

Мы тоже были главным, «имперским» народом, «старшим братом», и на нас лежала моральная обязанность подготовить и самих себя, и «младших» братьев к самостоятельной и цивилизованной жизни. Вместо этого одни из нас говорили: «не отпустим никогда», другие: «пусть немедленно уходят, без них мы будем богаче — они на нашей шее сидят, а все наследство мы себе заберем». Оба наших варианта: «сохранить или разрушить, сейчас или никогда», — были решениями безответственными, решениями людей, которые ни о каком «бремени» и слышать не хотят.

Может показаться, что рассуждать сейчас об этом бессмысленно. Все уже в прошлом. Но понимание того, что произошло (и что не произошло, хотя могло произойти) в 1991 г., необходимо для того, чтобы избежать новых бед. В 1988—1991 гг. старика можно было спасти, можно было дать ему еще время, чтобы привести в порядок дела, помочь детям встать на ноги и после этого умереть спокойно.

Но хотя сейчас нам старика становится жалко и прикончившие его потомки начинают осознавать, что не все при нем было плохо и, наоборот, не все хорошо в обретенной свободе, надо четко понимать, что воскресить его уже нельзя. Попытки произвести подобную операцию будут еще большим безумием и безответственностью, чем безумие 1991 г. Спикер украинского парламента А. Мороз хорошо сказал: «У того, кто не жалеет об СССР, нет сердца, а у того, кто думает, что его можно восстановить, нет ума». Всем нам надо учиться жить без СССР и жить достойно, не устраивая свар в нашей когда-то — общей, а теперь — коммунальной квартире.

ПРОИГРАЛИ ВСЕ, КРОМЕ ПРЕЗИДЕНТА[1]

Итоги выборов во вторую Думу таковы, что нет ни одной серьезной политической партии, которая могла бы быть ими довольна. Фактически потерпели поражение все партии и все политические силы России.

Ясно, что проиграли демократы-западники — все вместе и каждый в отдельности. Наиболее очевиден проигрыш

[1] «Общая газета», 28.12.1995.

вроде бы самого перспективного демократического объединения Явлинского, которому не удалось выйти за пределы того небольшого участка электората, на котором топчутся и топчут друг друга все партии и группировки демократов.

Проиграл Черномырдин, ибо в естественном, совершенно не зависящем от личных планов премьера, «перетягивании каната» между ним и Ельциным собранные НДР 9,8 процента — это слишком мало для того, чтобы «правящий класс» увидел в Черномырдине человека, который может стать главой «коалиции власти и богатства».

Проиграл Жириновский и русский национализм в целом, ибо неудача КРО, возглавляемого (фактически) Лебедем, выявила неспособность перспективного варианта «патриотизма» вытеснить его явно неперспективный вариант — ЛДПР. (Возможно, люди просто не поняли союза генерала с не совсем известными им политиками — Скоковым и Глазьевым?)

Вроде бы выиграли коммунисты, но по большому счету получить 22 или даже 25 процентов, когда социальное недовольство достигло пика и когда почти во всех посткоммунистических странах партии-преемницы компартий давно уже у власти — очень сомнительный успех.

Кто же выиграл? Может быть, выиграла российская демократия? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, мы должны прежде всего четко осознать, что успех или неудача российской демократии — это нечто иное, чем успех или неудача «Демвыбора России» или даже всего «западнического» демократического лагеря. Условно мы можем представить наше политическое пространство в виде треугольника, где один «угол» (один вектор, одна точка притяжения) — это демократия западного типа. Два других «угла»,

может быть, ближе расположенных друг к другу, чем к «западническому», но отнюдь не совпадающих, — это «коммунистический» и «патриотический». В любой стране, у любого народа и у любого человека естественно наличие двух ориентаций — вперед, к прекрасному будущему, и назад, к прекрасному прошлому. Так же естественно, что для любой страны, менее богатой и свободной, чем западные страны, временная ориентация на будущее становится отчасти пространственной ориентацией на Запад, который надо догнать или еще лучше — перегнать. Но у нас сейчас два разных прошлых — советское и царское, поэтому ориентация «назад» и «от Запада» у нас как бы «раздвоена», отсюда — наш российский «треугольник».

При этом, как показывает история последних десяти лет, силы всех трех ориентаций примерно равны. Западники — культурнее, богаче, влиятельнее, сосредоточены в столице и крупных городах, и, если бы выборы проводились на основе какого-нибудь ценза, отсекающего бедных и необразованных, ДВР вполне мог бы быть правящей партией. Но при всеобщем избирательном праве «западники» в целом, весь западнически-демократический лагерь — не более 30 процентов электората.

Правда, один раз «западники» вроде бы стали большинством — во время выборов президента России. Но это была совершенно особая, революционная ситуация, и реально западников среди голосовавших за Ельцина было столько же, сколько марксистов в Красной Армии времен гражданской войны. За Ельцина голосовали все, кому надоела советская власть, кто был против «мягкотелости» и «нерешительности» Горбачева, кто считал, что в СССР Россия ущемлена, а без него она станет мощным и, главное, —

русским национальным государством. В «партии Ельцина» тогда были и Руцкой, и Константинов, и Стерлигов... В то время «западники» смогли использовать настроения подавляющего большинства, но и тогда они составляли дай бог 30 процентов, как и сейчас. Поэтому победа их была в значительной мере «пирровой» — вскоре Ельцин стал смещаться к центру «треугольника», изгнав наиболее ярких и одиозных западников. И даже при этом, чтобы удержать власть, правящей группировке пришлось совершить вооруженный переворот и принять Конституцию, ни в какой западной стране не мыслимую (что-то похожее было, наверное, во Франции при «принце-президенте» Луи Бонапарте).

Таким образом, если российская демократия и российские «демократы-западники» — это одно и то же, то демократия в России в исторически обозримой перспективе просто невозможна: 30 процентов в условиях демократии не могут править «по определению». В такой ситуации возможна или крайне непрочная демократия, которая держится на том, что недемократическое большинство разделено на ненавидящие друг друга партии, для каждой из которых демократия все же лучше, чем перспектива быть в тюрьме или на виселице в случае победы одной из них, или — слегка прикрываемая демократическим флером «бонапартистская» диктатура. То, что у нас сейчас, — это и есть какая-то комбинация первого и второго.

Но перспектива российской демократии — это не перспектива расширения «западнического» электората. Она совсем в другом — в демократической трансформации всего нашего «треугольника», в постепенном принятии всеми основными участниками политического процесса

демократических правил игры. Укрепление демократии на Западе тоже было связано не с тем, что французские республиканцы стали получать на выборах сперва 50, потом 70, а потом 99 процентов голосов, а с тем, что изначально антидемократическая французская правая (католики и монархисты) и французская левая (социалисты, потом и коммунисты) части сейчас представлены партиями, о которых все знают, что, придя к власти, они не начнут сажать в тюрьму своих политических противников и их не придется потом выбивать силой. И сейчас в Польше победа «пост-коммуниста» Квасьневского над «демократом» Валенсой — это победа демократии. И на Украине победой демократии было поражение Кравчука, поддерживаемого Рухом, от Кучмы, которого поддерживали коммунисты.

Надежда и будущее демократии в России — это не фантастическая перспектива Магаданской области, голосующей за Гайдара, а совсем иная и более реальная перспектива. Демократия в России победит тогда, когда к власти придет политик, вышедший из коммунистического или патриотического «углов», который сможет создать широкую коалицию, охватывающую не только те 30 процентов, которые «сидят» в этом углу, и который убедит общество, что «социалистической революции» не произошло и гитлеровской диктатуры тоже не возникло, и этот политик в положенный срок пойдет на выборы. Ведь главное препятствие для прихода к власти коммунистов и патриотов — это страх получить их «на всю оставшуюся жизнь». Зюганов отлично понимает, что приход к власти, допустим, Жириновского для него — куда хуже, чем сохранение теперешнего «оккупационного режима». И то же самое, наверное, думает Жириновский про Зюганова.

Идет ли трансформация патриотического и коммунистического «углов» нашего треугольника, что говорят об этом результаты выборов?

Те, кому дорога демократия в России (а не власть «демократов»), должны радоваться, что коммунисты согласились на многообразие форм собственности и что они стремятся к демократическому преобразованию нашей авторитарной Конституции, созданной, между прочим, демократами-западниками. Но демократическая эволюция КПРФ — значительно труднее, чем эволюция коммунистов других посткоммунистических стран. Идеология и политика КПРФ — это поразительная мешанина, коктейль из марксизма и русского традиционализма (чего стоит один плакат КПРФ с изображением юродивого с крестом!), крики об оккупационном режиме и суетливые попытки объяснить «новым русским» и «американским империалистам», что эти крики не надо воспринимать всерьез... Мне думается, что скоро эта гремучая смесь взорвется и анпиловский раскол — далеко не последний. Может быть, тогда и возникнет какая-то действительно перспективная форма «посткоммунизма». Пока же зюгановский коммунизм до прихода к власти демократическим путем «не дорос», и русским Квасьневским Зюганову, к сожалению, не быть...

Не произошло глубоких, принципиальных изменений и в патриотическом «углу». И опять-таки те, кому дорога демократия в России, должны не радоваться, а печалиться по поводу неудачи КРО, который под руководством Лебедя теоретически мог сделать то, что так нужно стране и демократии — создать широкую коалицию, способную отстранить нынешнюю власть, но отстранить так, чтобы это не означало ликвидации демократических завоеваний.

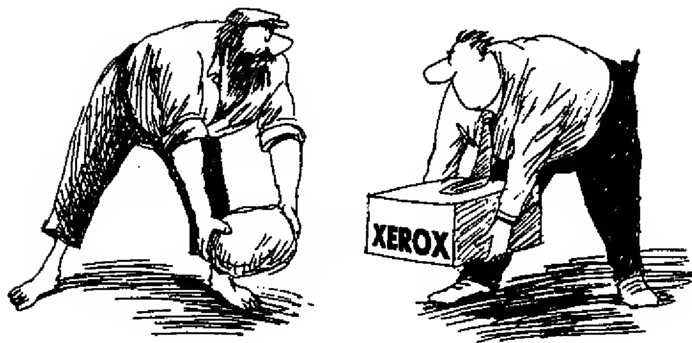
Итак, сколь-либо значительным шагом вперед выборы 17 декабря не стали. Они не выявили ни какой-либо «западнической» политической силы, способной бороться не только на узком пространстве «демократического» электорального пятачка (роль, на которую претендовал Явлинский), ни значительных демократических сдвигов в коммунистической и патриотической частях электората.

Кто же выиграл? Выиграл Ельцин. Его главный соратник-соперник, олицетворяющий «более человеческое» лицо правящего класса Черномырдин, и его наиболее перспективные соперники — Явлинский и особенно Лебедь — хороших результатов не получили (поражение КРО — настолько большой и настолько неожиданный «подарок судьбы» Ельцину, что это даже несколько подозрительно). Перед Ельциным открылось колоссальное поле для маневров и игры на всеобщем страхе друг друга. Сейчас легче и отменить президентские выборы (Запад расстроится, но простит, и наши напуганные западники простят). Но, пожалуй, на них можно и пойти. Ведь на выборах можно победить двумя путями — можно победить потому, что тебя любят, и можно — потому, что тебя ненавидят меньше, чем твоего противника. Если представить себе, что во второй тур неких выборов проходят два кандидата — Гитлер и Муссолини, все демократы, христиане, социалисты, коммунисты должны дружно идти и голосовать за Муссолини. У нас теперь вырисовывается чем-то схожая ситуация. Если, например, во второй тур пройдут Ельцин и Жириновский или даже Ельцин и Зюганов, вполне представима картина, когда и Горбачёв, и Явлинский, и Лебедь рано утром придут голосовать за Ельцина. Более того, в первом случае за него проголосует и Зюганов, а во втором — Жириновский.

Мы имеем то, что «заслужили». Наше общество, как показали выборы, не переросло теперешний строй «вялого авторитаризма». Нас ждет все то же — закулисная политика, борьба клик за влияние при дворе, бегство капиталов и отсутствие иностранных инвестиций, та неустойчивая стагнация, когда судьба страны зависит от развития ишемической болезни сердца. Мораль же всего этого, как всегда, можно найти в русских народных пословицах. «Поспешишь — людей насмешишь» (это про демократов в 1990—91 гг.). «Не рой яму другому — сам в неё попадешь» (это — про нашу Конституцию). А самая универсальная пословица, к сожалению: «Выше лба уши не растут».

1996

Борис Николаевич, позвоните Дудаеву. Есть ли шанс у порядочных и умных? Нас берут на испуг. Оправдание августа. Три романа двух славянок. Ничто не оправдывает крови. Стабильность свободного падения.



БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, ПОЗВОНИТЕ ДУДАЕВУ[1]

Войну в Чечне можно прекратить за пятнадцать минут, из которых десять пойдет на установление телефонной связи Ельцина с Дудаевым, а пять — на разговор, в котором Ельцин предлагает встречу и переговоры без предварительных условий. Это совершенно ясно. Но ясно и одно условие, которое обязательно должно предварять эти переговоры, ибо без него они бессмысленны. Это условие — согласие России на независимость Чечни. Можно договориться с чеченцами и удержать за Россией северную, заселенную русскими часть Чечни. Можно придумать какой-нибудь переходный период или какую-нибудь формулу типа «ассоциированного членства в Российской Федерации». Но суть от этого не меняется. Мира можно достичь за пять минут, если мы готовы отдать Чечню чеченцам. Попробуем, однако, спокойно взвесить все «за» и «против» такого акта.

Я совершенно не согласен с «романтическими» идеями о праве наций на самоопределение. Право наций на самоопределение — нечто слишком туманное: и в силу неопределенности понятия нация (хуту и тутси — нации? цыгане — нация?), и в силу полной невозможности найти справедливый принцип, определяющий, какая территория какой нации принадлежит. Относительный порядок в мире держится не на этом праве, а на ином правовом принципе — принципе нерушимости границ. Уже пятьдесят лет ни одно государство не расширяло территории за счет соседей, во всяком случае, мировое сообщество не признавало таких

[1] «Общая газета», 01.02.1996.

расширений и в конце концов вынуждало «завоевателей» уйти с захваченных территорий. Помощь сепаратистским движениям считается преступлением, и лишь несколько таких движений (фактически, только бангладешское и эритрейское) смогли добиться своего.

Как любой закон, любой правовой принцип, принцип суверенитета — несправедлив, или, во всяком случае, не полностью справедлив. В этом отношении он очень близок к принципу собственности. Несправедливо, что в силу обстоятельств рождения, без всяких личных заслуг, кто-то богат, а рядом, может быть, во много раз более достойный человек — беден. И также несправедливо, что есть государство Индия, но нет государства Пенджаб или Кашмир, есть Франция, но нет Корсики, что испанцы — «выше статусом», чем баски, русские — чем татары, грузины — чем абхазы.

Но если бедные во имя справедливости станут просто грабить богатых — будет хаос и во много раз бóльшая несправедливость, чем несправедливость от неравномерного и незаслуженного, связанного с обстоятельствами рождения, распределения богатства. И также хаос и несправедливость воцарятся, если государства перестанут признавать нерушимость границ. Поэтому никто в мире не признал и не признает независимость Чечни (если, конечно, мы сами не признаем), и фактически мир признает наше право подавлять чеченцев, даже вооруженным путем. Поэтому Ельцин, безусловно, имеет полное право Дудаеву не звонить и продолжать посылать наших солдат умирать и убивать чеченцев.

Но право — это лишь право. От него можно и отказаться. Никто не имеет права отнять собственность. Но никто

5--3543

не может помешать ее подарить. Кроме права есть еще и мораль, и просто соображения выгоды. Что же говорят нам по поводу независимости Чечни мораль и выгода?

Начнем с морали, с совести. Вообще, когда какой-то маленький народ стремится к независимости от большого народа (соотношение численности чеченцев и русских — 1 к 150), всегда возникают естественные жалость и сочувствие к маленькому. Это не значит, что маленьким всегда надо уступать. Во имя законности и правопорядка сильный может быть даже обязан подавить разбушевавшегося слабого. Но это всегда чуть-чуть стыдно. В нашем же случае ряд обстоятельств делают подавление чеченцев особенно постыдным.

Совсем недавно распался СССР. Он распался на республики, которые теоретически когда-то добровольно вступили в Союз, сохранив право выхода из него, этим правом воспользовались, что и было признано мировым сообществом. Все — по закону. Но все мы отлично знаем, что за этой законностью кроется несправедливость произвольных границ между республиками, которые устанавливались тогда, когда никто и думать не мог, что они станут межгосударственными, и правовой иерархии народов. По закону Белоруссия имела право выхода из СССР, ибо она — союзная республика, а Чечня — нет, ибо она — автономная. Но «по совести» нет народа, который больше бы имел право на независимость, чем чеченцы. Нет народа, который больше бы сопротивлялся российскому завоеванию. Очень немного народов, которые так пострадали от нас, как чеченцы. Фактически они в 1991 году уже получили независимость, и мы ее даже как бы признали.

Никто и никогда не убедит чеченцев, что правовое различие статусов союзной и автономной республики так

важно, что они не имеют право на свободу, а никогда за нее не боровшиеся белорусы — имеют. Чеченцы — маленький, измученный нами и загнанный судьбой в угол народ, и нормальное человеческое чувство подсказывает, что мы должны просто пожалеть их и дать им то, к чему они так стремятся, даже если юридически это им и не принадлежит. Подавление Чечни — во много раз более аморально, чем подавление Азербайджаном Карабаха (здесь речь идет не о маленьком народе, а о части большого народа, имеющего соседнее независимое государство), или подавление Грузией Абхазии (в Абхазии абхазов — только 18 процентов, и независимость Абхазии означала бы признание результатов устроенной абхазами с нашей помощью этнической чистки).

Единственное оправдание подавления Чечни — это защита целостности России, фактически — защита российской собственности. Целостность России — это действительно ценность. Но, во-первых, потеря крохотного кусочка нашей громадной территории (около одной тысячной) реально этой целостности не грозит, во-вторых, хотя эта целостность — ценность, это не такая уж ценность, чтобы из-за нее нельзя было поддаться естественному чувству жалости к маленькому и измученному народу, которого мучили-то мы. Для России освободить Чечню — это все равно что для богача, у которого амбары ломятся от хлеба (его, законного), отдать немного этого хлеба голодающим людям, юридического права на этот хлеб не имеющим. Совесть, таким образом, говорит: отдай, подними трубку и прекрати за пять минут бойню, которой можно найти юридические оправдания, но нельзя найти оправданий моральных.

Но что же говорят нам соображения выгоды? В конце концов, все мы — люди и не всегда поступаем по совести. Может быть, подавление Чечни — дело морально не очень чистое, но настолько выгодное, что бог с ней, с моралью? Но если думать не о выгоде отдельных лиц, а о «выгоде» для русского народа в целом, о том, способствует ли эта война безопасной, «нормальной» жизни этого и следующего поколений русских, мы должны признать, что соображения «выгоды» диктуют нам то же, что и совесть. И дело не в том, что в Чечне гибнут русские солдаты и вылетают в трубу миллиарды и миллиарды. Дело в том, что все это — зря. Чечню мы в конце концов все равно будем вынуждены отдать чеченцам.

Я не думаю, что теперешний позор, когда элита русской армии, руководимая сразу двумя силовыми министрами (слова «силовые министры» всегда вызывают в памяти пословицу: «Сила есть — ума не надо»), не может справиться с небольшой группой боевиков, после чего для оправдания эти министры выдумывают всякие фантастические истории, — в принципе непреодолим. Можно навести элементарный порядок в армии и в конце концов чеченцев задавить. Русских — 150 миллионов, и как бы отчаянно чеченцы ни сопротивлялись, подавить их мы сможем — можно, в конце концов, в каждое селение поместить по батальону. Но подумаем, к чему это приведет.

Интегрировать чеченцев в Россию, сделать так, чтобы они удовлетворились какой-либо автономией — задача нереальная. Чеченцы — слишком чуждый нам культурно, слишком обособленный, живущий по своим законам и нормам, и слишком ненавидящий русскую власть народ, чтобы представить, что они могут когда-нибудь стать

таким же мирным нацменьшинством, как мордва или марийцы. Подавить сейчас чеченцев будет означать: теперешние чеченские мальчики будут расти, мечтая стать новыми Джохарами и Шамилями. И когда подрастут — станут.

Подавляя Чечню, Россия как бы заглатывает бомбу с часовым механизмом, которая через двадцать лет обязательно взорвется. И этот новый взрыв будет значительно мощнее теперешнего. И прежде всего потому, что закономерный процесс развития современного мира делает развитые общества все более хрупкими и беззащитными от отчаявшихся меньшинств (почему современные государства и стараются никого до отчаяния не доводить). Когда русские воевали с Шамилем (не Басаевым, а имамом), Петербург мог быть абсолютно спокоен — мюриды до него никогда бы не доскакали. Еще совсем недавно самым страшным вообразимым террористическим актом был взрыв на железной дороге. Сейчас группа смертников может захватить АЭС. Пока этого еще не было, но до Чернобыля и аварий на АЭС такого масштаба тоже не было. А через двадцать лет наука придумает что-нибудь новое, делающее наш мир еще более хрупким. Поэтому бомба, которую, подавляя чеченцев, мы сейчас «заглатываем», готовим для наших детей, — это очень мощная бомба.

Не всякое расширение территории — это благо и сила, не всякое уменьшение — ослабление. Если на минутку вообразить, что исполнилась бы мечта ЛДПР и мы покорили бы Афганистан, Пакистан, Иран и Турцию, это означало бы только одно — исчезновение русского народа. Покорение Чечни — это, конечно, не покорение Турции. Но и это — значительное ослабление России, ее повышенная

«хрупкость» и неизбежность для нее очень больших бед в будущем. Таким образом, не только естественное моральное чувство подсказывает президенту — «сними трубку», но то же самое подсказывает и ответственность перед Россией и ее будущим, и соображения выгоды для нашей страны и народа.

Но ясно, что дозваниваться Дудаеву Ельцин не будет. Этого даже вообразить невозможно. Не сможет он признать, что был не прав, за шесть месяцев до выборов. Не сможет он отдать Чечню чеченцам, когда в обществе усиливается ностальгия по СССР, по порядку, по сильному государству. Наша элита (фактически — вся) сделала свои карьеры в советское время тем, что говорила начальству то, что ему было приятно слышать. Сейчас прибавилось еще одно начальство — далекое, темное, легко поддающееся на обман, но все же требующее, чтобы его учитывали, — народ. И наши политики так же чутко прислушиваются к народу и так же врут ему в глаза, как раньше — Брежневу. И когда в 1989—1992 гг. в народе господствовали антисоюзные настроения, Ельцин готов был не только отдать Прибалтику хотевшим этого прибалтам, но заодно и Белоруссию — не хотевшим этого белорусам. Сейчас настроения, вроде бы, изменились, и теперь он же будет завоевывать Чечню. Реально же о народе наши начальники думают ровно столько, сколько в свое время они думали о социализме и о КПСС. Поэтому не будет Ельцин звонить. Все будет продолжаться так, как уже идет, — мы будем долго покорять Чечню, камуфлируя свою импотенцию жестокостью и ложью, и будем готовить бомбу под Россию 2020 года. А когда эта бомба рванет, наши дети все равно Чечню отпустят.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС У ПОРЯДОЧНЫХ И УМНЫХ?[1]

Данные опроса, опубликованного недавно в «ОГ» (№6, 1996 г.), говорят о том, что на первом месте среди качеств, которыми, по мнению наших сограждан, должен обладать президент России, стоят ум и честность. Опыт руководителя, воля, лидерские способности, обаяние и др. ценятся значительно меньше. Ничего удивительного в высокой оценки ума и честности нет. Удивительно другое — разительное расхождение между этими предпочтениями и реальностью нашей политической жизни.

Писать об уме и честности политиков не принято. Особенно не принято писать об уме — существует табу на слово «дурак» и даже на его смягчающие замены типа «недостаток интеллекта». Во-первых, наша культура склонна излишне высоко оценивать интеллект, так что назвать человека негодяем у нас — меньшее оскорбление, чем сказать, что он не очень умен. Во-вторых, интеллект — нечто неопределенное, измерить его невозможно, и, если допустить в политический диалог слово «дурак», он легко превратится в вариант базарной или кухонной склоки. И тем не менее это табуирование несколько чрезмерно. Ведь запрет на обсуждение интеллектуального уровня политиков фактически является запретом на анализ и обсуждение очень важного среза политической жизни. Попробуем рассмотреть наших главных претендентов на президентское кресло (по общему мнению — это Зюганов и Ельцин), не нарушая, однако, этого табу. Наша задача

---

[1] «Общая газета», 07.03.1996.

облегчится, если мы объединим в нашем рассмотрении интеллект и честность (как они соединены в данных опросах).

Зюганов — политик, еще никогда не бывший у власти. Поэтому основные подвиги у него, очевидно, впереди. Я тщательно избегаю негативных оскорбительных оценок, но думаю, что имею право на простые и ясные вопросы. Каким, например, интеллектом и (или) честностью должен обладать человек, который называет ельцинский режим оккупационным, говорит о чиновниках из МВФ как о новых фашистских гауляйтерах и тут же с ходу обещает западным капиталистам лучшие условия для инвестиций, чем при Ельцине? Каким должен быть человек, который говорит о горбачёвской перестройке, как о предательстве социализма, и одновременно обещает снизить налоги «новым русским» предпринимателям? Есть только три варианта ответа на эти вопросы: 1) этот человек в силу особенностей своего интеллекта не видит здесь никаких противоречий; 2) он врет западным и отечественным капиталистам; 3) он врет своим товарищам по партии и избирателям.

Я также не буду давать оценок уму и честности Ельцина. Я просто приведу общеизвестные факты. Ельцин — человек, дослужившийся до секретаря обкома и еще в 1988 г. бывший резко против положительного упоминания о Н.И. Бухарине («уклонисте» и «ревизионисте») в выступлении Горбачёва. Когда же затем возникает мощная антикоммунистическая волна и одновременно создается выборная система, требующая от политика, стремящегося к власти, ориентироваться на народные чувства, он становится яростным антикоммунистом. Его приход к верховной власти связан с уничтожением им тех самых структур

(КПСС и СССР), на служении которым он до этого делал карьеру. Его окончательное утверждение у власти связано с разгоном того самого парламента, который избрал его своим председателем, и отменой той самой Конституции, по которой он был избран президентом России и быть преданным которой он клялся. Ельцин — человек, в 1991 г. просивший прощения у народа за случайную гибель трех парней, в которой он и виноват-то не был, а в октябре 1993 г. устроивший в Москве стрельбу по Белому дому. Это — человек, в 1991 г. обещавший автономиям столько суверенитета, сколько они хотят, а в 1994 г. начавший войну в Чечне. И все это не сопровождалось никакими видимыми угрызениями совести. Действия Ельцина не выдерживают испытания самыми простыми нормальными человеческими вопросами. Между тем, если только Ельцин за оставшиеся месяцы не совершит новые подвиги типа победы в Первомайском (что, однако, совсем не исключено), президентом, скорее всего, будет снова он.

Мы приходим к очень интересному выводу — хотя, вроде бы, мы все хотим от будущего президента прежде всего ума и честности, на деле действует прямо противоположная система отбора. Почему же так получается?

Я думаю, это объясняется рядом причин. Первая причина — механизм отбора в предшествовавшую эпоху и созданный им «наличный материал» для отбора. Человек «с улицы» руководить государством не может — и потому, что у него нет для этого необходимых знаний, и потому, что он никому не известен. Материал для отбора — это всегда прежде всего наличная социальная и политическая элита. Что же у нас за элита? В отличие от таких стран, как Польша, где возникла мощная «диссидентская»

контрэлита (существование которой, очевидно, благотворно влияло и на элиту коммунистическую), у нас таковой практически не было. Наша теперешняя элита — это в подавляющем большинстве перешедшая в «демократическую» идеологию элита позднекоммунистической брежневской эпохи. Механизм же отбора в элиту тогда был таков, что честные и (или) умные люди проникнуть в нее практически не могли. В господствовавшую идеологию уже никто не верил, и первый необходимый для карьеры минимальный акт — вступление в партию — уже был актом лжи (если же не актом лжи, значит, свидетельством глупости). И все следующие за этим актом ситуации «отбора наверх» систематически отсекали слишком умных и слишком честных. Думаю, что если бы можно было объективно сравнить ум и честность «среднего русского», человека с улицы и среднего позднесоветского райкомовца, обкомовца, академика-идеолога и т. д., средний русский оказался бы, наверное, честнее и умнее. Аморальность элиты очень способствовала победе демократии, ибо у нас практически не оказалось людей, готовых умереть (или даже пожертвовать своим благополучием) за СССР и КПСС, — аналогов белого офицества или французских роялистов. Но это же придало специфический «душок», «колорит» нашим демократии и рынку, которые были восприняты элитой как полное и окончательное освобождение от каких-либо моральных ограничений. Вот эта элита — позднекоммунистическая, брежневская, но деморализовавшаяся и распоясавшаяся, и составила основной материал для отбора наверх, теперь уже по демократической процедуре.

Но качество элиты — все же недостаточное объяснение, ибо и из наличной элиты мы очевидным образом склонны

отбирать себе в начальство не лучших представителей. Здесь действует что-то связанное уже не со старым, бюрократически-партийным, а с новым, выборно-демократическим механизмом нашего отбора. Что же это?

Здесь необходимо одно предварительное замечание. Демократическое общество не может и не должно даже выбирать на руководящие посты особых умников и святых. Новые и сложные построения умников народ понять не может и понимать их не обязан. Кроме того, жизнь, история — сложнее любого ума, и чрезмерный ум, склонный к саморефлексии, теоретизированию, переходу от мучительных сомнений к чрезмерной увлеченности какой-либо идеей, как и чрезмерная честность правителя, могут быть даже вредны и опасны. Поэтому Клинтон, Буш, Рейган и т. д. — все это не дураки и не подлецы, но и не самые умные и честные люди США. Тем не менее ясно, что у нас механизмы отбора действуют совсем иначе, чем в устоявшемся, упорядоченном демократическом обществе. Там они выносят наверх пусть не самых умных и благородных, но все же — людей выше среднего интеллекта и порядочности. У нас же — ниже среднего.

Я думаю, это связано с особенностями нашего социально-психологического состояния. Мы — взбудораженное, взбаламученное общество с резко меняющимися настроениями и очень противоречивыми стремлениями. Успешный демократический политик — это политик, стремящийся удержаться на плаву и не имеющий никакого личного серьезного идейного стержня, должен совершать немыслимые переходы от одних идей и типа поведения к противоположным.

Другой аспект нашего массового сознания — его противоречивость. Однако если у «среднего русского», в основном

думающего о простых житейских делах, сочетание ностальгии по советским временам с принятием каких-то демократических и рыночных ценностей не носит ярко патологического характера, выглядит нормальным человеческим противоречием, то, когда оно же выражается Зюгановым, это приобретает уже гротескные и даже жутковатые формы. Изначальная, выработанная в брежневскую эпоху аморальность нашей элиты, ее привычка к вранью, утрата ею способности отличать правду и неправду, добро и зло и даже думать в этих категориях, помноженные на некоторую истерическую «лабильность» и повышенную противоречивость нашего массового сознания, приводит к выходу на первый план политической жизни людей, личная патология которых, как в кривом, многократно усиливающем уродства зеркале, отражает патологичность нашего сознания.

Отсюда — вывод. Для того, чтобы президентом России мог стать умный и честный человек (не мудрец и не святой — мудрецы и святые в этой роли и не нужны), нам надо пройти еще очень большой путь. Нам надо успокоиться, преодолеть основные противоречия своего сознания, сойдясь на ряде базовых принципов. Нужно долговременное действие демократических механизмов, которое в конце концов улучшит качество нашей элиты. И только после этого, очевидно, уже не при жизни теперешнего поколения, появится возможность честного и умного президента, которого мы так хотим. Пока же появление такого президента практически невероятно.

НАС БЕРУТ НА ИСПУГ[1]

Стратегия правящей группировки на президентских выборах предельно проста и эффективна. Это — стратегия нагнетания страха, антикоммунистической истерии, на волне которой крайне непопулярный президент сначала проходит во второй тур голосами тех, кто его не любит, но боится дробления голосов демократов, а во втором туре побеждает, получив голоса и тех, кто не любит его еще больше и не смог преодолеть этой нелюбви на первом туре. Удобства такой стратегии — очевидны. Если люди убеждены, что зло, с которым ты борешься, есть зло бесконечное и абсолютное, то сам ты уже можешь делать всё, что угодно — любое твое зло будет относительным и меньшим «по определению». Все, что наделал теперешний президент и что он еще наделает, когда будет переизбран, — мелочи, ибо коммунисты — это ГУЛАГ, Сталин, голод, гражданская война, мировая война, национал-социализм и т. д. и т. п.

Соответствует ли эта схема реальности? Правда ли, что все то очевидное зло, которое принесла нынешняя власть, — меньшее «по определению»? Действительно ли номенклатура, отказавшаяся, как только это стало ей выгодно и безопасно, от своей идеологии, так уж лучше той незначительной части номенклатуры, которая от нее отказалась еще не совсем? Действительно ли «отец русской демократии», расстрелявший Белый дом и сочинивший для себя теперешнюю «бесподобную» Конституцию, лучше, чем коммунисты, собирающиеся расширить права парламента? Действительно ли тысячи убитых этой властью или

[1] «Общая газета», 12.05.1996.

при ее активном содействии в Чечне, Москве, Осетии и Ингушетии, Абхазии и Таджикистане — мелочи по сравнению с теми гипотетическими сотнями тысяч, которые предстоит убить коммунистам? Лучше ли союз со все более безумным режимом Лукашенко, омоновцы которого избивают российских и, между прочим, поддерживающих Ельцина журналистов, чем чисто декларативная денонсация Беловежских соглашений?

Может быть, кто-то из читателей может искренне и уверенно ответить на все эти вопросы «да». У меня лично такой уверенности нет. Я не уверен, что отождествлять зюгановцев со Сталиным и ГУЛАГом, с которыми нельзя было отождествлять даже брежневскую КПСС, — более оправданно и обоснованно, чем, например, отождествлять современный католицизм со Священной инквизицией. И я абсолютно уверен, что, когда бывшие партработники, вышедшие из КПСС и успевшие за прошедшие несколько лет наделать множество грехов, требуют от коммунистов покаяния за преступления, совершенные их дедами шестьдесят лет назад, сами не каясь ни в чем, — это просто непристойно. Тем не менее стратегия нагнетания страха явно срабатывает, число людей, собирающихся голосовать за Ельцина, растет, и люди, еще недавно казавшиеся вполне приличными, один за другим начинают работать на ельцинскую кампанию. Откуда же этот страх?

Это — очень сложное явление, в котором много компонентов и составляющих. Прежде всего, конечно, есть компонент реалистический. Коммунисты с их немыслимой идеологической эклектикой и озлобленностью, если и не так страшны, как их рисует воспаленное воображение, но все же очень плохи. И хотя теперешние рассуждения

«демократов», что Зюганов, может быть, сам и не так уж страшен, но его поддерживают жуткие фигуры типа Анпилова и Макашова и ему придется оплатить их поддержку, имеют, по-моему, не больше оснований, чем рассуждения коммунистов лет пять назад, что не столь плох Ельцин, сколь плохи стоящие за ним и управляющие им Бурбулис и Старовойтова. Ничего хорошего от Зюганова и компании ожидать не приходится. Я убежден, что его приход к власти будет означать новое испытание для нашей демократии, ухудшение экономического положения и ослабление российского государства (хотя, если Ельцин снова получит мандат «всенародного доверия», последствия вряд ли будут лучше). Однако такой прагматически-реалистический компонент — лишь часть нашего страха. Есть и другие, более важные составляющие. Это и «генетический» страх, порожденный травмами нашего прошлого. Пуганая ворона куста боится, а нам в Зюганове мерещится не то Ленин, не то Сталин. Это и проникшая в плоть и кровь чисто коммунистическая особенность сознания — нам нужно иметь какого-либо абсолютно злого противника, в борьбе с которым все средства хороши.

Раньше это были капитализм и «буржуазная идеология», теперь — коммунизм, с которым борются теми же приемами и зачастую — те же самые люди. И, наконец, очень важный компонент — это представление будущего поведения коммунистов по образцу недавнего и теперешнего поведения самих «демократов». В самом деле, демократы, провожавшие в августе 1991 г. улюлюканием и плевками покидавших партийные здания аппаратчиков, имеют основания бояться улюлюкания коммунистов. Те, кто расстреливал Белый дом или аплодировал этому расстрелу, очень

естественно полагают, что победившие коммунисты должны вести себя так же или еще хуже. Те, кто хапал государственную собственность, имеют основания бояться, что теперь будут хапать их собственность. Коммунисты, в среднем, не такие образованные и не такие богатые, как «демократы», и клянущиеся не Сахаровым, а Лениным, не обязаны вести себя лучше, чем «демократы». От них вполне оправданно ожидать еще менее порядочного поведения. Общество — единый организм, в нем должна быть более богатая и образованная, ориентированная на индивидуальные права и свободы «правая» и более бедная и ориентированная скорее на перераспределение доходов «левая». Но если у нас такая «правая», то и левая не может быть значительно лучше, ей даже «положено» быть немного хуже. Ельцин и Зюганов — это близнецы-братья, это зеркальные отражения друг друга, и оба они — порождения нашего единого организма, единого сознания, единой культуры. Мы находимся в порочном круге, в котором идиотизм и аморальность одних порождают идиотизм и аморальность других. Можно ли из этого круга выйти?

Это — крайне сложно. Если Ельцин побьет Зюганова или Зюганов Ельцина — мы все равно останемся в этом круге. Но даже победа «третьей силы», в которую я не очень верю (она, по-моему, тает на глазах), проблему не решает. Ибо нужна не победа третьего, а появление нового первого и нового второго, появление новых сил, борющихся друг с другом, но одинаково «пристойных». Нужно изменение всего общества, всего политического спектра — и левой, и правой, которые органически связаны друг с другом. Скоро это произойти не может, для этого нужно время. Что же делать сейчас? Ничего особенного мы сделать не

можем. Мы можем только стараться вести себя приличнее. Бороться с коммунистами, но без истерического визга и по тем правилам, которые мы сами установили и которые теоретически должны быть для нас высшей ценностью. Не оправдывать любую подлость ссылкой на то, что враг наш — зло абсолютное, не голосовать за тех, кто вызывает у нас отвращение только потому, что их противники вызывают еще большее. Но что делать, если коммунисты все же придут к власти и устроят «пир победителей»?

Тоже не сходить с ума. Коммунисты сейчас клянутся в верности демократии, и какая-то часть из них, несомненно, клянется искренне. Они никогда не победят подавляющим большинством, которое, несомненно, против реставрации старых порядков. И в этих условиях, если даже Зюганов и компания забудут свои обещания и попытаются «закрутить гайки», от некоммунистического большинства потребуются лишь самые минимальные стойкость, порядочность и усилия, чтобы этого не позволить. Если же и этого минимума нет, то и говорить не о чем. Коммунисты — это некоторая проверка «на вшивость». И если общество, Россия ее выдержат, есть шанс, что наши дети будут выбирать не меньшее из двух зол, а тех, кто им больше нравится. Как выбирают все нормальные люди в нормальных странах, зная, что даже если их кандидат проиграет, ничего страшного не произойдет — демократическое общество будет жить дальше.

ОПРАВДАНИЕ АВГУСТА[1]

Август 1991 года, как и октябрь 1917-го, был актом выбора, отсекавшим множество альтернатив и сужавшим «коридор возможностей». Не будь октября, могли возникнуть очень разные России, но после октября было уже предопределено, что если будет не Сталин, то «кто-нибудь вроде» Сталина, а затем, если бы не Хрущев, то тоже самое с небольшими вариациями сделал бы Маленков или даже Берия, и, возможно, если бы не было Горбачёва, то появился бы какой-либо его аналог.

Не будь августа, тоже могли бы быть разные России, но после него мы встали на путь, на котором были неизбежны если не Беловежские соглашения, то аналогичные соглашения в каком-либо ином месте, если не гайдаровская реформа, то какая-нибудь отличающаяся только деталями «авеновская», если не октябрь 1993-го, то что-нибудь в этом роде, если миллиардер — не придворный теннисист, то, скажем, врач, или массажист, или муж секретарши.

О чем думали, что чувствовали те люди, которые, собравшись вокруг Белого дома, отразив «гэкачепистов» и взяв власть, вернее, передав власть своим лидерам, определили наш исторический выбор?

Они ощущали себя пробудившимся, восставшим народом, который отказался «быть быдлом» (выражение Елены Боннэр) и не побоялся бросить вызов бронетехнике путчистов. Их храбрость, решительность и мужество их вождей: Ельцина, Руцкого, Хасбулатова, Попова, молодого, но

---

[1] «Общая газета», 15.08.1996.

«многообещающего» Станкевича и др.,— сорвали заговор реакции, цепляющейся за власть и привилегии, за коммунизм и СССР, заговор номенклатуры, победа которой могла бы повернуть нас вспять и даже могла вновь усеять страну лагерями, в которых томились бы демократы. Отныне будет покончено с бесконечными колебаниями нерешительного, цепляющегося за «социалистические идеалы», не могущего порвать со своим классом и наследием прошлого Горбачева. Открылся путь к окончательной ликвидации КПСС и «имперского центра», душащего все народы, и, может быть, даже больше других, наш российский народ. Скоро установится нормальная демократическая система, при которой будут бороться, скажем, христианские демократы с социал-демократами. Установится господство закона — взамен произвола и «телефонного права» партаппаратчиков. Национальные конфликты кончатся, ибо народы станут свободны и исчезнет сила, игравшая на этих конфликтах и разжигавшая их. Свобода раскроет колоссальные творческие потенции народа, который так много сделал даже в чудовищных условиях тоталитаризма, а теперь наконец расправил спину. Страна освободится от расходов на гонку вооружений и на поддержание марионеточных коммунистических режимов, поэтому после краткого, хотя и несколько болезненного, переходного периода мы просто не можем не стать такими же богатыми, как американцы или шведы.

Все вышесказанное — не пародия, не карикатура. Именно такие мысли были у людей, собравшихся у Белого дома и затем ликовавших на улицах Москвы. Но сейчас совершенно объективное изложение этих мыслей выглядит издевательством. Пять прошедших лет придали совершенно

иной смысл августовской победе и заставляют совершенно иначе взглянуть на события того времени.

Те, кто собрался вокруг Белого дома и ощущал себя поднявшимся с колен народом, были очень относительно — народом и очень сомнительно — поднявшимся с колен. Это была не такая уж большая группа людей, в которой преобладали низы и средние слои интеллигенции и новые коммерсанты, «кооперативщики». Настоящей революционной борьбы в России не было, диссиденты представляли собой ничтожную горстку и играли среди номенклатурного и элитарно-интеллигентского руководства демократов роль, скорее, декоративно-представительскую. Подавляющее большинство защитников Белого дома, может быть, ненавидели КПСС и советскую власть очень давно, но расхрабрились лишь в годы перестройки, после того как сама «тоталитарная власть» в лице генсека Горбачёва долго их раскачивала, внушая, что теперь бояться нечего (после чего они, естественно, накинулись именно на Горбачёва как на недостаточно смелого и решительного). Август 1991 года был единственным эпизодом за эти годы, когда они вроде бы действительно чем-то рисковали, но и в августе, как я убежден, хотя доказать это и не могу, в глубине души большинство из них понимало, что на самом деле никакого риска нет и никто штурмовать Белый дом не собирается. Так что и в самом смелом их деянии был элемент театра, имитации.

Но если защитники Белого дома имитировали героическую оборону, то «нападавшие» путчисты имитировали нападение. У ГКЧП не было готовности идти до конца, которую потом так ярко продемонстрировал Ельцин во время своей осады того же Белого дома. Это был бессильный «компромиссный путч», произведенный, кажется, не

столько в расчете на победу, сколько «для очистки совести» («мы пытались что-то сделать, мы не шли безропотно на ликвидацию СССР»). Подавляющее большинство партноменклатуры, давно уже ни в какой коммунизм не верящее и уставшее от партдисциплины, пальцем не пошевелило для спасения КПСС и СССР. «Классовый инстинкт» и элементарный здравый смысл подсказали ей, что лозунгов борьбы с привилегиями партаппарата бояться нечего, власть никто не отнимет, ибо и отнимать ее некому. Более того, сейчас открывается перспектива настоящей власти и настоящей собственности, наступает время, когда «красиво жить не запретишь».

Что было потом, после августовской победы и эйфории, мы тоже знаем. Мы знаем, что крови за эти пять лет было пролито во много раз больше, чем за всю послесталинскую советскую историю. И мы уже привыкли к этой крови, Чечня вызывает значительно меньше эмоций, чем не сопоставимые по масштабам трагедии в Сумгаите и Вильнюсе. Мы знаем, что годы «рыночных реформ» отняли у каждого россиянина ровно пять лет жизни — на столько уменьшилась средняя ожидаемая продолжительность жизни, единственный безупречный и неоспоримый показатель ее качества, что, пожалуй, сопоставимо с большевистским террором, только форма убивания людей иная. Мы знаем, что номенклатура не только не отдала привилегии, но купается в немыслимой в советские времена роскоши, а шахтеры падают в голодные обмороки; что разрыв между уровнем жизни богатых и уровнем жизни большинства достиг масштабов стран третьего мира; что в списке пятидесяти стран, ранжированных западными экспертами в порядке их перспектив экономического развития, Россия занимает

пятидесятое место; что «телефонное право» заменила ситуация, когда ближайшие к президенту люди могут публично обвиняться не только в коррупции, но и в убийствах, но что это ни на минуту не мешает им прибавлять все новые миллиарды к своим состояниям; что, наконец, народ настолько еще не поднялся с колен, что, зная все это, он голосует за эту же власть, которая так прямо и говорит: как бы кто ни голосовал, уйти она все равно не уйдет. Кто же виноват во всем этом? Кого тянуть к ответу?

При чисто «научном» подходе к истории вопрос о вине вообще не возникает. За что винить большевиков, если в обстоятельства, сделавшие возможной их победу, входит все, что угодно, от православной культуры до мировой войны и личных недостатков Николая II и Керенского? И как их можно винить, если они не могли знать, что из всего этого получится, и были искренне убеждены, что создадут земной рай? Но если все же судить просто, по-человечески, они виноваты. Ленинские фанатизм и беспощадность — это моральная ущербность, и все последующие ужасы большевистского режима — это разворачивание во времени изначальных моральных изъянов и преступлений. Та же самая логика применима и к августовским победителям. Разумеется, появление созданной августом системы было очень вероятно, и мы опять можем приводить множество факторов — от той же православной традиции до характера Горбачёва и членов ГКЧП. И разумеется, они хотели «как лучше», и многие были глубоко убеждены, что знают «как лучше» (некоторые даже читали Хайека и Фридмана, как некоторые большевики — Маркса и Энгельса). Но все же во всем, что происходило позже, виноваты прежде всего они — победители. И конечно, не в том, что поднялись

против ГКЧП — это как раз было, если и не таким героическим, как они пытались представить, но все-таки честным и мужественным актом. Они виноваты в другом — в том, что в советское время были тихими конформистами, а затем, когда стало безопасно, приняли революционную позу и стали сверхрадикальны (большевики хоть действительно боролись). В том, что считали себя умнее отцов и дедов, от которых отреклись с удивительной легкостью (и за это попали в ту же ловушку, что и деды). За то, что, смеясь над марксизмом («верой отцов») и удовлетворяясь еще более примитивными мифологическими схемами, поверили в молочные реки и кисельные берега, которых можно достигнуть без больших усилий, сменив форму собственности и введя рынок. В том, что уже в августе революционные интеллигенты устроили кучу малу вокруг партийного имущества, — предвосхищение будущих кровавых дележей государственной собственности. В совершенно неоправданном классовом высокомерии (не настолько уж они умнее рабочих и крестьян, да еще вопрос — умнее ли) и поразительном безразличии к «простому народу». В легкомысленно-безответственном отношении к бывшим «братским республикам» и во многом другом. В мировоззрении и чувствах августовских победителей, в их моральной и интеллектуальной дефектности в зародыше были все наши последующие беды, как кошмары советской власти представляли собой лишь «разворачивание» моральной и интеллектуальной ущербности большевиков. Сейчас не видеть это, по-моему, уже нельзя. Вина — очевидна. Но может ли быть какое-либо оправдание?

Все ссылки на объективные трудности, на то, что «хотели как лучше» — не оправдание, это в лучшем случае —

«смягчающие вину обстоятельства». Путь оправдания, мне кажется, есть лишь один.

Сейчас мы — в относительно устойчивом (и не очень приглядном) состоянии. Но история продолжается, и говорить, что 1996 г. — итог и результат 1991-го, можно не с бóльшими основаниями, чем, например, во французской Директории видеть итог революции 1789 г. или любой послеоктябрьский год нашей истории считать итогом революции 1917 г. Последствия любого исторического события уходят все дальше и дальше — в бесконечность. За Директорией придет Наполеон, затем — Реставрация и вся дальнейшая история Франции вплоть до Жака Ширака, в каждом событии которой — нечто от импульса, идущего от 1789 года. И у нас за 1919 г. следовали и 1930 и 1937, 1956-й, год XX съезда, и брежневский «застой», и горбачёвская перестройка. С движением вперед прошлое каждый раз предстает нам в новом свете и обретает (или раскрывает) новый смысл. Поэтому есть один реальный путь оправдания августа — если в конечном счете мы или, скорее, уже наши дети создадут демократическую Россию, которая не будет идеальной (идеальных стран и быть не может), но жизнь в которой будет не постыдной и не беспросветной. Тогда можно будет сказать, что мы шли пусть сложным и извилистым путем, но в правильном направлении и итог наш — не Чечня, шахтерские голодовки и господство Тарпищевых, а Россия, за которую не стыдно перед другими народами. У августовских победителей получилось «как всегда», и никто, кроме них, в этом не виноват. Но хотели они все-таки, при всех своих грехах и ошибках, «как лучше», и если в конечном счете получится «как лучше», значит, все было не совсем уж бессмысленно.

ТРИ РОМАНА ДВУХ СЛАВЯНОК[1]

Поездка Александра Лебедя в Минск, по окончании которой российский генерал открыто продекларировал свои симпатии к белорусскому президенту, в глазах поклонников Лебедя — оплошность малоопытного политика. Между тем взаимное влечение двух этих лидеров высвечивает глубокое сходство их натур, родство способов их политического восхождения.

С некоторыми допущениями в один ряд с этой парой можно поставить третью фигуру. Это — Ельцин, но, разумеется, не теперешний больной Ельцин, а Ельцин горбачёвского периода, ездивший в троллейбусе и даже один раз влезший на танк. В чем сходство всех трех персонажей?

Ельцин и Лукашенко были объектами большой любви соответственно русского и белорусского народов, любви искренней и страстной, ломавшей все преграды и приведшей к соединению любящих. Любовь русского народа к Лебедю, вторая сильная любовь русских за десять лет, только начинается, и до соединения еще далеко, но признаков того, что оно произойдет, очень много. (Третья восточнославянская сестра, Украина, похоже, так сильно любить не умеет, ее романы — трезвее и спокойнее.)

Сравнение любви народов к этим лидерам с любовью женщины к мужчине — не просто поэтическая натяжка. Здесь действительно много общего, и женская любовь — важный компонент народной любви. Во-первых, ситуация свободного избрания начальства в нашем обществе значи-

[1] «Общая газета», 26.09.1996.

тельно ближе к ситуации выбора мужа, который затем становится «хозяином», от которого женщина зависит и уйти от которого очень трудно, чем к ситуации мужской любви. Во-вторых, лидеры у нас — мужчины, а среди наиболее страстных сторонников Ельцина в свое время было очень много простых и немолодых женщин, у Лебедя — тоже много поклонниц, а приднестровские женщины просто были влюблены в него как в мужчину.

Понять механизм зарождения и развития подобных романов можно, лишь исходя из психологической «почвы», на которой эти романы произрастают, и фона, на котором они развиваются. Эти почва и фон — сильное недовольство всем вокруг — пьющим мужем, его дружками («политической элитой»), всей беспросветной жизнью и «пошлой мещанской средой», но недовольство — безыдейное (никаких сильных и ясных идей просто нет), «беспрограммное» и пассивное. Такое отношение имеет два аспекта. Один, более поверхностный — это циничная покорность судьбе («наверху — все одинаковы, о народе никто не думает, все врут, все воруют и воровать будут. Наша женская доля — терпеть»). Я думаю, что в последнем российском голосовании проявилось именно такое отношение к власти.

Но если женщина способна плакать перед телевизором о судьбе какой-нибудь Марианны, значит, жива в ней вера в большую, «нездешнюю» любовь. Под слоем цинизма и безнадежности теплится мечта о настоящем чувстве, о «прекрасном принце», и чем мощнее слой цинизма и безнадежности, тем сильнее может быть любовный порыв. Вот еще совсем недавно женщина покорно выносила постылого мужа и тяжелую жизнь, но встретился любимый, и она может бросить все, а мужа — даже убить.

Любимые могут быть очень разными, но общее в них, конечно, есть. Образ любимого, естественно, должен строиться по контрасту с образом постылого мужа. Прежде всего избранник сердца должен быть «настоящий мужчина». СМЕЛЫЙ. Лукашенко единственный выступил против Беловежских соглашений, Ельцин — против Горбачёва (с чем выступил — никто толком не знал, но это никого и не волновало), Лебедь смел, можно сказать, «по определению». ЧЕСТНЫЙ. Все трое вначале борются с коррупцией, это — обязательно, при этом желательно, чтобы на тебя были неудачные покушения. РЕШИТЕЛЬНЫЙ. Может быть, даже чуть-чуть жестокий, во всяком случае, не слюнтяй и не болтун. Но одновременно он должен показать, что и сам способен любить. Наряду с железной твердостью в нем желательны мягкость, доброта, жалость к страдающему народу. Ельцин ходил в районную поликлинику, Лукашенко просто извелся, размышляя о тяжелой доле белорусского народа, Лебедь сделал больше всех — он прекратил войну в Чечне, проявив разом и смелость, и честность, и жалость к людям. (Это — без какой-либо иронии.) У генерала волевой подбородок, он говорит жесткими формулами, но иногда «его суровое солдатское лицо озаряется почти детской улыбкой».

Наконец, желательно, чтобы избранник явился откуда-то со стороны, ибо представить себе, что «прекрасный принц» может вырасти в пошлой компании постылого мужа (в среде «политической элиты»), быть каким-нибудь столоначальником — трудно. «Настоящих мужчин» в таких компаниях не бывает, поэтому Лукашенко — появился из совхоза. Ельцин, хотя из обкома, но, во-первых, из Свердловского, во-вторых, резко порвал со своей компани-

ей. У Лебедя и фамилия-то — сказочного принца. Явился он откуда-то из Приднестровья, где еженедельно совершал подвиги.

Должен ли любимый быть умным? Конечно, полным идиотом он быть не должен, но и чрезмерным умником — тоже. Умник кажется «сухарем» и хитрованом. Любовь — сильное чувство, и как все сильные чувства, она делает людей слепыми. Люди не хотят видеть того, что противоречит созданному образу, они все истолковывают в пользу любимого. Ельцин мог падать с моста, говорить сперва одно, потом — прямо противоположное, до поры до времени это ему нисколько не вредило. Лукашенко мог устроить себе покушение по дороге в баню, причем экспертиза показывала, что выстрелы действительно были, но изнутри машины — народ все равно не верил экспертизе. Все антикоррупционные обвинения Лукашенко лопались как мыльные пузыри (хотя коррупция, естественно, была), но все равно он был герой и борец. Лебедь может подписывать две противоположные экономические программы одновременно, на глазах у всех перейти из противников Ельцина в его сторонники и получить за это крупный пост, говорить сначала, что расширение НАТО приведет к третьей мировой войне, а затем — что он не против такого расширения, и т. д. и т. п. Все равно его любят, и то, что у другого считалось бы глупостью, в нем даже умиляет, кажется проявлением искренности и нестандартности. Чем обычно кончаются такие романы?

Конечно, брак без любви — ужасен, но во всем нужна мера и чрезмерная любовь тоже опасна. Во-первых, она слепа, и брак поэтому становится рискованной лотереей. Во-вторых, слишком сильное обожание может испортить даже неплохого человека. Если на тебя смотрят пламенным

взором и аплодируют любой твоей глупости, не поверить, что ты — красавец и умница и даже спаситель отечества, очень трудно.

Каким оказался Ельцин, мы знаем и распространяться о больном человеке не будем. Лукашенко стал плохим президентом — человеком, который только и умеет что суетливо и бестолково бороться со всеми, который уже измучил свою Белоруссию, а сейчас так прямо и говорит, что жена должна беспрекословно подчиняться мужу, а о разводе нечего и помышлять: выбрала — терпи. Каким окажется Лебедь, если роман с ним придет к логическому завершению — браку?

Я сам — частичка нашего великого народа, нашей «коллективной влюбляющейся женщины». Мне тоже очень нравится Лебедь. Но и его не стоит любить безоглядно. Мы уже давно не девушки, между прочим. А то, что Лебедю так понравился Лукашенко, — признак очень плохой. Для России перейти от мужа типа Ельцина к мужу типа Лукашенко было бы фатальным невезением.

Примечание редакции. Рейтинг.

В сентябре у Александра Лебедя стало больше поклонников, чем у обоих финалистов президентской гонки вместе взятых. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ 13—18 сентября с. г. Цифра представляет процентное распределение ответов на вопрос о степени доверия, которое внушают респондентам известные политические деятели:

А. Лебедь 34%;

Г. Зюганов 15%;

Б. Ельцин 12%.

НИЧТО НЕ ОПРАВДЫВАЕТ КРОВИ[1]

Уже три года Абхазия живет в состоянии «ни мира — ни войны». Между тем, на наш взгляд, сама суть конфликта практически не присутствует в его многочисленных обсуждениях.

Плохо — всем. Судьба грузинских беженцев и принявшей их Грузии — очевидно ужасна. Но и судьбу победителей-абхазов тоже нельзя назвать особо счастливой. Независимость Абхазии никем не признана. Частью России, как рассчитывали некоторые абхазы, Абхазия не стала и не станет. Более того, российские друзья под давлением внешнего мира вынуждены были установить экономическую блокаду этой маленькой страны. Россия вляпалась в абхазский конфликт и теперь совершенно не понимает, что делать дальше. Она стала врагом для Грузии (чтобы понять, как к ней относятся, надо не слушать речи грузинских правителей, а смотреть результаты опросов грузинского общественного мнения). Перестает быть другом и для абхазов. А пограничное стояние её войск становится все более тягостным — и стоять до бесконечности не будешь, и уйти так просто нельзя. Ибо тогда возможна новая резня. Все загнали себя в тупик.

Серьезным политикам кажется, как это бывает с ними почти всегда, что моральные и правовые аспекты проблемы — нечто третьестепенное. Но реально они и есть глубинная основа конфликта. Наиболее серьезные конфликты имеют ценностные основания, они именно потому так страшны и ожесточенны, что сталкиваются две правды.

---

[1] «Общая газета», 24.10.1996.

Только осознавая свое дело как правое, как очевидную и высшую ценность, народы могут самозабвенно убивать и умирать (просто бандиты и убийцы есть всегда, но их всегда меньшинство). Что же за две правды в абхазском конфликте?

Если в Чечне столкнулись две ценности — ценность территориального единства России (скорее правовая, чем моральная) и несомненное моральное право чеченцев на независимость, то в Абхазии ситуация осложняется тем, что абхазы еще три года назад в своей республике были меньшинством. В 1989 г. грузинское население Абхазии составляло 45,7 процента, абхазское — 18,7. Поэтому, даже абстрагируясь от правовых аспектов, от суверенитета Грузии, независимость Абхазии — это или невозможная в наше время ситуация господства одной пятой над остальным населением (что-то вроде ЮАР до ликвидации апартеида), или то, что мы видим сейчас, — территория, очищенная от большей части жителей. Конфликт в Абхазии — это не конфликт правового принципа нерушимости границ и права наций на самоопределение, а конфликт основополагающих демократических принципов (все люди равны, один человек — один голос) и ценности сохранения культуры и самобытности маленького этноса.

В советскую эпоху, когда выборы были фикцией, коренной народ, составляющий меньшинство, но попавший в привилегированный разряд «титульных» наций, имел гарантии доминирования в руководстве своей республики и гарантии поддержания своей культуры. Неважно, что абхазов было менее одной пятой — они господствовали в парт- и госаппарате и имели всё, что «положено» — школы, газеты, даже университет.

Развал СССР и провозглашение независимости Грузии для абхазов означали угрозу национальной катастрофы, исчезновения как народа. Не надо даже никого убивать, изгонять или как-то особенно притеснять. Достаточно провести в жизнь нормальный демократический принцип: один человек — один голос. Так демократия, великая общечеловеческая ценность, вступает в противоречие с ценностью сохранения этноса и культуры.

Отдадим должное несчастному первому президенту Грузии Гамсахурдиа. Он понимал это и пошел на создание такого механизма выборов в Абхазии, в соответствии с которым абхазы получали большинство в парламенте. Но, естественно, в условиях националистического подъема и все усиливающегося политического хаоса в Грузии подобная система, предполагавшая колоссальное самоограничение грузин, не могла быть стабильной и гарантированной.

Затем Гамсахурдиа, с помощью России, был свергнут. Новые правители Грузии под предлогом наведения на железных дорогах порядка ввели в Абхазию тогдашние свои полувойска-полубанды. Абхазы поняли, что их нации приходит конец. И пошли на преступление — изгнание грузин и превращение себя, таким образом, из меньшинства в большинство, которое уже спокойно может проводить какие угодно выборы и референдумы. Этническая чистка в Абхазии — прямое следствие трудности примирения демократии и создания условий для сохранения малых народов.

Последствия преступления абхазов — а это именно преступление — должны быть ликвидированы. Но надо понять и причину этого преступления. Надо понять, что

обе стороны защищают каждая свою «правду», ценности очевидные и признаваемые современным миром. И решением абхазской проблемы может быть лишь нахождение способа сочетать право маленького народа на самосохранение с принципами демократического правопорядка, безоговорочно требующими возвращения грузинских беженцев в Абхазию. Это — в высшей степени сложная задача.

Просто автономия Абхазии здесь ничего не решает — для грузинского большинства автономия и не нужна, для абхазов же нужна не просто автономия, а надежные гарантии их выживания как нации. Здесь требуются иные решения. Или возвращение к советско-гамсахурдиевской системе квот (при определенных международных гарантиях). Или создание на части Абхазии маленькой действительно «абхазской Абхазии», находящейся в договорных отношениях с Грузией. Возможны еще какие-то нетривиальные подходы, но ведь и абхазская ситуация нетривиальна. Чем больше усилий будет направлено на поиски такого «исторического компромисса», а не на пропагандистскую войну и интриги, имеющие целью перетянуть на свою сторону Россию и другие страны, тем скорее будет развязан абхазский узел.

Россия не может навязать грузинам и абхазам прочное и приемлемое решение их конфликта. Она может быть только посредником, помощником в диалоге и переговорах. И если бы она смогла сыграть такую роль, это дало бы ей куда больше реального влияния и престижа, чем продолжение стояния войск на грузино-абхазской границе и перспектива постоянных военных баз в Грузии.

СТАБИЛЬНОСТЬ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ[1]

Три года назад принятие «ельцинской конституции» ознаменовало собой конец эпохи «революционных бурь» и вступление общества в полосу стабильности. Но стабильности, как и конституции, могут быть разными. Ельцинскую конституцию почти так же нельзя сравнивать с американской или немецкой, как и брежневскую, — у нее принципиально иные функции. Стабильность западных конституций — это стабильность формы, правил игры, в которой побеждают разные игроки, она предполагает нестабильность тех, кто стоит у власти. Стабильность ельцинской конституции — не формальна, а «содержательна». Ее функция — обеспечить власть определенного лица и группирующейся вокруг этого лица правящей олигархии. Она практически не создает противовесов президентской власти и оставляет для нее лишь одну опасность — сами президентские выборы.

Но немыслимые ресурсы президентской власти и специфический характер нашей политической жизни — оппозиция, как бы специально сконструированная не для прихода к власти, а для запугивания обывателей и сохранения власти теперешней, — делают эту опасность минимальной.

Формально и в 1991 г., и в 1993 г. побеждали и закрепляли свою власть демократы-западники, но фактически именно с 1993 г., с ельцинской конституции и стабилизации мы отклонились от логики западной политической жизни, воспринятой сейчас большинством посткоммунистических стран. Теперь даже в таких странах с очень со-

---

[1] «Общая газета», 11.12.1996.

мнительной демократической традицией, как Румыния, Молдова, Монголия, начал работать механизм ротаций. Пришедшие к власти на волне антикоммунистических революций романтики-демократы вскоре были оттеснены прагматиками из перестроившейся номенклатуры, а сейчас, похоже, начинается новая волна — возвращение «протрезвевших» демократов. Подобная смена власти и означает реально демократический характер политической жизни этих стран. И именно полная невозможность прийти к власти нашей основной оппозиционной силы, КПРФ (и ее никто не пустит, и сама она это понимает, только делая вид, что к власти стремится), означает сохранение основного принципа коммунистической (и вообще — недемократической, «азиатской») политической системы и политической культуры.

В самом деле, что дает Польше, Украине, Монголии, Молдове и т. д. смена власти? Во-первых, корректировку курса государственного корабля, который, естественно, заносит то слишком вправо, то слишком влево. Во-вторых, улучшение качества правящей элиты, ибо каждая ротация означает уход наиболее коррумпированных, бесталанных и просто — старых и больных. Наша стабильность соответственно имеет прямо противоположные последствия. Об экономических и социальных результатах нашего трехлетия стабильности говорить не получается — можно лишь простонать. «Качество» же нашей правящей элиты стало превосходящим всякое воображение.

Зададим традиционные вопросы — «кто виноват?» и «что делать?». Виновата, естественно, не Конституция, не придумавший ее Ельцин и даже не правящая верхушка. В конце концов «стабильность», от которой мы все страдаем,

держится на нас самих. На нашей глупости, безволии, на характерной для нас смеси детской наивности и доверчивости и отнюдь не детского цинизма (типично русская фраза, невероятная в устах американца или европейца — «эти уже насосались, а новые, голодные, будут еще больше воровать»). На нашем болезненном, идущем от неуважения к себе, от неуверенности в себе стремлении пугать всех вокруг и на нашей трусости — на том, что больше всех мы запугиваем самих себя и самими собой. На том, что наш народ не смог на выборах противопоставить Ельцину никого, кроме «бумажного тигра» КПРФ, которого сам же первый и испугался.

Но если виноваты в конечном счете мы сами, из этого вытекает и ответ на вопрос: «что делать?» Наша «стабильность» может сохраняться, наша верхушка может удерживаться у власти до тех пор, пока мы — такие. Пока то, что мы ей противопоставляем, — это «пугала», которыми мы запугиваем самих себя («держите меня или я сделаю что-то страшное, бунт мой — бессмысленный и беспощадный»). КПРФ и ЛДПР, порождения нашей бессильной озлобленности, переходящей в трусость и приспособленчество, — основные опоры и надежды нашего криминального режима. «Нормальный» же кандидат — противник Ельцина или какого-нибудь «верного ученика и продолжателя дела Ельцина», который не запугивал бы обывателя диктатурой, походом на юг и вагонами на север, но и не шел бы на сговоры и компромиссы с властью, который заставил бы людей поверить, что он — не фантом, а реальность, что из порочного круга «коммунно-фашисты или воры и убийцы» можно выйти, — был бы неодолим. Поэтому основная задача, стоящая перед всеми нами, — поверить в себя и

свою нормальность, преодолеть свои собственные комплексы. Тогда кончится теперешняя стабильность свободного падения и мы выйдем (с некоторым опозданием по сравнению с Монголией) на нормальный путь ротации власти — единственный путь, способный привести нас к реальной стабильности и прогрессу. Рано или поздно это произойдет. Но если это произойдет через три с половиной года, мы будем догонять Польшу и Португалию. А если — через семь с половиной лет, то, очевидно, уже Ботсвану, которая, по оценкам независимых западных экспертов, сейчас имеет лучшие перспективы экономического развития, чем Россия.

1997

Новое размежевание и новый выбор. Лучшее, что мы можем сделать — не делать ничего. За «утешающий обман» надо платить. Борис Ельцин против капитализма. Каждый народ имеет ту оппозицию, которую заслуживает. Круговорот фаворитов в Кремле.

НОВОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ И НОВЫЙ ВЫБОР[1]

Еще совсем недавно могло казаться, что российское общество разделено по относительно ясным линиям политического противостояния. С одной стороны — захватившие в 1991 г. власть «западники»: демократы, рыночники, противники империалистической политики. С другой — антизападническая оппозиция в ее двух легко переходящих друг в друга и сливающихся вариантах: националистически-православно-монархическом и коммунистическом. В октябре 1993 г. дело дошло даже до маленькой гражданской войны, но и в это время можно было заметить, что если не для рядовых защитников Белого дома, то для их лидеров борьба была отнюдь не такой страстной и идейной, как они пытались представить. А к 1997 г. имитационный, игровой характер борьбы оппозиции и власти стал виден невооруженным глазом. КПРФ перешла к сотрудничеству с режимом, прикрывая этот тайный альянс периодическими демонстрациями истерик, необходимых как для лидеров компартии, боящихся потерять свой электорат, состоящий из обездоленных и ненавидящих власть людей, так и для власти — чтобы запугивать обывателей и Запад угрозой «коммуно-фашизма».

Сближение власти и оппозиции имеет и идейные, и социально-«классовые» основы. Демократы очень быстро пережили «традиционалистскую» идейно-психологическую трансформацию, в какой-то мере сопоставимую с трансформацией большевиков. Они установили политический режим, не так уж отличающийся от позднекоммунистиче-

---

[1] «Общая газета», 13.02.1997.

ского или даже позднесамодержавного, символическая связь с которым всячески ими подчеркивается. Усвоили державную и имперскую лексику и стали продолжать традиционную внешнюю политику, пытаясь вновь объединить постсоветское пространство и борясь с расширением НАТО. И социально-экономическая система, которую они создали, очевидно, ближе к позднесоветскому административному рынку и теневой экономике, чем к капитализму западного типа. При этом герои 1991 г., идейные радикалы вроде Гайдара, Бурбулиса и др., отодвинуты на обочину и уже погружаются в Лету. С другой стороны, коммунисты, приняв систему выборов и стремясь расширить электорат, тоже прошли через идейную трансформацию как в традиционалистски-националистическом, так и в «демократически-рыночном» направлениях, и также задвинули куда подальше своих радикалов типа Анпилова.

Сближение власти и оппозиции облегчается и их «классовым» единством. Ельцин, его окружение и лидеры коммунистов (особенно после изгнания из обоих лагерей радикалов-«разночинцев») — люди одного класса, обуржуазившейся номенклатуры, одной психологии, одной культуры, одной системы ценностей (реальной, а не декларируемой). Просто одни в свое время оказались шустрее и циничней, а другие — потупее. Лидеры КПРФ не могут ненавидеть, например, Черномырдина, на сто процентов «своего», родного и понятного, хотя оппозиционный Явлинский их явно раздражает (как он раздражает и Черномырдина).

Консолидация элиты одновременно означает ее «замыкание в себе», ослабление ее связей с народом. «Разночинцы» типа Бурбулиса, Старовойтовой или Глеба Якунина

были фигурами, связывающими элиту «демократов» с широкими массами рядовой интеллигенции, как Анпилов связывал коммунистических номенклатурщиков с нищими стариками и старухами из «Трудовой России». Сейчас такого рода связи оборваны. Народу к власти не пробиться, и власти нет потребности особенно прислушиваться к народу, ибо она может заменить относительно дорогостоящие «уступки народу» относительно дешевыми уступками оппозиционным лидерам.

Сделать какого-нибудь очередного Тулеева министром или даже отправить в отставку Чубайса (последнего демократического выдвиженца из «разночинцев») — куда проще, чем регулярно платить зарплату. Если бы не болезнь Ельцина и не кошмарная перспектива досрочных выборов, о народе можно было бы на четыре года вообще забыть в твердой уверенности, что через четыре года что-нибудь придумается.

Но если элита консолидируется и «замыкается в себе», то на другом полюсе, «полюсе народа», тоже возникают предпосылки консолидации. Сейчас не получающий зарплату врач, инженер и даже профессор — поклонники Сахарова и Гайдара, участники демонстраций 1990—1991 гг., аплодировавшие расстрелу засевших в Белом доме «коммуно-фашистов», не могут не ощущать некоторого социального родства с не получающим зарплату рабочим и не получающим пенсию «трудороссом».

«Демократические» и «коммуно-фашистские» демонстрации исчезли, ибо их былые участники сейчас просто «стараются выжить», сил на демонстрации у них уже нет, как нет надежды, веры и лидеров. Народ, 90 процентов русских людей, не принадлежащих к современной знати, —

это неорганизованная, не верящая в себя и не способная отстаивать свои интересы, беззащитная перед лицом консолидированной элиты атомизированная масса, но масса, с каждым днем становящаяся все более идейно и психологически однородной. Все былые идеи эта масса уже порастеряла, и единственное, что осталось и что в принципе до конца не уничтожимо, — это некоторые простые моральные истины (вроде того, что честный труд все-таки лучше, чем воровство, что бандит должен сидеть в тюрьме, а за работу надо платить), никаких подтверждений которым в реальной социальной жизни она не видит.

И чем больше ее ощущение безысходности и разочарование в «элите», тем больше — мечта о том, что появится какой-нибудь честный и твердый человек, который покажет, что эти истины могут иметь значение не только для отдельных людей, но и для общества, вернет веру в справедливость и лучшее будущее. Народ сейчас — это нечто вроде насыщенного раствора, в который, может быть, надо бросить одну песчинку, чтобы произошла «кристаллизация». И такая песчинка, похоже, уже есть. Это генерал Лебедь.

Лебедь — человек без сколь-либо ясной идеологии и программы. Он — не «демократ» и даже сторонится готовых оказать ему поддержку и «прилипнуть» к нему демократических интеллигентов, но и не антидемократ, не коммунист и не националист. Эта идейная неопределенность — скорее сила, а не слабость, ибо она соответствует разочарованию народа в идеологиях. Зато имидж генерала — честного и волевого человека, не принадлежащего к «жулью», — очень четок и определенен.

Сила Лебедя — иррациональная сила человека, который может возбудить любовь и надежду народа, это — не

материальная сила, но она может на ближайших выборах перевесить всю мощь объединенной «элиты» с ее лучшими аналитиками и непредставимыми финансовыми ресурсами. «Элита» понимает это и панически боится отставного генерала. Чтобы остановить Лебедя, у нее есть фактически лишь один путь — изменить Конституцию, лишив народ права избирать президента, но это очень рискованно, ибо окончательно делегитимизирует власть и создаст простой и ясный лозунг для всех недовольных — «Верните выборы!».

Не исключено, конечно, что Лебедь может остановить себя сам, наделав совсем уж немыслимых глупостей, которые разрушат его имидж. Но даже если Лебедь споткнется, это не изменит характера новой «раскладки» политических сил — насыщенный раствор сохранится, и он будет ждать какой-то новой песчинки, нового Лебедя. Общество пришло к новому типу размежевания — не на «западников» и «славянофилов», «демократов» и «коммунистов», а на «консолидированную элиту», стремящуюся к стабильности, и народ, все менее способный эту стабильность выдерживать.

Новый выбор — не выбор между разными идеями и даже не выбор между сколь-либо рациональными альтернативами. Это — выбор между «экзистенциальными позициями». Одна позиция — «как бы не было хуже», «к этому дракону мы уже привыкли». Это естественная, нормальная и человеческая позиция — предпочтение плохого, но привычного незнакомому и странному, предпочтение болезни и медленного умирания — возможно, шарлатанскому лечению, которое может привести к скорой смерти. Это очень «русская» позиция, основной ресурс нашей

власти. Но с каждой невыплаченной зарплатой она ослабевает и крепнет противоположная — «надо что-то делать», «так жить нельзя». Выбор между этими позициями — не рациональный выбор, каждый его будет делать, как ему подсказывают его совесть и интуиция. Доказать преимущество той или иной позиции нельзя, и всякий, кто возьмется это сделать, лишь продекларирует свой личный выбор.

ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ, — НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО[1]

Во внешней политике России довольно четко просматривается определенная закономерность: после каждого российского действия ситуация оказывается хуже, чем она была до совершения этого действия, и хуже, чем она была бы, если бы этого действия вообще не было. При этом чем более энергичны и активны наши действия, тем больше и очевиднее отрицательный результат. Примеров, иллюстрирующих эту закономерность, — множество, и относятся они к самым разным сферам.

Самый яркий, конечно, это — война в Чечне (объективно отношения с Чечней это уже тоже «внешняя политика»). Можно было ее просто не вести и спокойно договориться с Дудаевым о каком-нибудь «ассоциированном членстве» или «особом статусе». Мы пошли войной, результат — полная потеря Чечни, унижение России, ослабление позиций на всем Кавказе и т. д.

---

[1] «Общая газета», 24.04.1997.

Можно было просто не лезть в югославские дела. Но мы стали активно поддерживать Милошевича и Караджича. Результат обманул ожидания — Милошевич стал искать поддержки Запада, в Сербии, кажется, впервые за всю ее историю, вспыхнули антироссийские настроения, которых не было даже во времена борьбы Тито со Сталиным, а когда оппозиция окончательно придет к власти в Белграде, Сербия получит открыто враждебное России правительство.

Можно было не реагировать на возникшие у наших бывших сателлитов мысли о вступлении в НАТО. Тогда, очевидно, они долго и осторожно взвешивали бы все «за» и «против» («за» — соображения статуса и безопасности, довольно абстрактные, ибо если Россия им не угрожает, то вроде больше угрожать и некому, «против» — расходы на перевооружение). Мы реагировали крайне активно и очень своеобразно — не стремясь показать соседям, что никакой угрозы от нас быть не может, а угрожая разными «ответными мерами» американцам, если они этих соседей, с которыми мы вообще разговаривать не желаем, в НАТО примут. Результат — именно такой, какой и должен был быть: НАТО будет расширяться, в него выстроилась очередь центральноевропейских стран, для наших «братьев» по СНГ вступление в НАТО превращается в прекрасную мечту и цель жизни, мы же останемся с какой-нибудь совершенно бессмысленной декларацией или договором в окружении соседей, значительно более враждебных, чем раньше.

Практически несомненно, что ничем хорошим не кончится и наш роман с Лукашенко. Союз, который мы заключим, будет одновременно и аморфно-декларативным, и дорогостоящим, а после падения режима Лукашенко (рано

или поздно это неизбежно) или даже до его падения мы будем, очень похоже, иметь под боком нечто еще недавно непредставимое — враждебную России Белоруссию.

Во всем мы видим одну и ту же логику. И ей подчинены не только действия нашей власти, но и действия отдельных «неофициальных» и даже оппозиционных политиков. Кто из наших политических витий больше всех навредил России на «внешнем рынке»? Безусловно Жириновский, громче других ратующий за великую и могучую державу. Помолчал бы — было бы лучше. Лужков мог спокойно сидеть в Москве и заниматься хозяйством, но желание послужить матери-России повлекло его в Севастополь. Севастополя Лужков и Россия не получили, а Украина стала усиленно домогаться особых отношений с НАТО и делать мелкие пакости нашим военным.

Картина получается печальная и в то же время несколько комическая. Все стараются сделать свою страну сильной и уважаемой, депутаты нервничают и принимают разные резолюции, дипломаты напряженно работают, может быть, даже ночами не спят, аналитики анализируют и разрабатывают стратегии, министр иностранных дел почти не вылезает из самолета. Но получается так, что, если бы они просто ничего не делали, было бы значительно лучше. Вполне можно сказать, что наш МИД и наша власть в целом, да едва ли и не вся «политическая элита» страны напряженно работают над тем, чтобы скорее расширить НАТО, обязательно подведя его к нашим границам, старательно вытесняют Россию из Центральной Европы и СНГ, упорно и настойчиво строят вокруг нее «санитарный кордон» и т. д. Что же стоит за этой трагикомической картиной?

За ней стоят крайняя противоречивость наших внешнеполитических чувств и стремлений, несоответствие наших представлений о мире современным реалиям и несоответствие наших претензий нашим возможностям. Можно хотеть отнять у Украины Севастополь — наверное, не самое достойное, но вполне понятное желание. Но нельзя одновременно отнимать Севастополь и стремиться к тому, чтобы Украина была нашим преданным союзником. Так не бывает.

Можно стремиться к тому, чтобы стать европейской страной, уважаемым другом США и Германии. Но нельзя, стремясь к этому, одновременно везде, где мы можем — в Боснии, в отношениях с Ираком, с Ираном, с Китаем, — устраивать Западу мелкие (крупных у нас просто не получается) неприятности.

Можно поставить своей целью максимально навредить Западу, но нельзя одновременно с этим проситься в «семерку». Можно угрожать Западу, говоря, что, если он пустит в НАТО чехов и поляков, мы пересмотрим военную стратегию (после «успехов» нашей армии в Чечне это — очень страшная угроза). Но нельзя после этого обижаться, если наши бывшие союзники станут к нам откровенно враждебны.

Противоречивость наших стремлений осложняется архаичностью нашей картины мира. Наш образ международных отношений — это образ борьбы всех со всеми, взятый из книжки Ленина об империализме, «Истории дипломатии» и опыта борьбы СССР с западными странами. Даже наши молодые дипломаты и аналитики убеждены, что естественная цель любой страны — бороться с соседями, подчинять их и расширяться (это у нас называется «отстаива-

нием национальных интересов»). И до нас просто не доходит, что мир, во всяком случае, западный мир, стал совсем другим, в нем иные угрозы (не от соседей, стремящихся захватить какую-нибудь Эльзас-Лотарингию, а от экологических катастроф, непредвиденных последствий технологического развития, терроризма), иные представления о силе и безопасности, иные правила поведения. Страна, видящая целью своего существования борьбу за влияние на соседей, расширение за их счет, вызывает в этом мире те же чувства, какие вызывает в коллективе человек, стремящийся подчинить других, открыто требующий повышения в чине (принятия в «семерку»), хамящий слабым и пристающий ко всем с вопросом «уважаешь ли ты меня?». Мы не умеем вести себя в этом мире, пугаем своими манерами, своей «непредсказуемостью» — и нас, естественно, в коллектив не принимают. После этого мы еще сильнее обижаемся, еще больше суетимся — и нас еще упорнее не принимают. Кроме того, утратив (и навсегда) силу СССР, мы сохранили советские «супердержавные» замашки, как бывший начальник сохраняет начальнический тон с бывшими подчиненными, что, естественно, вызывает лишь раздражение и желание указать ему, что он все-таки уже не начальник.

Таким образом, за всеми нашими бедами стоит наш характер и наше психологическое состояние. Пока мы такие — все так и будет, любое наше действие будет объективно направлено против нас самих. Смешно думать, что можно одним махом изменить характер и проснуться на следующий день другим человеком. Чтобы измениться, нужно время, нужна смена поколений, нужна привычка к новому миру, в котором мы оказались после распада СССР,

и к нашему новому положению. И все же можно ускорить этот процесс интеллектуальными и волевыми усилиями. Надо попытаться взглянуть на себя со стороны, попытаться преодолеть пустые страхи, вроде страха НАТО, и перестать пугать других (чаще всего стремится напугать других тот, кто сам всех боится). Надо постараться меньше думать о том, как к нам относятся, и больше — о том, что мы представляем собой на самом деле и как нам построить нормальное, эффективно работающее общество. Успокоиться и перестать суетиться. И когда это произойдет, когда появятся успехи в экономике, а окружающие забудут о нашем прошлом, уважение и даже любовь придут сами собой, как они пришли к тихо сидевшим и спокойно работавшим немцам, вызывавшим в свое время у соседей еще бóльшую злобу, чем вызываем мы.

ЗА «УТЕШАЮЩИЙ ОБМАН» НАДО ПЛАТИТЬ[1]

Если провести референдум и спросить русских и белорусов, хотят ли они равноправного союза (федерации, конфедерации и пр.) двух государств, наверняка большинство скажут «да». Но между волей народов и ее реализацией — зазор не меньший, чем между желанием индивида и его исполнением. (Если спросить русских и белорусов на референдуме, хотят ли они неуклонного повышения своего жизненного уровня, они тоже скажут «да».) Реального, не бумажного, а прочного объединения России и Белоруссии в исторически обозримое время почти несомнен-

[1] «Общая газета», 15.05.1997.

но не будет. И дело не в противодействии западных «агентов влияния». (Тема «агентов влияния» становится у нас все более популярной, перейдя от коммунистов и жириновцев к Лужкову и Примакову.) Дело скорее в самих активных сторонниках объединения, которые хотят не просто союза России и Белоруссии, а такого союза, при котором каждый получил бы выгоду за счет другого, и все время пытаются обмануть друг друга и превратили дело объединения в какой-то немыслимый клубок лжи.

Равноправное объединение России и Белоруссии невозможно в принципе. Как не может быть федерации Германии и Люксембурга или Китая и Монголии (излишне говорить, что ЕС — отнюдь не союз Германии и Люксембурга, а союз относительно равновеликих Германии, Англии, Франции, Италии, в пространстве «между которыми» находит свое место и Люксембург). Равноправное объединение тигра и кошки безусловно было бы очень выгодно кошке (всю добычу делить пополам). Но подобные объединения встречаются только в сказках о животных. Где о них рассказывается для того, чтобы посмеяться над глупостью сильных. Простой белорусский или русский рабочий или крестьянин, занятый заботами о хлебе насущном, имеет право это не понимать. Но разрабатывающий план такого объединения политик должен быть или предельно наивен (значительно наивнее рабочего и крестьянина), или лжецом и демагогом, отлично понимающим нереальность таких планов, но использующим их для того, чтобы обмануть других и что-то хапнуть. И я думаю, что, хотя главный борец за равноправный союз Лукашенко, может быть, во многом и наивным, но не настолько.

Но если невозможно равноправное объединение, то, может быть, возможна инкорпорация Белоруссии в Россию (или прямая, когда белорусские области становятся российскими «субъектами федерации», или в смягченной форме, при сохранении какого-то особого статуса, вроде Татарстана)? Мне думается, что практически невозможно и это. Прежде всего, если русские, хотя и довольно вяло (народ у нас явно меньше озабочен территориальным расширением, чем «элита»), приветствовали бы это, то большинство белорусов этого, несомненно, не хотели бы. Одно дело — равноправный союз, другое — «самоликвидация». А для значительного, социально очень значимого и растущего белорусского меньшинства такая перспектива неприемлема категорически. Но дело опять-таки не столько в желаниях народов, сколько в интересах правящих верхушек.

Российская власть, конечно, с удовольствием проглотила бы белорусский кусок, но при одном условии — если при этом можно будет «выплюнуть кость», Лукашенко, не пустив его и его избирателей на российскую политическую арену или сведя их значение на этой арене к минимуму. Оценить перспективы Лукашенко на российской сцене очень трудно, но никто из имеющих реальную власть, от Ельцина до Зюганова, рисковать не хочет. Все боятся и надеются, что как-то удастся Лукашенко обдурить — все-таки «простой белорусский мужик». (Готовы признавать Лукашенко лишь те, кому нечего терять и кто настроен на азартную игру с неопределенным исходом.) Но мне думается, что обдурить Лукашенко, взяв у него Белоруссию и дав ему взамен какую-нибудь чепуху, не удастся.

Белорус Лукашенко — патриот Белоруссии не больше, чем корсиканец Наполеон был патриотом Корсики, а авст-

риец Гитлер — Австрии. За перспективу стать хозяином большой страны он вполне своей маленькой пожертвует. Но только за такую перспективу. Так просто, за здорово живешь, ни один президент страну, в которой он — президент, не отдаст. И когда Лукашенко говорит, что не собирается поступаться суверенитетом Белоруссии, он совершенно искренен. И стоять на страже этого суверенитета он будет не менее упорно, чем стояли бы Шушкевич или Позняк.

Таким образом, все пытаются обмануть друг друга, все «пишут два, а пять держат в уме», все «мутят воду», надеясь поймать какую-то рыбку. Кто же ее поймает, кто выиграет в этой темной объединительной драке? В ближайшей перспективе, очевидно, выиграет Лукашенко (в конечном счете он, несомненно, проиграет, но не в этой российско-белорусской игре, а в игре со своим народом). Если бы вдруг свершилось невозможное — возник действительно равноправный союз, — Россия заплатила бы очень много. Если бы она просто инкорпорировала Белоруссию (что тоже нереально), правящая верхушка России заплатила бы появлением на политической арене новой иррациональной силы. Но почти несомненно, что ни того, ни другого не будет. А будет какое-то очередное объединительное шоу, и все останется, как прежде. Но и за это тоже придется платить. За интеграцию придется платить. За то, чтобы она не была чрезмерной, — тоже придется платить. И дальше мы тоже будем платить. За то, чтобы Лукашенко не слишком уж бросался нам в объятия. И потому, что он, несомненно, будет и впредь шантажировать наших правителей, говоря, что они на самом деле интеграции не хотят, ибо похоже, что истинные хозяева — в Вашингтоне и Тель-Авиве,

и угрожая, что терпение его может иссякнуть и он может обратиться и на Запад. Почему же выигрывает в этой игре слабый, почему мы платим и будем платить?

Позиция Лукашенко во много раз сильнее российской, ибо он поймал нас на слове. Ведь это мы призывали к интеграции, к союзу, естественно, равноправному. Теперь настало время перейти от слов к делу. В этой интеграционной игре Лукашенко, с одной стороны, и не очень-то обманывает (равноправный союз был бы ему только выгоден), с другой стороны, если кого и обманывает, так нас (поскольку наверняка понимает, что на такой союз мы не пойдем и дадим отступного).

Мы же пытаемся обмануть не только Лукашенко, но и самих себя. Если бы мы решились честно сказать, что никакого равноправного союза типа федерации или конфедерации не может быть в принципе, то ничего бы не платили. Но сказать так мы не можем, ибо уж очень хочется нам стать каким-нибудь «центром притяжения», каким-нибудь начальником — хоть в завалящем, но «блоке». Когда мисс Вандербильд покупала бриллиантовое колье, Эллочка-людоедка отвечала на это покупкой «шанхайских барсов». НАТО расширяется, и мы будем расширяться. Мы будем платить Лукашенко так же, как в свое время платили любому диктатору третьего мира, если он объявлял себя сторонником «научного социализма», ибо не платить ему означало отказаться от иллюзии расширения, признать, что распространение коммунизма прекратилось. Мы всегда платили за то, чтобы казаться самим себе больше и значительнее, чем мы есть. Это — очень старая российская традиция, уходящая корнями в Российскую империю, где финны, прибалты, поляки и многие другие народы жили

значительно богаче и свободнее, чем русские, но зато империя была — российская. «Я плачу тебе, чтобы ты признавал меня начальником (или старшим братом)» — типично для нас, связано с нашей неуверенностью в том, что сами по себе, вне ситуации начальника, мы достаточно значимы и ценны. И пока не приобретем этого чувства собственной ценности, так и будем платить всем, кто поставляет «нас утешающий обман».

КРУГОВОРОТ ФАВОРИТОВ В КРЕМЛЕ

Особенности кадровой работы Бориса Ельцина[1]

Клубок дворцовых интриг, приведших к отставке «дружной команды молодых реформаторов», будет распутываться и уже распутывается в многочисленных статьях и передачах по радио и телевидению. Но мне думается, что наиболее интересно в этом событии все же не то, как оно связано с борьбой придворных клик и приближенных банков, судьбой Черномырдина, Березовского, ОНЭКСИМа и т. д., а то, что оно с предельной ясностью высвечивает закономерности нашей политической жизни. А именно: правление посредством периодически возвышаемых и затем низвергаемых фаворитов-временщиков.

В самом деле, ведь все это мы уже видели, и Чубайс — далеко не первый временщик, еще недавно казавшийся всемогущим и вдруг низвергнутый. Самая очевидная параллель судьбе Чубайса — судьба другого «русского

[1] «Общая газета», 20.11.1997.

реформатора», Гайдара. При всем различии личностей Гайдара и Чубайса и способов их приближения и отстранения «рисунок» их политической судьбы — общий. И тот и другой — «выскочки» и временщики-фавориты, которых президент полюбил и стремительно возвысил почти так, как возвышали своих любовников императрицы XVIII века. (Сплетня об отношениях Чубайса и Татьяны Дьяченко, вероятно, просто сплетня, но возникновение ее не случайно — в возвышениях, подобных возвышению Гайдара и Чубайса, есть нечто от стремительного романа ветреной женщины, естественно, кончающегося изменой и новым романом.) И тот и другой — убежденные рыночники, с энтузиазмом выполняющие «необходимую грязную» работу. И тот и другой любимы «демократической интеллигенцией» и Западом, но чужды и неприятны номенклатурной элите, как неприятен выскочка людям, добивавшимся своего положения не «случаем», а «горбом». И тот и другой ненавистны колоссальному числу людей, пострадавших от капиталистических реформ, и коммунистам, в сознании которых эти фигуры приобрели демонические очертания. Наконец, и того и другого неожиданно выгоняют, после чего слышится вздох облегчения их врагов и возникают надежды на «оздоровление» и «перемену курса». Но можно вспомнить не только Гайдара. Можно вспомнить и ныне уже подзабытого «стратега реформ» Бурбулиса и «пострадавших» из противоположного лагеря: были ведь при дворе Ельцина фигуры, «демонизированные» не коммунистами, а, наоборот, демократами, но кончившие так же. Например, Коржаков с Барсуковым, покойный Егоров, которому демократы приписывали авторство чеченской войны. Все это — разные варианты и формы одной модели:

стремительное возвышение, кажущееся могущество, фокусирование на себе ненависти и зависти и внезапная опала. В чем причина этой повторяемости?

В нашей теперешней политической системе это, видимо, единственно возможная модель политической карьеры. Если бы Ельцин был президентом — главой партии, победившей на выборах, он был бы скован этой партией, ее программой и идеологией и мог выбирать лишь из узкого круга лиц, уже (и вне зависимости от него) сделавших партийные карьеры. Если бы он был президентом с ограниченными полномочиями, в условиях, когда власть принадлежит назначенному парламентом правительству, его возможности возносить любимцев были бы тоже крайне ограничены. Наконец, если бы он был генсеком КПСС, он мог бы выбирать лишь из числа высшей номенклатуры и был бы ограничен Политбюро. Ни Хрущев, ни Брежнев не вольны были назначить премьером завлаба, привлекшего их своей интеллигентностью, или сделать самым влиятельным лицом в государстве любимого телохранителя.

Но Ельцин сам отказался от реальной в 1991—1992 гг. перспективы стать главой партии, предпочтя более удобную для него и более соответствующую национальным традициям роль «президента всех россиян», стоящего вне партий и над партиями. Он сам создал Конституцию, делающую его всевластным, а парламент — бессильным. И КПСС он тоже сам разрушил, освободившись от пут партийных традиций и ритуалов. Этим он сделал для себя не только возможным, но и единственно возможным правление через фаворитов.

Я совсем не хочу впадать в преувеличения и говорить, что демократия у нас не сделала никаких успехов. Напротив,

успехи ее очевидны и велики, и во многих аспектах власть Ельцина — очень ограничена. Но при назначении на высшие государственные должности его возможности больше, чем возможности президентов по-настоящему демократических стран и чем возможности коммунистических генсеков. В этом смысле объем его полномочий приближается к власти лишь одного из серии советских руководителей — Сталина в его позднем периоде.

Конечно, сравнение позднего Ельцина и позднего Сталина имеет очень ограниченное значение. Масштабы их личностей и власти — совершенно разные. Это как бы сравнение настоящего диктатора с «семейным тираном». Но при всем различии масштабов психология и методы «локальной тирании» могут быть тождественны психологии и методам тотальной диктатуры так же, как столкновение бильярдных шаров подчиняется тем же законам механики, что и столкновение небесных тел. В самом деле, роль и судьбу Гайдара и Чубайса можно сравнить с ролью и судьбой, например, Ягоды или Ежова. Те тоже были подняты из номенклатурных низов, казались всемогущими, выполняли «грязную, но необходимую работу», фокусировали на себе всеобщую ненависть, которая благодаря этому оказывалась направленной не на верховного владыку, а на слугу, и затем внезапно исчезали, после чего появлялась иллюзия, будто сам Сталин ни при чем, он многого даже и не знал, и что теперь, когда настоящий демон повержен, жизнь выправится.

Мне кажется даже, что, как и у Сталина, кажущаяся непредсказуемость и иррациональность ельцинских кадровых решений (только что говорил, что Березовского не снимет — и тут же снял, только что хвалил Коха — и тут же

выгнал) — нарочитая, специально «заостренная». Чтобы все боялись и знали свое место. И даже реакция Чубайса («мы примем любое решение президента») несколько похожа на реакцию арестованного партийца, все равно преданного Сталину и винящего в своей судьбе не его, а обманувших его негодяев. Есть и еще одно сходство позднего Сталина и позднего Ельцина.

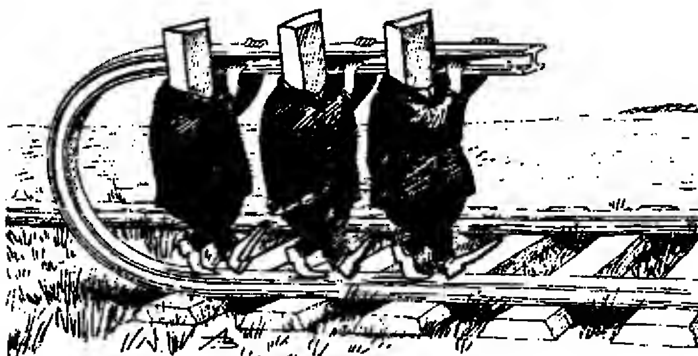
У обоих в руках — громадная власть, которая тем не менее в своих основаниях условна и ограничена (у Сталина — марксизмом-ленинизмом, необходимостью строить коммунизм, у Ельцина — демократией и выборами, необходимостью тоже что-то строить и что-то доказывать). И эти ограничения, иногда очень ощутимые (Ельцину, например, пришлось в 1996 г. во имя демократии даже плясать перед народом с больным сердцем), естественно, тяготят. Поэтому их обоих привлекает монархия — модель власти, при которой ты не обязан что-то «строить» и что-то «доказывать». Сталин ввел погоны, титулы типа «Верховный» и очень любил Петра I и Ивана Грозного. Ельцин ввел двуглавого орла, воскресил Думу и тоже любит Петра. Обоим очень нравится, когда в их свите можно увидеть благородное лицо патриарха. И это — не случайное сходство, ибо цари по масштабам власти, но не по ее безусловности и легитимности, естественно, хотят быть просто царями, которым не нужно постоянно утверждать свою власть (она — от Бога) и которые могут спокойно умереть, зная, что власть перейдет к детям, законным наследникам.

Если это так, если мы с 1991 по 1997 г. прошли путь от чего-то, отдаленно напоминающего революцию 1917 г. (как буря в стакане воды напоминает бурю на море), до чего-то отдаленно напоминающего сталинскую систему

(как тирания столоначальника напоминает настоящую тиранию), то из этого вытекает определенное предсказание. Упорядоченная преемственность власти в подобного рода системах невозможна (Ельцин не мог вынести даже существования вице-президента). Смерть «хозяина» неизбежно ведет к бешеной борьбе его уцелевших к этому моменту приближенных (обычно с неожиданным исходом), апелляцией к народу и списанием на покойного всех мыслимых и немыслимых грехов. Поэтому через какое-то время России, очевидно, предстоит пережить небольшую встряску — что-то вроде маленького (на втором витке спирали — все мельче) «разоблачения культа личности». И, может быть, это будет последняя такого рода встряска, и мы окончательно выйдем из системы «отцов народа» и перейдем к системе, при которой высшие политические карьеры определяются партиями, парламентом, а в конечном счете — избирателями, народом.

1998

Союз, которого не может быть (почему Россия и Белоруссия не способны объединиться). Воля к жизни против интересов класса. Все пошли против Лебедя (и все вернулись битыми). Место «Яблока» среди ветвей власти. Лояльный хан милее хама (как автономии идут к независимости). Две фигуры в тумане (парадоксальный дрейф Лужкова и Лебедя). Два кризиса в одни руки. Уходят, уходят, уходят друзья (конец эпохи слепой любви Запада к России). «Левоцентризм» как национальный русский продукт.



СОЮЗ, КОТОРОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

Почему Россия и Белоруссия не способны объединиться[1]

Важнейшим аргументом сторонников объединения России и Белоруссии является пример успешных интеграционных процессов в других частях мира, прежде всего в Европе.

В самом деле, чем мы хуже, почему не можем создать если не сразу федерацию или конфедерацию, то хотя бы свой вариант ЕС, с реально действующими и постепенно расширяющими свою власть наднациональными органами? В сознании русских и белорусов нет той глубокой памяти о причиненном друг другу зле, которую так долго и мучительно преодолевали, например, немцы и французы. Реальное содержание культур среднего белоруса и среднего русского — практически общее. Степень экономических взаимосвязей — значительно бо́льшая, чем та, которую достигли европейские страны в результате своего многолетнего сближения. Конечные экономические выгоды интеграции (как, впрочем, любого снятия институциональных барьеров на путях рынка) — несомненны. Есть очевидное стремление к объединению в обоих народах. И, наконец, есть два президента, которые вроде бы стремятся претворить его в жизнь.

Между тем вместо спокойного и уверенного движения к объединению наших стран мы видим какую-то комедию, в которой объятия, лобзания, разбивание бокалов об пол и благословения патриарха сменяются сценами совсем

---

[1] «Общая газета», 05.03.1998.

другого рода — когда один президент не пускает другого на территорию своей страны, когда оба лидера начинают обмениваться хамскими оскорблениями и мелочными подсчетами, кто кого нагрел на только что заключенном таможенном соглашении. Почему? Кто виноват и кто мешает?

Разумеется, у нашего союза есть влиятельные противники и в Белоруссии, и в России. Но объяснять все происками врагов трудно. Власть все-таки не у Позняка и Гайдара, а у Ельцина и Лукашенко. Зарубежные же противники союза (в отличие от зарубежных противников Лукашенко) — в основном, по-моему, миф. Даже если Россия объединится не только с Белоруссией, но и еще с кем-нибудь, это никакой опасности ни для кого не представляет. И кроме того, даже если допустить, что США, например, этого союза не хотят, — ну и что? Создания ОПЕК, они, например, в свое время тоже не хотели, но помешать его появлению не смогли. Дело не в противниках — внутренних или внешних.

Самое главное препятствие на пути объединения России и Белоруссии и одновременно самое главное различие нашего и европейского процессов — в природе наших политических режимов. И белорусский, установившийся в результате переворота 1996 г., и российский, возникший в результате переворота 1993 г., — режимы «личной власти» президентов, хотя и с некоторыми (в основном — «фасадными») элементами демократии (и с очень разными идеологическими оформлениями). Конституции созданы президентами «под себя», оба боролись за максимальную власть, достигли ее и отдавать не намерены. Более того, в отличие от глав западных государств, осознающих, что их власть — не пожизненна, наши знают, что они не только

могут не уходить, но и в некотором роде не могут уйти. Поэтому как бы президенты ни стремились к объединению (может быть, даже и искренне), они даже мысли не допускают, что оно может означать для них утрату власти. Но двух правителей в одной стране, как известно, быть не может. Отсюда — и ритм переходов от поцелуев к оскорблениям. Отсюда же — и почти анекдотическое отношение к документам: президенты за несколько дней до торжественного заключения договора и уже подготовленного банкета могут толком не представлять, что же они намерены подписать, а содержание подписанного через несколько дней забывается.

В Европе объединяются народы, организованные в правовые государства. И именно поэтому процесс труден, каждый шаг просчитывается, но он — идет. У нас же объединяются руководители. Поэтому могут быть самые разные шумовые эффекты, только самого объединения быть не может.

Я думаю, что российско-белорусский союз следует сравнивать не столько с европейской интеграцией, сколько с многочисленными и безуспешными попытками интеграции арабских стран. Спрашивается, чего недостает арабам для интеграции? Язык — общий, информационное пространство — единое, рынок — открыт, вера — одна, враг (еще недавно он воспринимался вполне серьезно) — тоже общий: Израиль. Более того, есть идеология «единой арабской нации». Тут они даже на шаг впереди нас: наша идеология «восточнославянской общности» подразумевает, что нации все-таки — разные. И «интеграторов» в арабском мире хватало. В свое время молодые и энергичные Насер и Каддафи готовы были объединиться с кем угодно, чтобы «реинтегрировать геополитическое пространство арабского

халифата» и самим стать чем-то вроде халифов. Создавались всякие Объединенные арабские республики и Объединенные арабские государства. Но кончалось все пшиком и даже войнами. И понятно почему — народ может ужиться с народом, но диктатор с диктатором — никогда.

Допустим, однако, что лет этак через двадцать сегодняшнее препятствие будет устранено, политические системы России и Белоруссии уподобятся западным. Значит ли это, что путь к интеграции будет открыт? Думаю, что нет, ибо останется еще одно, на мой взгляд, непреодолимое препятствие, не осознанное еще нашим массовым (и тем более — «элитарным») сознанием.

Объединение ЕС — это объединение стран относительно равновеликих, в пространстве между которыми находят себе место и страны маленькие. Кроме того, в процессе европейской интеграции постепенный переход власти к надгосударственным органам сопровождается (собственно, это — другая сторона того же процесса) усилением самостоятельности входящих в эти государства регионов. В Испании усиливаются каталонская и баскская автономии, в Британии появились шотландская и уэлльская, растет самостоятельность германских земель. В этой ситуации даже Люксембург может не бояться поглощения — если он и «поглощается», то не какой-то другой страной, а действительно единой Европой. А теперь представим себе интеграцию только Люксембурга и Германии. Логически есть две возможности — или это будет действительно равноправное объединение (что будет означать, что Люксембург, внося в «общий котел», дай бог, одну десятую, мог бы распоряжаться половиной — ситуация просто немыслимая), или же это будет просто поглощение Люксембурга Германией.

Как бы наши народы ни приветствовали интеграцию, белорусы, при всей слабости их национального самосознания, отнюдь не захотят ликвидации Белоруссии, а русские не захотят такого равноправия, которое реально означало бы, что соседи живут за счет их сырьевых ресурсов.

Надо ли жалеть о невозможном? Не думаю. Наше стремление к объединению в громадной мере связано с архаическим представлением, что большое государство — всегда лучше и сильнее малого и что естественная цель государства — расширяться (а цель других — не давать ему этого делать и расширяться за их счет). Но это не так, тем более в наше время. Не только размеры, но даже военная сила мало что решают — уж на что был велик СССР, а где он?

Объединение — не самоцель. Все конкретные вопросы двусторонних отношений при доброй воле спокойно можно обсуждать и без объединения (похоже, что интеграционные шоу даже мешают их решать).

Разумеется, объединяться в XXI веке мы все равно будем, но не Россия с Белоруссией против кого-то (против НАТО?), а весь мир — для борьбы против общих и все усиливающихся опасностей, порождаемых самим прогрессом человечества.

ВОЛЯ К ЖИЗНИ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ КЛАССА

Лидер спровоцировал раскол элиты[1]

В истории страны, как и в жизни отдельного человека, очень трудно определить поворотные точки, в которых совершается исторический выбор. Очень часто ситуацию вы-

[1] «Общая газета», 02.04.1998.

бора создают не те события, что помпезно представляются в качестве «судьбоносных», а относительно скромные, ординарные, не заслужившие внимания современников. Ясно, например, что президентские выборы 1996 г. были лишь мнимой ситуацией исторического выбора, ибо их исход на деле был «запрограммирован». Наоборот, очень может быть, что неожиданная отставка правительства Черномырдина — событие значительно более важное по своим последствиям, чем может показаться на первый взгляд.

В основе своей эта отставка — спонтанное, не основанное на каких-либо тонких расчетах, иррациональное решение Ельцина. Психологические его истоки более или менее понятны. Ельцин дряхлеет и все острее чувствует пределы своих возможностей. В такой ситуации у многих стариков, тем более волевых и ориентированных на «мужественность», борьбу и победу, очень часто возникает желание усилием воли преодолеть этот неизбежный процесс. В зависимости от характера, ценностных ориентаций, представлений о том, что такое «настоящая жизнь», разные люди могут совершать разного типа поступки. Кто-то резко меняет род занятий, образ жизни, кто-то уходит от жены, с которой прожил всю жизнь, к какой-нибудь молодой шлюшке. Ельцин поступил так, как подсказывали ему его представления о поступках «настоящего, сильного человека» и его прошлый опыт — неожиданно убрал своего преданного, испытанного товарища и приблизил никому не известного юношу.

Между тем последствия поступка Ельцина могут быть такими, о которых он и не подозревает. Следуя своим импульсам, мощному стремлению к власти, Ельцин всегда

разрушал что-то, чему он раньше клялся служить, — КПСС, СССР, Конституции Российской Федерации.

Однако всегда эти действия объективно служили интересам элиты, которая стремилась освободиться от КПСС и СССР, приватизировать государственную собственность и т. д. Но сейчас ельцинский спонтанный импульс впервые пошел вразрез с интересами правящего класса.

В чем заключаются интересы этого класса? Их со свойственной ему откровенностью ясно и четко выразил в своем недавнем интервью Борис Березовский: «обеспечить преемственность реформ» после неизбежного ухода Ельцина и гарантировать себя от нового передела собственности, то есть гарантировать, что все приобретенное в ельцинский период останется у тех, кто приобрел. Самым идеальным способом обеспечить такую «преемственность реформ» была бы, конечно, монархия при четком и всеми признанном законе о престолонаследии. Но хотя мечты о монархии «витают в воздухе», они, несомненно, так и останутся маниловскими мечтами — картина венчания на царство бывшего первого секретаря обкома КПСС или призыва маленького Романова бывшими комсомольскими чиновниками (которые станут, наверное, графами и князьями?) слишком смешна и эстетически чудовищна, чтобы относиться к ней серьезно.

Между тем любая другая ситуация передачи власти для господствующего класса — очень опасна. При этом опасность исходит не от оппозиции — «классическая оппозиция» в лице КПРФ ясно показала, что большой угрозы от нее нет, а «неклассическая» (генерал Лебедь) свои шансы тоже подрастеряла. Опасность исходит от самой элиты, раскол которой при уходе Ельцина практически

неизбежен. Даже в партии большевиков, где все-таки были Политбюро и ЦК, смерть вождя всегда вызывала ожесточенную борьбу за власть — с выливанием компромата и апелляцией к «номенклатурным» массам. Что же тогда ожидать от нашей неформализованной, организационно не оформленной партии власти, состоящей из людей очень алчных и с очень неразвитым чувством партийной и классовой солидарности? Если Березовский, эту опасность отлично видящий и старающийся ее предотвратить, в том же интервью, где он об этом говорит, допускает выпады против своего «товарища по партии» Потанина, можно представить себе, что он станет делать этому Потанину в ситуации временного безвластия. Даже отлично понимая классовый интерес, он не сможет пойти против «натуры» и объективно будет способствовать переделу собственности, которого так боится.

Черномырдин — как премьер, как человек, который по Конституции выполнял бы обязанности Ельцина в случае его ухода и как его наиболее вероятный преемник, разумеется, не гарантирован от всплеска междуусобной борьбы за власть. Но он минимизировал эту опасность для господствующего класса. Он устраивал многих и разных людей, в нем были надежность и предсказуемость, он лишен болезненной ельцинской черты — стремления постоянно утверждать свою «мужественность».

Его преемнику Сергею Кириенко, чтобы утвердиться в качестве лидера правящего класса, во-первых, нужно время, которого, очевидно, нет. Во-вторых, достоинства, которые могут привлечь в молодом человеке его старого начальника — скромность, послушание и т. д., — это как раз те качества, которые лишают этого молодого человека

возможности объединить враждующие группировки элиты и понравиться народу, который у нас особенно ценит силу.

Таким образом, Ельцин спровоцировал внутрипартийный раскол. Похоже, он уже начался. Черномырдин отказался от унизительной и двусмысленной роли ответственного за непонятно чью избирательную кампанию и заявил, что будет баллотироваться сам. И значительная часть политического актива отнеслась к его самовыдвижению с симпатией. Но без премьерского портфеля, без публичного благословения Ельцина стать единым кандидатом правящего класса ему будет значительно труднее, чем раньше. Наверняка на этом поле у него будут конкуренты. Для господствующего класса это очень плохо. Но плохо ли это для народа России?

В ситуации, когда приходится выбирать между властью и оппозицией, наш народ, никогда в своей истории верховную власть не переизбиравший, предпочитает выбирать власть, то есть просто заявляет, что готов терпеть ее и дальше. Против объединенной элиты народ бессилен, но, когда партия власти будет расколота, ему придется действительно выбирать, а не играть роль статиста в имитирующей выборы инсценировке.

Объединенная элита при такой оппозиции, как наша, и заранее обеспеченной победе может о народе практически не думать. Но при схватке разных группировок элиты каждая из них будет стараться чем-то привлечь общество, и его интересы в какой-то мере будут учитываться. Наконец, группировки будут стараться избавиться от своих слишком уж одиозных членов. Таким образом, для народа и демократического развития России раскол элиты, которого

так боится Березовский и который сделал неизбежным Ельцин, может иметь самые добрые последствия. Очень вероятно, что Ельцин, сам того не подозревая, совершил важный исторический выбор, объективно пойдя против интересов правящей элиты и открыв путь для дальнейшего демократического развития России.

ВСЕ ПОШЛИ ПРОТИВ ЛЕБЕДЯ

(И все вернулись битыми)[1]

В Красноярском крае произошло политическое землетрясение. Как и все землетрясения, оно долго подготавливалось разными «подземными» процессами, были ощутимы небольшие толчки и слышен доносящийся из глубины гул. А потом произошел большой толчок, изменивший весь ландшафт, превративший горы в долины, а долины в горы.

В битве при Енисее друг другу противостояли две силы. С одной стороны — генерал Лебедь, с другой — вся политическая элита и все организованные политические силы России (демократы, жириновцы, просто «патриоты» и коммунисты). В бой была введена самая тяжелая артиллерия — «сам» Лужков, «сам» Селезнев, «сама» Пугачева, ЦК КПРФ и т. д. Против генерала выдвигались все мыслимые обвинения, полностью взаимоисключающие друг друга: он одновременно изображался русским фашистом (и на улицы Красноярска выпускали якобы поддерживающих его «ряженых» фашистов), и ставленником еврейского

---

[1] «Общая газета», 21.05.1998.

капитала (когда наших демократов «допечет», они прибегают и к таким приемам), и будущим российским диктатором, и человеком, замысливshим оторвать Красноярский край от России, и опасным милитаристом, и человеком, преступно окончившим победоносную войну в Чечне. Ничего не помогло. Лебедь победил всех, как какой-нибудь былинный герой или Наполеон, побеждавший коалиционные армии объединенной Европы.

Конечно, у генерала были деньги. Но мне думается, что красноярские выборы как раз хорошо показали «вторичность» денег. «Деньги» сами приходят туда, где есть сила, сами просят их взять и при этом, естественно, интригуют и строят планы, которые им кажутся очень хитроумными, но которые на деле шиты белыми нитками. (Например, поддержать сейчас Лебедя, чтобы в 2000 г. выставить его вместо уже «отработанного» Зюганова, дабы Ельцин смог снова выступить спасителем отечества, на этот раз — не от коммунистов, а от страшного диктатора.) Ясно, что не деньги сделали Лебедя, а Лебедь привлек деньги.

Почему же все-таки он смог победить всю объединившуюся против него политическую элиту страны? Ответ парадоксален, но очень прост: именно потому, что она вся против него объединилась, он и смог ее победить. Если бы у элиты хватило ума и нервов, она должна была бы вести себя совершенно иначе. Ельцин должен был дать понять, что будет рад видеть на скамьях Совета Федерации человека, который помог ему в 1991 и 1996 гг. Лужков должен был бы выразить надежду, что в случае победы Лебедя узы между Москвой и Красноярском станут еще тесней. Коммунисты могли бы похвалить Лебедя за «здоровый патриотизм». Одним словом, надо было изо всех сил

показывать, что Лебедь — «свой парень», один из них, тем же мирром мазанный.

Но в том-то и дело, что элита не принимает Лебедя за своего. Чужак. Он не влезает в привычные классификации, не связан с какими-то партиями и группировками, не умеет или не хочет играть по правилам «номенклатурной демократии» и при этом — харизматик, умеющий говорить с простыми людьми и внушающий им уважение и любовь. И элита боится его настолько, что даже если бы она поняла, что страх этот надо скрывать, у нее не получилось бы.

Объединившись, политики продемонстрировали то, что рядовые избиратели подозревали и раньше: что на самом деле есть одна партия власти, куда входят и демократы, и коммунистические боссы, и даже Жириновский. Внутри этой партии — постоянная склока из-за власти и денег, но когда возникает реальная опасность, появляется «чужак», в нее не входящий и ею не контролируемый, она тут же объединяется, вплоть до создания «правительства народного доверия». Одновременно элита продемонстрировала, что Лебедь и есть такой «чужак». А Лебедю больше ничего и не надо было. Нелюбовь народа к правящему сословию у нас настолько велика, что самое важное для победы — показать, что ты не из «этих».

Выборы в Красноярском крае обнажили всю условность наших политических размежеваний и всю слабость нашего правящего слоя. Но попутно они зафиксировали еще один поразительный факт: оказывается, естественный протест русских низов, красноярской «глубинки», совершенно необязательно должен материализоваться в голосование за коммунистов или националистов. Насколько мне известно, Лебедь на протяжении всей кампании ни разу не

переступил рамки либерально-демократических приличий, всячески открещивался от «экстремизма» и даже старался приглушить свою чисто психологическую, «неидейную» генеральскую авторитарность. Значит, «зюгановско-жириновский» тип протеста — это просто форма, возникшая из истории и обстоятельств, а, в принципе, социальный протест может у нас найти нормальное, демократическое выражение. И это — самый важный вывод из красноярской кампании, вывод, подрывающий основные устои нашей политической системы.

Ельцинский режим зиждется на всеобщей убежденности, что русский бунт — обязательно «бессмысленный и беспощадный», что силы, олицетворяющие социальный протест народа против власти, еще более ужасны, чем эта власть. Поэтому в действительно критических ситуациях (не на выборах в Думу, где люди дают выход своим чувствам именно потому, что знают — Дума бесправна, а на президентских выборах и референдумах) большинство граждан регулярно ужасается собственному «экстремизму» и голосует за власть как меньшее зло. Но Лебедь предложил народу не экстремистский, не «коммуно-фашистский» тип протеста. И выяснилось, что народ только этого и ждал.

Совершенно ясно, что Красноярский край, как об этом много уже говорили, — модель России, и, что бы сейчас Лебедь ни говорил и даже ни думал, естественное развитие событий наверняка втянет его в борьбу за президентский престол. И ясно, что он может эту борьбу выиграть. Попробуем же разобраться, насколько опасна могла бы быть его победа для российской демократии.

Пишу это со страхом, ибо ошибиться в таких вопросах — действительно страшно и стыдно, но никакой ре-

альной опасности для демократии от Лебедя я не вижу. Лебедь — генерал с грубым лицом и голосом, наиболее приспособленным для произнесения классической фразы «упал — отжался».

Но за исключением облика, голоса и генеральского прошлого ни в чем антидемократическом его упрекнуть нельзя. Кроме, может быть, выраженных в свое время симпатий к Лукашенко. Не он, а наш демократический президент начал и проиграл войну в Чечне, а мэр демократической Москвы даже возмущался миром, который заключил Лебедь. И если, став президентом, Лебедь по сути будет диктатором, так это тоже не он, а демократы создали институт диктаторской президентской власти, не думая о том, что рано или поздно она достанется не их лидеру. Я вообще с трудом могу представить себе, что такого антидемократического мог бы сделать, придя к власти, Лебедь. Распустить парламент — зачем, если он и так бесправен и послушен? Ликвидировать свободу печати? Совершенно непонятно, для чего. Начать войну с Украиной из-за Крыма? Так это предлагает не он, а его московские оппоненты. Человек, который создал себе имидж генерала, несущего мир, русского де Голля, получив в свои руки ту, практически неограниченную власть, которой сейчас обладает Ельцин, должен быть полным идиотом, чтобы отбросить этот имидж ради какой-то еще большей власти. А на идиота Лебедь никак не похож.

Успех Лебедя не подрывает российской демократии (вернее, того, что от нее осталось). Но он подрывает ту современную политическую систему, к которой идеально приложима марксистско-ленинская формула: демократия — это форма диктатуры господствующего класса. Именно

поэтому вся наша политическая элита бросилась на Лебедя, как лейкоциты на проникшее в организм чужеродное тело. И, судя по красноярскому опыту, если в 2000 г. наши политики так же объединятся против Лебедя — кандидата в президенты, то его победа будет уже не возможной, а гарантированной.

МЕСТО «ЯБЛОКА» СРЕДИ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ

Глупо ввязываться в бой, не думая о победе[1]

В России сложилась оппозиционная либеральная партия со специфически интеллигентским составом электората и активистов — «Яблоко», положение которой крайне сложно. Власть ее терпеть не может, коммунисты — тоже, о жириновцах и говорить нечего. Хуже того, проправительственная «демократическая» пресса стала активно использовать в публикациях о «Яблоке» традиционный для русской культуры образ брюзжащего интеллигента-неудачника, не способного ни на какое «настоящее» дело.

Этот образ, естественно, очень плохо воздействует на приверженцев «Яблока», ибо брюзжащим интеллигентом никто быть не хочет, а все хотят быть волевыми и деятельными. В самом «Яблоке» в связи с этим наблюдается тенденция к бегству поодиночке — туда, где власть и деньги, что, как всегда, оправдывается стремлением принести большую пользу не только себе, но и обществу — например, на посту министра финансов. Поддаются таким искушениям немногие — но ведь и искушают немногих.

---

[1] «Общая газета», 28.05.1998.

Безусловно, насмешки над «яблочниками», как и вообще характерные для нас насмешки над неудачниками, стоят недорого. Успех у нас имеет самое отдаленное отношение к достоинствам человека. В политике тот, кто способен с убежденностью говорить глупости, приятные для массового слуха (скажем, тот, кто мог в 1991 г. говорить, что радикальные рыночные реформы в сочетании с распадом Союза приведут к быстрому росту материального благосостояния), естественно, имеет преимущества перед тем, кто для этого слишком умен или слишком порядочен. С другой стороны, и успехи делателей «настоящих» дел чаще всего сомнительны и непрочны. Строители социализма, смеявшиеся над вроде бы умными и интеллигентными людьми, не способными найти себе место в новом мире, очень часто кончали крайней неудачей, как, несомненно, кончит и большинство теперешних нуворишей. И все же некоторая правда в насмешках над неудачливыми интеллигентами есть.

Дело в том, что если ты ввязался в игру с определенными правилами, ты тем самым принял эти правила, а твои ум и честность — это твое «личное дело». Если ты военный, ты должен побеждать. Если ты при этом не любишь убивать людей и тебе удается победить малой кровью — честь тебе и хвала. Но ты не можешь оправдывать поражение ссылками на то, что не хотел убивать чужих и подставлять под пули своих солдат. Если ты такой жалостливый — не иди в командиры. То же — с политиком. Если он побеждает, оставаясь умным и честным, — прекрасно, но ссылаться на честность и ум как на извинение неудачи — смешно. Тогда не ввязывался бы в игру вообще, а писал бы какие-нибудь книги.

«Яблочники» ввязались в игру. Но есть ли у них какие-то возможности добиться в ней успеха (естественно, оставаясь самими собой и не перебегая поодиночке в лагерь власти)? Не лучше ли для них вообще отказаться от этой игры?

Возможности достичь успеха крайне ограничены. Даже если вообразить себе совершенно немыслимую ситуацию, когда все демократы-западники собираются под крышу «Яблока», у него будет, дай бог, 20 процентов избирателей — просто потому, что у нас всех демократов-западников, дай бог, 20 процентов. Нормально же для «Яблока» — 10 процентов.

Этих 10 процентов достаточно, чтобы иметь фракцию в Думе, и при ином государственном устройстве было бы достаточно, чтобы реально участвовать во власти. В Израиле, например, маленькие религиозные партии входили во все правительственные коалиции и заставляли большинство плясать под их дудку. Но при правительстве, совершенно не зависящем от Думы, эти 10 процентов — почти ничего.

Могут быть очень устойчивые партии меньшинства, за которые голосуют, отлично зная, что они никогда не придут к власти. Но это возможно только тогда, когда меньшинство очень изолировано и сплочено, как религиозное меньшинство (те же израильские ортодоксы), или «псевдорелигиозное» (коммунисты в западных странах), или этническое (партии разных нацменьшинств), то есть когда это меньшинство — в «гетто».

Но российские либеральные интеллигенты не до такой степени в «гетто», чтобы долго голосовать за партию, не имеющую перспектив. Учтем также, что главными у нас

являются не парламентские, а президентские выборы. И тут уж совершенно понятно, что 10 процентов не хватит даже для выхода во второй тур. Поэтому многие, искренне сочувствуя Явлинскому, но зная, что во второй тур он никак не пройдет, не будут «зря» голосовать за него и в первом туре.

Что же делать в этой ситуации? Как можно, «не теряя себя», победить или хотя бы стать реальной силой?

Сами «яблочники», как бы принципиально-оппозиционно они себя ни вели, в силу своей культурно-классовой принадлежности никогда не смогут пробиться к низовому протестному электорату, так же как коммунистам, какими бы лояльными к власти и умеренными они ни становились, никогда не пробиться к московско-петербургскому интеллигентскому электорату. Значит, выйти из состояния «вечной оппозиции» «Яблоко» способно, лишь вступив в союз с политическими силами, социально, культурно и идейно чуждыми.

Здесь мы неизбежно вступаем на скользкую почву политического компромисса. Идти на компромиссы, не забыв, кто ты и для чего на них идешь, трудно. Но не идти, выбирая неэффективную честность, — значит просто выйти из борьбы. Отказ от компромисса может быть не меньшим признаком слабости, неуверенности в себе, чем компромисс, в котором ты «теряешь себя». Какие же компромиссы, позволяющие «захватить» чужой электорат и пробиться к власти, возможны для «Яблока»?

Я думаю, что явлинцы упустили две очень серьезные возможности таких союзов, которые могли радикально изменить и их положение, и всю ситуацию стране. Первая из них — это возможность союза с КПРФ где-то в 1994 —

начале 1995 гг. Идейной основой такого союза могли бы стать неприятие переворота 1993 г., ельцинской Конституции и ельцинской приватизации. Этот альянс, безусловно, привел бы к потере «Яблоком» части своего электората и актива, к большим напряжениям и даже расколу в КПРФ (в чем я лично ничего плохого не вижу), но о том, что альянс был возможен, говорит вся последующая трансформация КПРФ. Выгоды же от него, особенно для партии Явлинского, который вполне мог, несмотря на численное преимущество коммунистов, стать в нем ведущей силой и общим кандидатом на президентских выборах, были неоспоримы. Мне думается, что Явлинский мог бы сыграть роль Миттерана, вступившего в свое время в союз с коммунистами и ликвидировавшего монополию голлистов в Пятой республике. В России могла появиться та ответственная и способная прийти к власти левая сила, которую одни коммунисты создать не могут и которая была бы истинным гарантом демократии и стабильности.

Насколько я знаю, некоторые коммунистические лидеры тогда подобные предложения делали, и Ельцин боялся этого союза панически. Зря боялся — Явлинский ухаживания коммунистов отверг. Почему? Из-за честности и принципиальности, не позволявших пойти на союз с людьми чуждой идеологии? Но мне кажется, что, как и союз Миттерана с коммунистами, это мог быть вполне честный союз, в котором обе стороны не скрывают своих глубоких различий и не врут, хотя, естественно, и не хамят друг другу. Я думаю, что «яблочники» испугались не столько нечестности этого союза, сколько его рискованности и, главное, «нереспектабельности». Испугались того, что некоторые вполне уважаемые люди перестанут «подавать руку»,

а «княгиня Марья Алексевна» скажет что-нибудь очень плохое.

Более того, Явлинский стал, играя по ельцинским нотам, напропалую полемизировать с Зюгановым и, в конце концов, дошел до шутки, что «коммунизм, как педикулез, заводится от бедности», бессмысленно оскорбляющей миллионы людей.

Второй упущенной возможностью союза, который мог бы привести «Яблоко» к власти, была, как я думаю, возможность союза с Лебедем в 1995 — начале 1996 гг. Для Явлинского это уже был бы менее выгодный вариант, ибо в таком союзе он мог претендовать только на вторую роль (Лебедь на второй роли просто бессмыслен). Но это — очень важная вторая роль, «яблочники» могли бы дать основные кадры команде Лебедя. Идейно же этот союз был бы довольно прост и естественен, учитывая очень неопределенную, с сильными либерально-западническими элементами, идеологию Лебедя.

«Яблочники», однако, на это тоже не пошли. Естественно, из-за амбиций, опять-таки, я думаю, неразрывно связанных с интеллигентским снобизмом. Результат — Лебедь пошел к Ельцину секретарем Совета безопасности. Громадный потенциал этой фигуры в 1996 г. оказался растраченным, и еще один шанс произвести демократическим путем смену власти, укрепляющую, а не разрушающую демократические завоевания, был потерян.

Сейчас несомненно, что вся страна и все политические силы идут к глубочайшему политическому кризису, связанному со старением Ельцина и приближающимися выборами 2000 г., характер которых совершенно неопределен и непредсказуем. Даже если Ельцин пойдет на выборы в

третий раз и победит, очень скоро разразится новый, еще более острый кризис. Если же Ельцин участвовать в выборах не будет, возможны самые причудливые комбинации. Теоретически возможна даже совсем экзотическая ситуация, когда на втором туре будут противостоять Лебедь и Зюганов. Ясно, однако, что выход во второй тур Явлинского — будем смотреть правде в глаза — вариант из самых невероятных. Поэтому «Яблоку», даже борясь за голоса в первом туре, все равно надо будет заранее сделать труднейший выбор, который определит его судьбу и в значительной степени — судьбу страны. Какой это может быть выбор, сейчас сказать невозможно, да и решать это в конце концов — им. Но мне думается, что, если «Яблоко» хочет сохраниться как политическая сила, способствующая демократическому развитию страны, это должен быть выбор, продиктованный идейной принципиальностью и трезвым расчетом, а не теми «классово-тусовочными» критериями, по которым дружить с Немцовым почему-то прилично, а с Лебедем — нет.

Считается, что «политика — дело грязное». Мне кажется, эту формулу изобрели для самооправдания политики-прохвосты и политики-неудачники. Политика не более грязна, хотя, конечно, и не более чиста, чем все другие занятия. В семье, на работе, где угодно нас подстерегают трудные решения, неизбежные компромиссы, в которых легко превратиться в ничтожество. Везде нельзя уж совсем никогда не врать, не манипулировать другими или не быть манипулируемым. Но политика, как и вообще жизнь, — дело трудное, выживают и добиваются успеха приспособленные, но добиваются успеха, сохранив свою душу и принеся реальную пользу людям, своей стране, — сильнейшие. Для

России было бы очень хорошо, если бы «Яблоко» оказалось таким сильнейшим, то есть достигло бы успеха, пусть ценой очень трудных и рискованных решений и компромиссов, но оставаясь при этом самим собой.

ЛОЯЛЬНЫЙ ХАН МИЛЕЕ ХАМА

Как автономии идут к независимости[1]

Убийство калмыцкой журналистки Ларисы Юдиной обнажило, на первый взгляд, незаметный процесс, идущий в недрах нашего государства, — формирование в инонациональных анклавах или окраинах России фактически независимых диктаторских государств. Несомненно, что Лариса Юдина погибла потому, что мешала завершению этого процесса в одной из бывших российских автономий. Объективно она была главным агентом Москвы в Калмыкии, постоянным и досадным для калмыцкого хана напоминанием, что он все-таки не полноправный хан. И дело тут отнюдь не в идеологии. Илюмжинов идеологически чуть ли не русский шовинист, а Юдина боролась не за подчинение Москве, а за демократию и права человека. Дело в объективном, не зависящем от идеологий процессе. Построение в рамках какого-то государства, на части его территории, диктатуры — это, можно сказать, по определению, и есть достижение этой территорией независимости. Диктатура — это суверенитет диктатора. И что бы ни думал сам Илюмжинов, объективно он уже почти вывел Калмыкию из состава России.

---

[1] «Общая газета», 02.07.1998.

Это отнюдь не чисто калмыцкий процесс. В разных формах он идет почти во всех бывших российских автономиях. Илюмжинов с его вряд ли праведно нажитыми миллиардами и упоением своим ханским единовластием очень не похож на вызывающего бóльшие симпатии честного офицера Аушева, а Аушев совсем не похож на опытного аппаратчика Рахимова. Но результат один — и Калмыкия, и Ингушетия, и Башкирия постепенно превращаются в независимые государства. Более того, они уже сейчас фактически не менее суверенны, чем разбившая российскую армию Чечня-Ичкерия. Уже сейчас, чтобы арестовать видного ингушского чиновника, его надо обманом завлечь в Москву. Но так не только Басаева, но и Гельмута Коля арестовать можно. Вероятнее всего, очень скоро мы убедимся, что отстранить Илюмжинова уже невозможно, а это и есть независимость.

Каков же механизм этого процесса? Основа его — культурная. Народы бывших автономий — народы с очень не похожими на русскую культурами и сильным сознанием своего отличия от русских. При этом их культуры тяготеют к разным, но всегда в той или иной мере авторитарным политическим формам, не похожим ни на классические советские, ни на постсоветские российские. Они как бы перерабатывают, «натурализируют» политические институты, привносимые извне, из Москвы. В СССР под внешние советскими формами в Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане и других «республиках» фактически сложились вполне национальные авторитарно-патриархальные системы, почти не нуждавшиеся в изменениях при переходе к независимости и подготовившие эту независимость. При этом позднесоветские азиатские диктаторы могли в случае

противостояния с Москвой опираться на поддержку народов, которые, может быть, и постанывали под их властью, но всегда готовы были встать на защиту «своего» против чужаков, в чем смог убедиться Горбачев, когда замена Кунаева Колбиным вызвала в Алма-Ате первые беспорядки перестроечной эпохи.

Сейчас однотипные процессы идут в большинстве бывших российских автономий. И как совершенно независимо от своих субъективных намерений готовили свои страны к выходу из СССР Кунаев, Рашидов, Алиев и др., так и сейчас, также независимо от своих субъективных устремлений, готовят свои республики к выходу из состава России Илюмжинов и Аушев, Рахимов и Шаймиев.

Но процесс идет с двух сторон. СССР разваливали не только Алиев и Кунаев, его разваливал и Брежнев, а начал это делать едва ли не поздний Сталин. Москва разваливала СССР просто исчезновением у нее ясной преобразовательной цели и перспективы, потому что она перестала стремиться к чему-либо, кроме сохранения status quo и спокойствия. Формально Рашидовы и Алиевы были верными коммунистами, славословили Брежнева, дарили ему разные подарки и перевыполняли планы по хлопку. Спрашивается, что еще надо? Зачем зря «гнать волну» и искать себе на голову неприятности? Почему не позволить Алиеву управлять своим Азербайджаном, как он считает нужным, тем более что Восток — «дело тонкое»? И «яблоко» суверенитетов спокойно созревало, пока без особых усилий с чьей-либо стороны само не упало с ветки.

Сейчас происходит то же самое. Убийство Юдиной — это, в общем-то, случайный «переход границы». А так Ельцина и московские власти не очень-то волновало

превращение Калмыкии в государство с совершенно не российскими порядками — без оппозиции, с официальным буддизмом и «Степным уложением», с возрождающимся культом личности. Ведь Илюмжинов верен России и никаких особых хлопот не доставлял, в Калмыкии — тишина и покой. А начни от него требовать приведения законов в соответствие с федеральными или пытаться его убрать, можно заработать новую Чечню. Кому это нужно?

Более того, в отличие от советской власти, постсоветская прямо нуждается в инонациональных диктатурах. Для того чтобы убедиться в этом, надо просто посмотреть на результаты разных российских голосований по субъектам Федерации. Мы легко увидим, что без поддержки местных диктаторов Ельцин вряд ли набрал бы в 1996 г. необходимое большинство голосов. Бывшие автономии регулярно помогают власти во всех общероссийских голосованиях. Почему они это делают? Ясно, что калмыки, поддержавшие в 1996 г. Ельцина, голосовали за него не потому, что они сторонники демократии. Просто региональные диктаторы могли «продать» Ельцину голоса в уплату за невмешательство в их «внутренние дела». Это что-то вроде не очень обременительной дани вассалов, уплатив которую, вассалы получают покой.

Говоря все это, я отнюдь не хочу поднимать тревогу по поводу «распада России». Процесс суверенизации, очевидно, закономерен и неизбежен, и в моральном плане калмыки имеют ничуть не меньше, чем эстонцы, оснований иметь свое государство. Я просто описываю процесс и его движущие силы. Но зададим все же вопрос: можно ли этот процесс остановить или хотя бы задержать?

Мне думается, что остановить или задержать этот процесс можно двумя прямо противоположными методами. Во-первых, террором центра. Но отнюдь не просто террором, направленным на сохранение status quo, а террором, преследующим некую цель, бóльшую, чем самосохранение государства, — как это было у ранних большевиков. При них локальные диктатуры были невозможны, ибо все было подчинено единой цели, единой идеологической диктатуре.

Второй путь — это, напротив, путь построения действительно правового государства и пронизывающей все общество демократии, при которой в Калмыкии просто не может не быть многопартийности, и поскольку она все же в составе России, ее партии не могут не вступать в какие-то общероссийские блоки, и, таким образом, вся Калмыкия втягивалась бы в общероссийскую жизнь. Демократия не гарантирует от сепаратизма, но ослабляет его и минимизирует его последствия, как мы видим это на примере Канады, оказавшейся во много раз более прочным образованием, чем Югославия и СССР.

И настоящий тоталитаризм, и настоящая демократия каждый по-своему втягивают инонациональные анклавы в жизнь большого общества и препятствуют сепаратизму. Но то, что есть у нас, с точки зрения сохранения целостности государства — вариант самый неудачный. Поэтому процесс суверенизации бывших автономий у нас будет идти довольно быстро. Как далеко он уже зашел, какова степень реальной независимости Калмыкии, мы увидим очень скоро.

ДВЕ ФИГУРЫ В ТУМАНЕ

Парадоксальный дрейф Лужкова и Лебедя[1]

Предсказать, какая ситуация возникнет у нас на президентских выборах 2000 г., сейчас принципиально невозможно. И не только потому, что у «партии власти» нет определенного и признанного преемника Ельцину, а что будет с самим Ельциным к 2000 г., знает один Бог. Дело еще и в том, что за недолгую постсоветскую историю основные политические силы России подверглись колоссальной эрозии. Сейчас называть нашу «партию власти» демократами даже смешно, а коммунисты — уже не только не коммунисты, но и не партия протеста и реакции. Это значит, что исчезает главное политическое размежевание конца 80—90-х гг. Утратив идейную и поведенческую определенность, обе наши основные политические коалиции утрачивают и способность вызывать лояльность, и мобилизовывать массы (красноярские выборы это прекрасно продемонстрировали).

Между тем никаких новых, ясных и четких идеологий и размежеваний у нас нет. Большинство политиков свободно дрейфуют от настроения к настроению и от группировки к группировке без каких-либо мучений и тягостных раздумий. Но поскольку выборы все-таки будут, значит, будут и какие-то размежевания. Все равно периферия будет голосовать иначе, чем Москва, деревня — иначе, чем город, богатые — иначе, чем бедные, и т. д. Разные интересы, настроения и обрывки идей все равно будут сбиваться в какие-то комбинации и «констелляции» и во втором туре

---

[1] «Общая газета», 06.08.1998.

будут бороться представители (лидеры, символы) каких-то двух больших блоков. Кто же это может быть и какие это могут быть блоки — «констелляции»? По-настоящему разглядеть их еще нельзя. Будущее — в тумане. Но в этом тумане все-таки кто-то и что-то мелькает и какие-то звуки из него доносятся. И отчетливее всего мелькает в нем кепка московского мэра, а яснее всего слышится генеральский рык красноярского губернатора. Обе эти фигуры — знакомые и даже привычные. И поэтому, может быть, мы до конца не осознаем, что фигуры эти — странные, в традиционную классификацию не укладывающиеся и принадлежащие уже новой эпохе. Попробуем разглядеть их.

Юрий Лужков — энергичный и популярный мэр, железной рукой правящий в городе, который не только столица России, но и основной оплот, главный бастион российского антикоммунизма, всех демократических, космополитических и прорыночных сил. И вроде бы такой человек должен быть фигурой идеологически вполне ясной и определенной. Он и сделал достаточно много, чтобы утвердить эту определенность. Он честно служил Ельцину, помог ему в трудном 1993 г. расправиться с защитниками парламента, ходил в синагогу и даже надевал кипу. Но одновременно с этим он все больше сближается с «коммуно-патриотами», борется с проникающими в Москву кавказцами, подчеркивает свою «церковность», ругает Чубайса, хочет возвратить Крым или хотя бы Севастополь, дружит с Лукашенко... Как могла сложиться такая причудливая комбинация?

Возникновение ее, может быть, чисто случайно и ситуативно. Мэру надо построить что-нибудь грандиозное, и он строит храм Христа Спасителя. Это, естественно, нравится

Церкви и патриотам, хотя вполне приветствуется и демократами. Мэр борется с кавказцами, и опять-таки это нравится патриотам и не пугает демократов (знаком западнического либерализма для них является отношение к евреям, а не к азербайджанцам). Мэр начинает понимать (наверное, правильнее сказать — ощущать), что, оказывается, можно приобретать популярность в коммуно-патриотических кругах, не теряя демократической московской базы. За первыми шагами идут другие, причем действия его главного соперника, Лебедя, ускоряют дрейф Лужкова. Когда Лебедь заключает Хасавьюртское соглашение, Лужков его, естественно, осуждает. Дрейфуя, Лужков все больше понимает, что дрейф — в правильном направлении и может вынести его к верховной власти.

Застолбив за собой поддержку Москвы, что очень важно, но само по себе отнюдь не гарантирует победы, Лужков смог выйти далеко за пределы узкого «западнического» электората. Он смог создать фантастическую комбинацию, при которой его одновременно поддерживают Геннадий Хазанов и люди, группирующиеся вокруг газеты «Завтра». Безусловно, это очень мощная комбинация. Но если бы она чудом возникла раньше, когда она была невозможна, она гарантировала бы успех. Сейчас же, когда она не только возможна, но практически сложилась, успеха она уже не гарантирует. Ибо возникла и другая, такая же странная, но не менее мощная группировка.

Комбинация сил, образов и интересов, складывающаяся вокруг Лебедя, — почти зеркальное отражение лужковской. Эти комбинации, очевидно, в какой-то мере и возникали как зеркальные отражения друг друга. Если Лебедь установил мир в Чечне, Лужков его осуждает, если Луж-

ков любит Лукашенко, Лебедь его любить перестает. Если основная база Лужкова — элитарная, богатая, космополитическая Москва, то база Лебедя — периферия и социальные низы, тот протестный электорат, который еще недавно «по праву» принадлежал коммунистам и жириновцам. Но связь Лебедя с этим электоратом — еще более «символическая», чем связь Лужкова — с московским. Она базируется не на идеологии, а на том, что Лебедь — генерал, на его чисто внешних данных, имидже мужества и честности, на том, что он — не из «московской тусовки». В идеологии же Лебедя (если по отношению к нему, как и к Лужкову, можно говорить об идеологии) — очень сильный либеральный и западнический компонент. Не случайно его привечают в Америке и в Европе, где он более популярен, чем московский мэр.

Генерал — вождь русских народных низов, тяготеющий к западному либерализму, — нонсенс, но ничуть не больший, чем мэр космополитической Москвы, поддерживаемый коммунистами. Движение Лебедя от низовой и протестной электоральной базы к противоположному, элитарно-демократическому лагерю, еще проще, чем «встречное» движение Лужкова. Как Лужков, не теряя своей московской базы, сможет захватить часть протестного электората, так и Лебедь сможет, не теряя своей базы, захватить кусок электората демократов. Очень вероятно, что мы присутствуем при зарождении двух мощных комбинаций символов, образов и групп интересов, крайне эклектичных, но, возможно, в перспективе довольно устойчивых. Хорошо это или плохо?

В обеих фигурах и создаваемых ими блоках есть свои опасные черты. Лужков, конечно, попытается править

Россией так же жестко, как он правит в Москве, но Россия — не Москва, и распространить на нее столичный образ правления не удастся. Также маловероятно, что он устроит какую-нибудь войну, например из-за Крыма. Скорее всего, он просто попугает наших соседей, усилив их стремление дистанцироваться от России и попасть под крыло НАТО. Лебедь тоже вполне может, придя к власти, попытаться компенсировать неясность программы рыком и демонстрацией крутизны. Но и превращение Лебедя, и превращение Лужкова в настоящих диктаторов — маловероятно. И дело здесь не в их личных качествах, а в том, что в стране нет необходимых для настоящей диктатуры ресурсов. Таким образом, опасности от обеих этих фигур не так уж велики. Зато плюсы от возникновения двух таких блоков — очевидны. Ситуация Ельцина, которому «не может быть альтернативы», — это ситуация застоя, постепенного разложения общества и государства. Бесконтрольная (потому что безальтернативная) центральная власть достаточно сильна, чтобы измучить страну, но недостаточно — чтобы установить какой-то порядок. Этот распад развивается параллельно с эрозией противостояния «демократы — коммунисты», ибо это противостояние в какой-то мере скрепляло общество (и на Сахалине, и в Калининграде — свои коммунисты и свои демократы). Заменить же идейные скрепы силовыми — нереально. Силы для этого исчезают параллельно с исчезновением идеологий.

Между тем возникновение двух блоков, у которых примерно равные шансы на победу, причем ни для одного из них поражение не будет тотальной катастрофой, может стать началом движения вперед, утверждения механизмов

демократической ротации власти и появления новых интегрирующих сил, новой заинтересованности всех в своей стране и в центральной власти. Может быть, сейчас зарождается наш российский, весьма своеобразный вариант «двухпартийности», который в конце концов вытащит страну из болота.

О том, куда и почему «дрейфует» Юрий ЛУЖКОВ, рассказывает читателям «Общей газеты» он сам

«ОГ»: Недавно вы дали большое интервью газете «Завтра». Честно говоря, это многих удивило. Что общего у Лужкова с людьми, исповедующими антилиберальную, националистическую идеологию?

Ю. Л.: Я не давал интервью газете «Завтра». Хотя то, что в этой публикации появилось от моего имени, — это действительно мои слова, я от них не отказываюсь. Дело было на похоронах генерала Рохлина, я с уважением относился к этому мужественному человеку и пошел проводить его в последний путь. В комнате, где собрались участвовавшие в организации похорон — там были и Зюганов, и Рыжков, и много разного народу, — ко мне подошел журналист, с которым я не был знаком. Он завел разговор о Рохлине, потом начал задавать другие вопросы. Я не бука и не отворачиваюсь от человека, если он интересуется нормальными вещами. Потом журналист представился, это был заместитель главного редактора газеты «Завтра» — ну и что? Если бы он переврал мои слова, приписал мне то, чего я не говорил, я бы, разумеется, не стерпел. А так ничего ненормального я в этой публикации не увидел. Я отвечаю за свои слова, а не за идеологию того или иного издания.

Некоторые газеты, идеология которых мне, может быть, больше нравится, пишут обо мне столько всякой ерунды — ошалеть можно от всех этих домыслов, предположений, оценок...

«ОГ»: Чем вы объясняете появление этих домыслов?

Ю. Л.: По-видимому, обостряется политическая борьба, ибо политическое состояние общества — производное от экономической ситуации, а в экономике у нас сейчас положение довольно острое. В некоторых богатых странах политики заняты проблемами вроде «зиппергейта», у наших политиков — другие заботы. Кого-то, например, занимает персона Лужкова: какой он веры, с кем он водит дружбу, чего от него ждать... Интересно, что все эти гадания и прогнозы исходят из предположения, будто Лужков ведет предвыборную президентскую кампанию. А я когда-нибудь заявлял, что буду баллотироваться в президенты? Никогда и нигде! Но кто-то меня уже «назначил» кандидатом и теперь изучает, какой Лужков — левый, правый?.. Я скажу совершенно определенно: меня вообще не волнуют эти ярлыки, я их не воспринимаю. У меня, например, хорошие отношения с Явлинским — это какой «уклон»? Я бы о себе сказал, что я — ничей. Я поступаю так, как мне представляется разумным и справедливым. Говорят, что мне симпатизирует левая оппозиция. Не знаю, никакого взаимодействия у московского правительства с этой оппозицией нет, но если левым нравится то, что мы делаем по социальной поддержке населения, что в Москве нет безработицы, что мы вовремя платим пенсии и зарплату, то я не понимаю, что здесь плохого.

«ОГ»: Вам предложили свои услуги как возможному кандидату в президенты такие правые организации,

как бабуринский РОС, «Держава» Руцкого, Конгресс русских общин. Готовы ли вы воспользоваться их поддержкой?

Ю. Л.: Я нигде не читал официального заявления этих организаций в мою поддержку. И лично мне никто из названных господ ничего такого не предлагал, ни с кем из них мы не говорили на эту тему. Повторяю, я не выдвигался в президенты, и мне бессмысленно делать такие предложения. Возможно, эти люди ищут фигуру, на которую они хотели бы сделать ставку в избирательной кампании, наверное, никто из выдвинувшихся кандидатов их не устраивает, но это их трудности. Кроме того, я не могу исключить обыкновенной политической провокации. Специально придумали этот «союз в поддержку Лужкова», чтобы показать: смотрите, какие нехорошие силы группируются вокруг московского мэра.

«ОГ»: В последнее время в политических кулуарах начали говорить о сближении Лужкова с коммунистами, о формировании предвыборного альянса Лужков—Зюганов. Считаете ли вы возможным такой союз?

Ю. Л.: Я сторонник рыночной экономики и демократических свобод, у коммунистов — своя система ценностей. Блок Лужков—Зюганов — это из серии тех же домыслов. В действительности не было даже намека на такого рода взаимодействие, не было никаких встреч, переговоров по этому поводу. И не намечается. Да, мы встречаемся с Геннадием Андреевичем на различных общественных мероприятиях, я, в общем, нормально, ровно отношусь к нему. Многое в его оценках справедливо, многое из того, что он вынужден говорить под давлением ортодоксальной части

КПРФ, абсолютно неприемлемо для меня, но в любом случае мы общаемся с ним достаточно уважительно. Однако никаких контактов по поводу блокирования, создания политического альянса между нами не было. А у тех, кто распространяет на этот счет слухи, по-видимому, есть свой расчет. Я отношусь к этому спокойно, у меня уже выработался стойкий иммунитет к таким вещам.

ДВА КРИЗИСА В ОДНИ РУКИ

Почему это выгодно политической элите[1]

Тяжесть нашего теперешнего положения в том, что два относительно разнородных, хотя и взаимосвязанных кризиса — финансово-экономический и кризис преемственности власти, — совпали во времени. И тот и другой порождены неустойчивостью нашего общества, в котором своекорыстие элиты не сковано ни традицией и «сословными предрассудками», как в царской России, ни идеологией и партийной дисциплиной, как в СССР, и не стеснено ответственностью перед народом и законом, как в демократических странах.

Я не могу профессионально рассуждать об экономике, но не надо быть экономистом, чтобы понять, что система, при которой экономическая элита уже десять лет живет и богатеет в основном разграблением накопленного за годы советской власти, а государство не может собрать налоги, должна была прийти к экономическому упадку. Также ясно, что и кризис преемственности власти был абсолютно

[1] «Общая газета», 03.09.1998.

неизбежен, ибо система, во-первых, не имеет механизмов упорядоченной передачи власти внутри правящей верхушки (даже таких, какие были в СССР и КПСС), во-вторых, предполагает сочетание «внутриэлитного» определения преемника со свободными выборами, и, следовательно, каждый раз надо изобретать какую-то ситуацию, при которой народ голосует за того, кого назначила правящая верхушка. А это требует изобретательности и не может быть полностью гарантировано. Поэтому какой-то кризис (необязательно ведущий к гибели системы) рано или поздно разразился бы.

Но он оказался крайне усугублен президентом, в марте отправившим в отставку Черномырдина, поскольку в тот момент ему казалось, что он может выдюжить еще одни президентские выборы, а Черномырдин объективно превращался в основного конкурента. Отстранив Черномырдина, но не став от этого моложе и здоровее, Ельцин оставил правящий класс без лидера и открыл дорогу (разумеется, невольно) действительно свободным и альтернативным выборам. Сделать это Ельцин мог только в состоянии «помрачения рассудка». Как только он стал оценивать свое состояние более адекватно и понял, что думать надо прежде всего о преемнике, который гарантировал бы ему и его семье безопасность, он вернул Черномырдина и объявил его своим «официальным» преемником.

Прямой связи с финансовым кризисом в этом решении нет. Однако Ельцин изумительно выбрал время для его оглашения — в самом разгаре кризиса, как бы специально для того, чтобы его усугубить. Кириенко, не думавший о выборах и президентстве, хотя бы действительно боролся, как умел, именно с кризисом. Но возвращать сейчас

человека, который больше, чем кто-либо, повинен в финансовом банкротстве страны, который, будучи назначен преемником, должен прежде всего беспокоиться о будущем президентстве, а не о борьбе с кризисом, — вроде бы полный абсурд. Тем не менее своя логика здесь есть. Президент и Черномырдин наверняка ощущают, что некоторое усугубление обстановки может им быть даже на руку, ибо кризис как бы возвращает ту ситуацию грозящей катастрофы, перед лицом которой президент и назначенный им наследник оказываются «меньшим злом». Это своего рода повтор 1996 года, только роль мифической угрозы тоталитаризма теперь берет на себя вполне реальная угроза полного разрушения экономики.

В определенной мере кризис выгоден и правящей верхушке в целом. Неконтролируемых выборов при отсутствии единого кандидата правящей элиты не хотел никто, ибо в системе, основывающейся на смене власти, на неизбежной ответственности перед народом, не будет места ни Березовскому, ни Чубайсу, ни Жириновскому, ни Зюганову. Кризис дал предлог для консолидации, которая, как вначале казалось, вообще не имеет границ. Не только главные претенденты на предстоящих выборах — Лужков и Лебедь — тут же объявили о поддержке «официального преемника», но даже, казалось бы, честный и убежденный националист Зюганов часами вел переговоры с нашим «евреем Зюссом». Зюганов в ходе этой консолидации произнес совершенно гениальную формулу, которая может стать лозунгом правящей элиты: «Дело не в людях, а в курсе, который надо менять». (Что-что, а менять курс наши люди умеют великолепно — Ельцин за свою жизнь делал это раз пять.) Все вроде бы были готовы к соглашению и

к созданию «правительства народного доверия» или «последней надежды», которое растворило бы в единой партии власти и коммунистов, и жириновцев, и сделало бы Черномырдина даже более безальтернативным, чем это нужно.

Но дальше ситуация осложнилась. Вскоре депутаты поняли, что утверждение Черномырдина — это фактически последний шанс что-то для себя выторговать. Зюганов и его соратники оказались в очень трудной ситуации. В нашей системе у них есть вполне определенная функция, гарантирующая им более-менее приличную жизнь. Эта функция — изображать ужасную революционную альтернативу и таким образом побуждать народ голосовать так, как надо правящей верхушке. Но если они сейчас поддержат Черномырдина или войдут в его правительство, они могут окончательно утратить способность мобилизовывать протестный электорат и запугивать большинство, а следовательно, потеряют место и функцию. Поэтому для них особенно имеет смысл ждать, пока кризис не достигнет громадных размеров, что даст им возможность сдаться «красиво», на каких-то особых условиях, «во имя спасения России».

Итак, кризис, как это ни парадоксально, нужен самым разным политическим силам и в какой-то мере элите в целом, помогая ей уйти от самой страшной для нее опасности — свободных выборов и смены власти. Но здесь все дело в мере. Игра, которая сейчас идет, очень рискованная для правящего слоя и для созданной им системы. Система эта зиждется на страхе народа перед альтернативой власти, но всему есть пределы, и может сложиться ситуация, когда любая альтернатива покажется народу лучше власти.

В связи с этим у элиты может возникнуть стремление вообще уйти от выборов и перейти к какой-то иной форме своего прямого правления. Такие искушения, и достаточно сильные, были у нее и в 1996 г. (и банкиры что-то такое придумывали, и ельцинское окружение строило такие планы). Сейчас это искушение будет еще сильней, и планы наверняка уже вырабатываются. Но в том-то и дело, что какая-либо диктатура или правление какого-то органа объединенной элиты по-настоящему не является альтернативой. Для серьезной диктатуры нет сил — ни дисциплинированной армии, ни какой-либо способной осуществить диктатуру партии. Вообще никакой серьезной и долговременной альтернативы выборам, причем настоящим выборам, а не комедии типа 1996 г., в конечном счете нет.

Истоки наших бед, в том числе и теперешнего финансового кризиса, — не в экономике. Они — в политике, в политической системе, делающей власть бесконтрольной, а если глубже — в психологии и культуре народа, делающих эту власть возможной. Наш народ до сих пор не ощущает себя «субъектом исторического процесса», тем, кто сам определяет свою судьбу и сам отвечает за свои деяния. В его истории почти не было эпизодов, когда он сам что-либо решал, а те эпизоды, которые все-таки случались (революция 1917 г.), привели к результатам, о которых лучше не вспоминать на ночь и которые словно бы учат, что не слушаться начальства и тем более самочинно сменять его — опасно. Народ травмирован своей историей и привык к постоянному ощущению страшной угрозы, исходящей от него самого, по сравнению с которой любые беды, исходящие от власти, — мелочи. Но это означает — лишь бы не самим выбирать власть, лишь бы не мучиться страхом, что твой

свободный выбор приведет к страшным последствиям. Лучше уж терпеть.

Как одна и та же задача может быть очень легка для одного человека и крайне сложна для другого, так же и с разными народами. Для американцев, например, сменить президента никакой проблемы не составляет уже двести лет (и именно поэтому, а не по каким-либо другим причинам, они — богаты). Другие народы, даже наши братья украинцы, тоже научились этому. Мы же мучаемся в конвульсиях при одном только приближении такой перспективы. Но есть задачи, которые не решать нельзя.

Совершенно ясно, что к 2000 г. мы придем, по меньшей мере, на четверть беднее, чем были в 1996 г. И это — наша плата за 1996 год, плата за наше отношение к власти и самим себе. Но если это — плата за обучение и в 2000 г. мы выйдем на другой путь, это еще ничего. Если же мы снова дадим себя обмануть или сами себя обманем, если мы или допустим отмену выборов, или выберем того, кого нам назначит новое «Политбюро», значит, нам придется учиться дальше и заплатить еще большую цену.

УХОДЯТ, УХОДЯТ, УХОДЯТ ДРУЗЬЯ

Конец эпохи слепой любви Запада к России[1]

С уходом «друга Гельмута», «друга Рю» и закатом карьеры «друга Билла» заканчивается целый период «особых» отношений руководителей западных стран с Россией и российским президентом. Понять эти отношения не так просто.

---

[1] «Общая газета», 08.10.1998.

К российскому президенту особых вопросов нет. Его «дружба» с западными руководителями имеет прежде всего «статусный» характер. Хотя российский политик просто не знает, что можно делать во внешней политике, если не противостоять Западу, Запад все равно остается для него, как практически и для любого русского человека, «высшим обществом», признание в котором — вершина социального успеха. Поэтому хотя Ельцин и борется с приближением НАТО к российским границам, «дружба» с лидерами стран НАТО означает для него повышение статуса. Он гордится ею, афиширует ее с почти детской непосредственностью, не замечая всей наивности своей веры в дружбу с людьми, с которыми на деле, конечно, никакой дружбы быть не может — слишком уж разные это люди, разные культуры и интересы. Настоящая дружба — чисто теоретически — могла бы быть у Ельцина, скажем, с Кучмой, с которым и говорить-то можно без переводчика. Но как раз с ним Ельцин на «ты» не переходит. Встреча «без галстуков» с Кучмой еще возможна, но приехать к нему на день рождения было бы уж «слишком», а перейти на «ты» означало бы даже потерю статуса. Русская (и тем более русская советская) культура очень чувствительна к статусным различиям, мы очень хорошо знаем, с кем дружить, а с кем — «соблюдать дистанцию».

Но если с Ельциным все более или менее понятно, то с его «друзьями» дело обстоит сложнее. Разумеется, «во имя высших интересов» США, Германии, западного мира в целом руководитель государства может и даже обязан поступаться личной щепетильностью и с милой улыбкой переносить ельцинское «ты» и ельцинские шутки. Проблема в другом — почему западные руково-

дители полагают, что именно это диктуют им «высшие интересы»?

Здесь мы сталкиваемся с системой представлений, понять которую довольно сложно — не в силу ее глубины и мудрости, а, напротив, в силу ее примитивности, противоречащей нашему пониманию того, какими должны быть мотивы поступков государственных лидеров вообще и западных — в особенности. Прежде всего, нам надо четко уяснить себе, что все грандиозные успехи Запада за последние десять лет: гибель СССР и «мирового коммунизма», объединение Германии, демократизация и присоединение к созданным Западом структурам стран Центральной Европы и, отчасти, республик бывшего СССР, — были достигнуты главным образом в результате естественных социальных и культурных процессов, а не благодаря тонкой и умной политике западных стран. Более того, в значительной мере они были достигнуты несмотря на политику Запада, исходившую из самых наивных и просто ложных представлений.

Время, когда Рейган говорил (и, несомненно, искренне) об СССР как об «империи зла», успешная борьба с которой может быть лишь космической борьбой в духе голливудских фантастических фильмов, — время относительно недавнее, и с тех пор западные политики ушли не так уж далеко. Западу просто в голову не приходило, до какой степени он силен и до какой — износилась, устала и близка к смерти пресловутая «империя зла». Все важные процессы в СССР — трансформацию нашей элиты, ее полное неверие в коммунизм и глубокое безразличие к судьбе собственного государства, ее мечты о красивой западной жизни, ее стремление избавиться от партдисциплины, легитимизировать

и стабилизировать свое положение и, в конце концов, получить собственность — на Западе проглядели. Почему так произошло?

Насколько я представляю, роль западных социальных наук в изучении СССР и определении политики по отношению к нему была относительно скромной. Хотя денег на советологию не жалели, она — отчасти именно поэтому — представляла собой очень изолированную и специфическую отрасль знаний, в которую шли лишь очень немногие настоящие ученые и которая скорее затуманила, чем прояснила западное понимание России. Советологи, естественно, были очень заинтересованы в том, чтобы СССР оставался на века — как источник их доходов и социальной значимости. Большую роль в мире советологов играли диссиденты и вообще всякого рода беженцы на Запад, которым образ страшной тоталитарной силы, от которой они чудом спаслись, был психологически необходим. Менее чем за десять лет до падения СССР Солженицын, например, внушал Западу, что только чудо или моральное перерождение могут остановить триумфальное шествие коммунизма и что ослабевший либеральный Запад коммунисты могут «взять голыми руками». Военные и разведчики также были заинтересованы скорее преувеличивать, чем преуменьшать мощь врага.

Перестройка, означавшая исторический триумф Запада, обнажила полную несостоятельность западной науки об СССР. Читать теперь, как Гельмут Коль говорил о «геббельсовской» (буквально!) горбачёвской пропаганде, цель которой — размягчить западный союз, усыпить его бдительность, чтобы потом ударить, просто смешно. Очевидно, что великая победа Коля (объединение Германии),

принесшая ему славу чуть ли не нового Бисмарка, пришла к нему не в результате его предвидений и умелой политики, а скорее как подарок судьбы.

Недоверие к Горбачёву сменилось сначала изумлением, а затем — «горбиманией», которая по-человечески вполне понятна, но в которой чувства было намного больше, чем понимания. А затем, когда Горбачёв, совершенно неожиданным для Запада образом, потерпел поражение в борьбе с еще бóльшим, чем он, демократом Ельциным, а СССР оказался колоссом на глиняных ногах и в одночасье распался — началась эпоха дружбы с Ельциным. В отличие от дружбы с Горбачёвым, в которой личный элемент был столь силен, что президент Миттеран принимал его у себя дома даже после его отставки, дружба западных лидеров с Ельциным была, скорее, «показушной». Но дружба с ельцинской Россией, с ельцинским режимом — вполне серьезной и искренней.

Политики на Западе поняли (хотя и не сразу), что в России происходит нечто, для них очень хорошее, недоверие и страх сменились восторгом. Но не очень-то понимая, откуда им выпало такое счастье, они теперь стали очень бояться, как бы все это не исчезло, не развеялось, словно прекрасный сон. А какая сила может повернуть процесс вспять? Ясно, какая: та, с которой они всю жизнь боролись, — раненное российскими героями-демократами, но еще живое чудовище коммунизма.

Западные политики чрезвычайно чутко реагировали на слова, на ярлыки. Когда Ельцин заявил в Конгрессе США, что дракон коммунизма повержен, Конгресс аплодировал ему стоя. Горбачёв все еще вызывал большие симпатии, но Горбачёв говорил, что верит в социализм, и этим показывал

свою ограниченность по сравнению с более радикальным Ельциным. А есть еще в России люди, которые продолжают называть себя коммунистами, ругают США и Запад. Расстановка сил — довольно проста и вполне понятна человеку, который еще в 1988 г. видел в Горбачёве нового Геббельса, усыпляющего Запад показным миролюбием. Ясно, что надо поддерживать Ельцина, призывая его быть смелым и решительным, и скорее вводить в России капитализм «как у нас». При этом надо понимать, что Ельцин работает в очень трудных условиях, поэтому приходится прощать ему авторитарные методы правления (а как еще прикажете обходиться с коммуно-фашистами?) и разного рода великодержавные внешнеполитические поползновения, которые, несомненно, объясняются необходимостью тактических уступок все тем же «коммуно-фашистам», мечтающим о возрождении СССР, Варшавского пакта и «холодной войны». Поскольку альтернатива Ельцину ужасна, ему следует прощать и дурные манеры, и фантастическую коррупцию его окружения — да почти все. Полное непонимание процессов, происходящих в России и на постсоветском пространстве, готовность удовлетворяться примитивной схемой борьбы демократов с коммунистами приводят Запад к аморальному и едва ли не преступному двойному стандарту. Двойной стандарт присутствовал в западной политике всегда («я знаю, что это — сукин сын, но это — наш сукин сын»), но если в период тотальной «холодной войны» ему были оправдания, то после падения коммунизма он стал совершенно неоправдан и особенно неприглядень. В 1993 году Клинтон, Коль и остальные «друзья» поддерживают ельцинский государственный переворот и расстрел парламента, за что любой западный

политик кончил бы жизнь в тюрьме. Затем они спокойно наблюдали за устроенной Ельциным бойней в Чечне, по сравнению с которой то, что делают в Косово сербы и из-за чего НАТО готовится вторгнуться в Сербию, — цветочки.

Что нельзя на Западе, можно в России. А то, что можно в России, уже нельзя в Белоруссии. Лукашенко, полукоммунист и сторонник возрождения СССР, разогнавший свой парламент, в отличие от Ельцина, совершенно бескровно, нарвался не на аплодисменты, а на бойкот. Примитивные схемы «борьбы сынов света с сынами тьмы» всегда приводят к аморальному прагматизму, к тому, что «сыны света» могут безобразничать как угодно. При этом часто бывает, что аморальный прагматизм на поверку оказывается не очень-то практичным и выгодным.

Совершенно ясно, что Западу нужна стабильная демократическая Россия с открытой и эффективной экономикой, не нищая, не клянчащая займов и отдающая занятое в срок, не бряцающая оружием и не старающаяся где только можно навредить западным интересам. И совершенно ясно, что такой России Запад не добился. Более того, поддержкой ельцинского режима и ельцинской политики Запад так же способствовал усилению в России антизападных настроений, как в свое время способствовал им в Иране, поддерживая шаха. За западные советы и призывы «ускорить реформы», все более и более вгоняющие народ в нищету, наши люди не могут быть благодарны Западу. Людям не важно, что МВФ на самом деле не требует задерживать пенсии и зарплату — это наши российские методы борьбы с инфляцией. Но люди знают, что МВФ поддерживает тех, кто не платит старикам пенсии, а сам купается в роскоши. Людям очень трудно представить себе, до чего

примитивно мышление великих мира сего, и когда они сталкиваются с абсурдом, им начинает казаться, что это — вовсе не абсурд, а, напротив, очень глубокий злой умысел. Поэтому в России даже у совсем не антизападнически настроенных людей возникла мысль, что по большому счету Западу на всякую демократию наплевать, а единственное, что ему нужно, — еще больше ослабить Россию.

При тоталитарной системе можно до самого краха этой системы называть черное — белым, при демократии это возможно делать лишь некоторое время. И это время в отношениях Запада с ельцинской Россией практически истекло. Количество и качество фактов, не укладывающихся в схему борьбы демократа Ельцина с недобитым чудовищем коммунизма, давно уже превысило критическую массу. Одновременно изучение России перестало быть особой, полуцэрэушной профессией, и качество западных работ о нас, насколько я могу судить, резко улучшилось. Постепенно элементы реальности доходят и до массового сознания, и до политиков. И одновременно с этим уходят лидеры, отличившиеся безудержной поддержкой Ельцина. Кончается целая эпоха особых отношений с Россией, когда ей позволялось то, что не позволяется другим, когда перед ней чуть ли не заискивали и постоянно давали взаймы. Хорошо это или плохо для России?

Конечно, хорошо. Для того чтобы Россия действительно стала процветающей и демократической страной, ей совершенно не нужно, чтобы ее президент был на «ты» с президентом США, и даже не нужно быть принятой в «семерку». Ей не нужна поддержка демократии, стреляющей по парламентам. Ей нужно спокойное, нормальное отношение к себе и поддержка Западом не каких-то людей, партий и

клик, а тех же правовых норм и принципов, которыми руководствуются западные страны в своей собственной внутренней жизни. Поэтому бог с ней, с этой эпохой, и бог с ними, ельцинскими друзьями. Но если мы выйдем из этой эпохи, освободившись от распространенных в советское время иллюзий относительно глубины ума западных политиков, и при этом сохраним понимание того, что демократия «умнее» ее отдельных представителей, это не так уж мало.

КОМПОЗИЦИЯ В БЕЖЕВО-РОЗОВЫХ ТОНАХ

«Левоцентризм» как национальный русский продукт[1]

В российской политической элите сейчас доминируют настроения, которые у нас называют «левоцентристскими». За право ношения почетного звания «левоцентрист» развернулась нешуточная конкуренция. Вспомним, как встрепенулся Геннадий Селезнев, услышав, что по левому центру намерен сыграть даже Юрий Лужков. Может, мэр перепутал левую ногу с правой? Возможно, что и перепутал. Для российского политика это нормально. Это даже нельзя назвать ошибкой, ибо система наших политико-идеологических размежеваний глубоко своеобразна, слова «левый» и, соответственно, «левый центр» в России значат нечто совсем иное, чем в остальном мире, включая даже другие посткоммунистические и постсоветские страны.

Деление на правых и левых, возникшее от случайного выбора мест депутатами в эпоху Великой Французской революции, в конечном счете служит формой политического

---

[1] «Общая газета», 05.11.1998.

выражения двух имманентных любому человеку и человечеству в целом устремлений — к прекрасному прошлому и к прекрасному будущему. Правые ценности — всегда и во всем мире — это опора на традиции, скептическое отношение к возможностям человеческого разума, вера в неизбежность социального неравенства и преимущества старой иерархической организации общества, признание ценности своей религии, патриотизма и национального своеобразия. Левые, наоборот, более веруют в человеческий разум и науку, отрицают традиции и догмы, смысл которых давно никому непонятен, выступают против традиционных иерархий и национальной замкнутости. Довольно долго измерение «левые — правые» прекрасно помогало ориентироваться в многообразии политических настроений и идеологий. Сегодня, когда от традиционных иерархий и ценностей уже мало что осталось, оно работает значительно хуже, но и сейчас все-таки ясно, что Рейган правее Клинтона, а Ле Пен — Жоспена... В России до Октябрьской революции и даже до Сталина тоже все было более или менее понятно. Были совсем правые сторонники «самодержавия, православия и народности», просто правые, умеренно левые вроде кадетов, левые и ультралевые вроде большевиков или левых эсеров, готовых во имя прекрасного будущего зарезать хоть мать с отцом. Как во всем незападном мире, русские левые были западниками, ибо прогресс и разрушение традиционного мира шли с Запада.

Но победа ультралевых, задержавшихся на семьдесят с лишком лет, чего не было нигде в мире, сломала эту систему координат. Российские коммунисты перестали быть левыми в эпоху позднего Сталина, первого «великого постмодерниста», продолжившего дело Маркса—Энгельса—Ленина

и одновременно — Ивана Грозного. Немыслимая идеологическая эклектика сталинской эпохи была прямым порождением и отражением объективного парадокса национальной империи, созданной ультракосмополитами, жесткой социальной иерархии, созданной ультраэгалитаристами, и новой религии, созданной из «ультранаучной» идеологии. Этот «красно-коричневый» эклектизм, смешение ультраправого и ультралевого, вытекал из самого существа советского строя, пережил советскую эпоху и на очень долгое время, если не навсегда, сделал общепринятое измерение «правые—левые» неприменимым к России. Более того, после падения советской власти он не мог не усилиться и достиг просто чудовищных размеров.

Идеология КПРФ — еще менее левая в западном смысле этого слова, чем сталинская или брежневская, ибо при Сталине и даже при Брежневе все же сохранялось, пусть уже выдохшееся, устремление к «прекрасному будущему». Идеология коммунистов-зюгановцев главным образом обращена к прошлому, к поискам утраченного рая. Причем советский и досоветский варианты рая сливаются в их сознании, и коммунисты совершенно естественно оказываются в блоке с клерикалами, монархистами и националистами, не в силах, однако, полностью отказаться и от левых, марксистско-ленинских ценностей. Получается нечто, с западной точки зрения, противоестественное и безумное — идеология, которая, с одной стороны — почти национал-социализм, а с другой — почти ранний большевизм. И это при том, что носителями столь радикальных идей выступают люди весьма умеренного темперамента, типичные выходцы из брежневской номенклатуры.

Идеологический эклектизм — источник и силы коммунистов, и их бессилия. Силы — поскольку они могут объединять оппозиционеров самых разных оттенков и опираться на всю мощь русского традиционализма. Бессилия — ибо никакой ясной перспективы они предложить не могут и обречены, несмотря на свои электоральные успехи, на роль вечной оппозиции — роль, от которой они явно устали, так что готовы даже стать младшими партнерами в коалиции «левого центра». Они уже отбросили наигранную революционность начала 90-х годов и достаточно смягчились, чтобы стать такими партнерами. Но они не могут полностью изменить свой цвет, не могут перейти к принципиально иной идеологии, как это сделало в начале 90-х большинство нашей элиты — время для этого прошло, места уже заняты. Наши коммунисты — «красно-коричневые», и «смягчиться» для них — это стать «бежево-розовыми».

Но и в мировоззрении демократов, ставших партией власти, тоже произошли большие сдвиги. Победившие либералы-западники стали довольно быстро приобретать бежевый оттенок, а затем и «розоветь». Находящийся в постоянном конфликте с парламентом и написавший себе авторитарную Конституцию, Ельцин не мог не начать снова опираться на традиционные русские символы и ценности, ибо клятвы демократией постепенно стали неуместными и неприличными. Он снова, хотя и в очень смягченной форме, стал бороться с Западом и, если бы не победа чеченцев, может быть, предпринял бы попытку возродить империю. Совершенно не случайно именно примаковская внешняя политика стала первым элементом консенсуса коммунистов и партии власти. Кроме того, бюрократия, уже получившая от приватизации все что можно, естественно, захотела

потеснить классово чуждых, выполнивших свою роль и обнаглевших нуворишей-олигархов, что в какой-то мере проявлялось даже в поведении самого Ельцина.

Но достижению реального консенсуса мешает сама фигура Ельцина. Сдружиться с ним для коммунистов — значит утратить смысл своего существования. Да и для Ельцина это невозможно. Однако новый «бежево-розовый» блок во главе с патриотом, борцом за Севастополь, глубоко церковным человеком, одновременно социалистом, которому нравится Тони Блэр, и в то же время преуспевшим в роли мэра процветающего капиталистического города, вполне может объединить две ветви номенклатуры — демократическую и коммунистическую. В наборе скрепляющих новый блок слов и символов ключевыми, очевидно, будут ставшие очень популярными в элите слова «государственник», «патриотизм», «национальный интерес». Популярность их имеет глубокие основания. Для людей, в 1991 г. отрекшихся от своей идеологии, существовало два не слишком убедительных самооправдания: через «прозрение», наступившее именно в это время, и объяснение по «модели Штирлица» («делая вид, что я честно служу системе, я подтачивал ее изнутри»). Но если тебе пришлось в ходе своей карьеры отрекаться несколько раз подряд — сначала от брежневского коммунизма, затем от Горбачёва, а затем уже и от Ельцина, единственная идеология, способная сделать из этого предмет доблести и геройства, — это идеология государственности и патриотизма («все мои начальники были одновременно начальниками России, и поэтому, служа им, я служил Родине»).

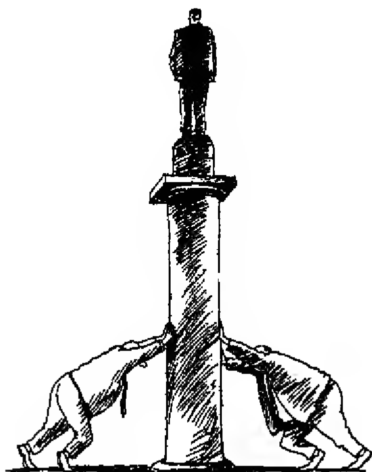
Примаков в этом смысле — классический государственник и даже державник. Лужков, который сначала служил

Ельцину и боролся с коммунистами, а сейчас критикует ельцинский режим и оказывает коммунистам знаки внимания, — тоже государственник. Чего-чего, а государственников у нас хватает. А когда Ельцин уйдет и все, естественно, от него отрекутся, под знаменем государственности левоцентристский блок может объединить очень большую часть нашей элиты, которая, обретя наконец нужное слово, вздохнет облегченно — кому бы она ни служила и от кого бы потом ни отрекалась, она «всегда служила России».

Фактический левый центр создает комбинацию символов, которая вполне могла бы стать идейной основой новой, реформированной партии власти, включающей умеренных коммунистов и исключающей романтиков либерального и «красно-коричневого» толка. На этом можно было бы достичь всеобщего консенсуса и поставить точку, если бы не одно неприятное для элиты, но хорошее для России обстоятельство — выборов все равно уже не избежать. А значит, будет и какая-то «правоцентристская» коалиция. Пока она еще не определилась, процесс нахождения своих знаков, ключевых слов и лидеров на правом фланге задерживается. Но ясно, что в стране, где «левый центр» формируется с благословения патриархии, «правый» тоже должен быть очень своеобразным. Скоро мы его увидим.

1999

Нашу кузькину мать мы уже никому не покажем. Бандиты национальности не имеют. Партия власти ещё способна побеждать. Герой прошедшего времени. Синдром отставного начальника. Промахи Акелы не опасны для стаи. Немцов не поленился поехать в Брюссель в фуре. Элита тяготится своим лидером. Место разведчика — за линией фронта. Блуждающие молекулы сбегаются к центру. Россия как Израиль, чеченцы как палестинцы. Победа может быть хуже поражения. Чекиста позвали в нужное время.



НАШУ КУЗЬКИНУ МАТЬ МЫ УЖЕ НИКОМУ НЕ ПОКАЖЕМ

Угроза русского фашизма скорее миф, чем реальность[1]

«Угроза фашизма» — тема для наших СМИ и политтусовок уже традиционная. Но сейчас, с приближением выборов и после событий, на деле имеющих к фашизму самое отдаленное отношение (выходка генерала-антисемита Макашова, убийство Старовойтовой), она стала чуть ли не национальным кошмаром. И, на первый взгляд, основания для этого есть.

Оценить реальную силу фашистских организаций вроде РНЕ очень трудно (какие-то фашистские группки есть везде, и хотя, конечно, за ними надо следить и с ними нужно бороться, но особенно паниковать из-за них не стоит). Наличием таких организаций Россия отнюдь не отличается от самых устойчиво демократических стран Запада. Чем мы отличаемся принципиально, так это широчайшим распространением если не прямо фашистских, то близких к ним, «фашизоидных» идей, лозунгов и настроений.

Я думаю, совершенно неверно видеть эталон фашизма в германском нацизме, а суть его — в Освенциме и Треблинке. Германский нацизм с его антиклерикализмом и яростным антисемитизмом — очень своеобразный, радикально-экстремистский вариант националистических, антидемократических движений, прокатившихся по Европе в 20-30-е гг. Каких-либо однозначных и четких критериев отнесения того или иного движения к фашизму нет, но ясно, что комплекс «общефашистских тем» — это прежде

---

[1] «Общая газета», 15.01.1999.

всего национализм и империализм, всякого рода «возрождения отечеств» и их былой славы, причем величие государства и нации связывается главным образом с военной мощью, а отношения с другими нациями и государствами видятся как отношения борьбы, прежде всего — за территорию. В этом же наборе идей — возрождение старой морали, добуржуазных ценностей и традиционной религии, утверждение примата «национальных интересов» над личными и групповыми, отвержение демократии и ограничение «рыночной стихии».

В идеологии крупнейшей нашей партии — КПРФ сильнейшие «фашизоидные» черты проступают настолько явно, что этого не успел заметить и отметить разве что слепоглухонемой. Еще больше этих черт у второй по мощи российской партии — ЛДПР. Однако распространение «фашизоидных» идей и настроений отнюдь не ограничивается «красно-коричневой» оппозицией — они распылены повсеместно. «Возрождение величия России», утверждение того, что «Россия была, есть и будет великой державой», — фразеология, ставшая всеобщей, включая речь либеральных и демократических деятелей. И понимается это величие вполне определенно — не как то, что мы родим новых Пушкиных и Менделеевых, а как то, что мы еще покажем всему миру нашу кузькину мать.

У нас вполне можно быть демократом и даже «левоцентристом» и одновременно стремиться забрать у Украины Крым, не отдавать чеченцам Чечню и требовать, чтобы Украина (у которой отбирается Крым) ни в коем случае не обращала своих взоров на Запад, а была бы нашим вечным и преданным союзником. Геополитика в духе начала века и всякого рода рассуждения о необходимости «интеграции

евразийского пространства» или о «православной цивилизации» у нас тоже в обиходе не у маргиналов, а у вполне респектабельных теоретиков и публицистов. И господствующее отношение к религии в России вполне «фашизоидное» — религия для нас важна не как служение Господу, а как символ национального своеобразия, поэтому за недопущение в страну чужих религий у нас борются даже атеисты.

Если добавить к этому носящие едва ли не всеобщий характер мечты о «сильной руке» и дискредитацию идей рынка и демократии, получится цельный, если не фашистский, то «фашизоидный» комплекс, тот идейный и словесный «бульон», в котором и зарождались фашистские движения. Даже евреи у нас заигрывают с этими воззрениями, Борис Березовский, например, спонсировал дурацкий невзоровский фильм о Чечне, пронизанный фашистскими мотивами и образами, а финансируемая тем же магнатом газета регулярно печатает лидера «Духовного наследия» Подберезкина, у которого этого рода мотивы — едва ли не основные. Вообще, если прислушаться к нашим словам, вполне можно решить, что фашизм — на пороге.

Но, к счастью, есть целый ряд очень серьезных фактов, говорящих о том, что угроза «коричневой чумы» в России, мягко говоря, преувеличена. Несмотря на широчайшее распространение «фашизоидной» риторики, наше население отнюдь не ведет себя как народ, стоящий на пороге националистического взрыва и фашистского или любого другого тоталитаризма. Наиболее ярко это отразилось в реакции русских на войну в Чечне. Ельцин начал ее в убеждении, что народу очень важны «величие и целостность России», но война показала абсолютное нежелание людей

во имя этого «величия» идти на какие-то тяготы, а тем более — умирать.

Есть еще более разительные факты. В то время как политики любят поугрожать прибалтам и побороться за Курильские острова, русские жители Курил и земель, прилегающих к Эстонии, пишут петиции о передаче их соответственно японцам и эстонцам. (Вполне возможно, многие из подписантов голосовали за Жириновского). А о чем говорит голосование значительной части местных русских за независимость Прибалтики и Украины, о чем свидетельствует вялость крымского сепаратизма, нежелание балтийских русских, несмотря на все усилия прибалтов, возвращаться на историческую родину? Так ли ведет себя народ с выраженным имперско-националистическим сознанием? Нет, это поведение людей, думающих прежде всего о том, чтобы обеспечить себе сносную жизнь, и практически абсолютно безразличных к державно-патриотическим лозунгам, занимающим столь важное место в нашем интеллигентском и политическом «дискурсе».

Откуда же это противоречие между словами идеологов и поведением народа? Почему политики и интеллигенты так зацикливаются на темах, которые, кажется, только их и волнуют? Интеллигенция, не говоря уж о профессиональных политиках, у нас привыкла к господству какого-то вероучения, и ей трудно жить совсем уж без «национальной идеи». Отталкиваясь от дискредитировавшего себя марксизма-ленинизма и порядком уже скомпрометированных у нас идей либеральной демократии, она, естественно, начинает вести идеологические поиски в националистическом направлении. Не случайно в сознании все время присутствует аналогия с Веймарской республикой. И поскольку

народ явно недоволен сегодняшней жизнью, интеллигентская и политическая элита полагает, что и массам должны быть очень близки националистические, «фашизоидные» темы. Идеологи и политики начинают играть на этих струнах, надеясь таким образом завоевать популярность. Некоторые, наверное, при этом думают: пусть уж лучше я оседлаю эту волну, тогда она примет умеренные и приличные формы, а то ситуацией воспользуется какой-нибудь безответственный Жириновский. (Затем наступает следующая фаза: политики сами начинают пугаться вызванных ими же духов и принимаются усиленно бороться с ними.)

Ошибка этого рассуждения, как мне представляется, состоит в том, что и коммунизм, и фашизм — альтернативные идеологии одной стадии развития общества, которую мы в целом уже миновали. Мы прошли ее в форме коммунизма (при этом в позднесталинском коммунизме были и очень сильные фашистские черты), но из этого не вытекает, что теперь нам предстоит пережить и фашизм, равно как и немцам, итальянцам, испанцам вовсе не обязательно проходить через коммунизм. И хотя наш народ способен (впрочем, весьма поверхностно) воспринимать «фашизоидные» идеи, у него (как, впрочем, и у поставляющей эти идеи «элиты») совершенно нет желания идти ради них на жертвы. Немецкие штурмовики готовы были не только бить евреев — они готовы были умереть за «великую Германию», что в большинстве своем и сделали. И наши большевики были не только рады пограбить буржуазию — они гибли за пролетарскую революцию, шли на расстрел с «Интернационалом» на устах. Обе великие эпидемии XX века потребовали от охваченных ими народов колоссального напряжения духовных и физических сил, это

был выброс энергии, на который нации и народы бывают способны отнюдь не каждые пять лет. Представить себе такой «энергетический взрыв» в сегодняшней России абсолютно невозможно.

Вся наша «фашизоидность» остается на уровне тусовочного трепа. По многим параметрам мы куда ближе к современным немцам или французам, к народам, уже миновавшим стадию, на которой возможно господство тоталитарной идеологии, чем к русским образца 1917 г. или немцам 1933 г. Принципиальное наше отличие от этих народов в том, что они смогли выработать органичные для себя, соответствующие их современной психологии и культуре социальные формы, позволяющие им прилично жить и продуктивно работать, а мы в силу особенностей нашей истории — не смогли. «Буржуазная демократия» у нас действительно не получается (она и ни у кого не получалась за пять лет), но тем не менее это единственная форма государственности, адекватная нашему теперешнему состоянию.

Одна из причин и симптомов «русской болезни» — это как раз несоответствие наших идеологем и нашего состояния. Неумение организовать жизнь у нас компенсируется обращением к каким-нибудь «духоподъемным», зачастую бредовым, идеям. И вот в этом — в растрачивании умственных и духовных ресурсов общества на создание различных пугал и на борьбу с ними — и заключается главная опасность муссирования «фашизоидной» тематики. Весь этот треп сплошь и рядом служит ширмой, за которой идет тотальное воровство, царит правовой произвол, спасения от которого русские люди уже готовы искать у эстонцев, у японцев, у кого угодно — только бы найти.

БАНДИТЫ НАЦИОНАЛЬНОСТИ НЕ ИМЕЮТ

СМИ активно формируют образ врага[1]

Представим себе такие заголовки газетных материалов: «Евреи угрожают коммунистам» — о заявлениях еврейских организаций по поводу антисемитских высказываний Макашова и Зюганова, «Пойман еврейский аферист» — про дело Якубовского, или «Евреи вновь бряцают оружием» — про какие-нибудь заявления Израиля. Подобные заголовки, вероятно, были в нацистской «Фёлькишер беобахтер», но у нас они непредставимы даже в газете «Завтра». Между тем вот несколько заголовков из декабрьских и январских номеров наших вполне либеральных московских газет: «Чеченцы развяжут террор» («Коммерсантъ», № 236); «Чеченцы вымогают деньги за обезглавленных иностранцев» («Коммерсантъ», № 238); «Чечня ворует чеченцев» («Сегодня», № 285); «Лидеры Ичкерии ведут торг трупами заложников» («Независимая газета», № 243); «Чеченские боевики насилуют бывших однополчан», «Чеченцы в любой момент могут взорвать Москву?» («Московский комсомолец», № 5, 11.01.99). Думаю, излишне показывать едва ли не расистский характер этой лексики и тона этих статей. Можно говорить о «чеченской мафии», как говорят об итальянской или русской, можно говорить о чеченских бандитах, но назвать бандитов, убивших британцев, просто «чеченцами», а пребывание в их лапах «чеченским пленом» — это все равно что сказать про кого-нибудь убитого итальянской мафией, что его убили итальянцы. Между тем если на антиеврейские высказыва-

[1] «Общая газета», 21.01.1999.

ния тут же зажигаются многочисленные сигналы тревоги, то античеченские не волнуют абсолютно никого, и позволяют их себе самые либеральные СМИ, негодующие на антисемитов из КПРФ.

Почему это происходит? Прежде всего, здесь проявляется наличие у наших либеральных СМИ иерархии любимых и нелюбимых народов, совершенно иной, чем у коммунистов и «патриотов», но не менее отчетливой и жесткой. При этом, возмущаясь чужими пристрастиями и предрассудками, наши либералы не видят своих собственных (и не видя, естественно, и не пытаются их скрыть или хотя бы выражать в «приличной» форме). Чеченцы — народ не «западный», непокорный и обособленный, никогда не занимавший в этой либеральной иерархии высокого места. А потому до недавнего времени о них достаточно редко вспоминали. Война, вести которую никто в России не хотел, и героическое чеченское сопротивление вызвали волну сочувствия к ним и даже некоторую их романтизацию в либеральных кругах. Но как только боевые действия прекратились, эти чувства сменились на откровенно и нескрываемо враждебные.

Я думаю, что причина этой резкой перемены отнюдь не в том, что в Чечне начались похищения людей. Возмущение этими похищениями и убийствами — скорее предлог, чем причина. Неужели кто-то ожидал, что при современном положении Чечни в ней будут господствовать законность и порядок? Интересно, что было бы в России, если бы Москва и Петербург лежали в руинах, как Грозный, а миллионы русских были бы убиты и миллионы — искалечены и лишены крова? Дело не в похищениях и убийствах. Дело в том, что, хотя мы и сочувствовали чеченцам,

мы не можем простить им нашего унижения — того, что чеченская армия, в рядах которой постоянных бойцов было приблизительно столько же, сколько в российской — генералов, разбила последнюю. Унижение вообще простить очень трудно, тем более, когда ты унижен тем, по отношению к кому ты совершил множество жестокостей и подлостей.

Кроме того, как у нас не хватило сил (прежде всего, конечно, моральных) на войну, так у нас не хватает сил и на мир, предполагающий признание чеченского самоопределения, к чему не готовы даже наши либералы. Отсюда — и злоба, прорывающаяся в газетных заголовках. Но злоба, тем более бессильная, ни к чему хорошему не ведет.

Приближается срок, определенный Хасавьюртовскими соглашениями для определения статуса Чечни. Между тем наше общество не имеет никаких идей на этот счет, и наши СМИ не обсуждают чеченский вопрос, а только создают атмосферу, при которой невозможно не только пребывание республики в рамках Российской Федерации, но и вообще спокойное российско-чеченское сосуществование. Все это почти неизбежно кончится новым кризисом.

Мне думается, чтобы предотвратить его, надо прежде всего следить за собой. Никто не может заставить наши СМИ полюбить чеченцев, как нельзя заставить Макашова полюбить евреев. Более того, люди имеют право как-то выражать свою любовь и нелюбовь, но не просто ругаясь, а объясняя самим себе и другим свои чувства. Однако они не имеют права оскорблять других и лгать. И как коммунисты не имеют права говорить, что идеал сионизма — мировое господство евреев, так и наши «демократические»

журналисты не имеют права говорить про бандитов: «чеченцы требуют денег за обезглавленных иностранцев», ибо это ложь и подстрекательство к национальной розни, пожалуй, более очевидное, чем призыв Макашова повесить десять евреев. Этот тон и стиль сообщений о народе, пострадавшем от нас больше, чем какой-либо другой, и с которым нам все равно жить рядом, мне кажется, надо прекратить немедленно и радикально.

ПАРТИЯ ВЛАСТИ ЕЩЕ СПОСОБНА ПОБЕЖДАТЬ

Коллективный разум ее пока не оставил[1]

Предстоящие президентские выборы, без сомнения, станут «часом великих испытаний» для нашей социально-политической системы и нашей неформальной, но достаточно сплоченной «партии власти». Смогут ли они пережить этот кризис, сможет ли система сохраниться в своих основных параметрах и что для этого необходимо?

Наша политическая система, освободившая позднесоветскую номенклатурную элиту от тисков КПСС и создавшая необходимые условия для приватизации ею государственной собственности, базировалась и базируется на том, что для большинства народа нет приемлемой альтернативы «партии власти», объединенной вокруг президента. Как бы народу ни было плохо и как бы он ни ругал начальство, на всех референдумах и президентских выборах он должен голосовать за эту «партию», ибо альтернатива ей — еще хуже.

---

[1] «Общая газета», 11.02.1999.

Роль ужасной альтернативы в нашей системе великолепно исполняла КПРФ и отчасти — ЛДПР. Следовательно, если не отказываться от общенародных выборов президента, пережить кризис «партия власти» может, только воссоздав в 2000 г. ситуацию 1996 г. — ситуацию единого кандидата элиты, спасающего страну от категорически неприемлемой альтернативы. Можно ли будет воссоздать эту ситуацию, что для этого нужно и что уже делается?

Прежде всего элите надо определиться с преемником Ельцина, который сплотит в решающий момент правящий класс и создаст в народе ощущение (обычно возникающее у нас при каждой перемене начальства), что отныне все будет иначе, списав основные народные беды на своего предшественника. Сейчас выявились два основных кандидата на эту роль — Евгений Примаков и Юрий Лужков. Каждый имеет, с точки зрения нашей элиты, свои достоинства и недостатки. Но возникает впечатление, что из этих двоих кандидатов наиболее приемлем для правящего класса все-таки Примаков и что с точки зрения интересов нашей элиты находка Явлинского была просто гениальной.

Дело в том, что время поставило перед элитой новые задачи. Волевой, решительный лидер, который не остановится ни перед чем, элите уже ни к чему. Ей нужны стабильность и предсказуемость. На смену «разрушителям», осуществлявшим приватизацию, должны прийти «созидатели», закрепляющие приватизированное.

Поэтому, как мне кажется, несомненные достоинства Лужкова на современном этапе эволюции нашей элиты — это скорее недостатки. Противопоставляя себя Ельцину, Лужков подчеркивает свое здоровье и относительную молодость, способность играть в футбол, трезвый образ

жизни, энергию и динамизм. Но как раз это и способно повредить ему. Элита не может не чувствовать, что если он придет к власти, то надолго и всерьез, и ее не может радовать перспектива распространения на всю Россию того режима «твердой руки», который установился в Москве. В Лужкове есть элементы непредсказуемости и неуправляемости, которые были совершенно необходимы для лидера элиты в 1991 г., но вряд ли нужны ей в 2000 г. Задолго до выборов московский мэр уже наговорил, как мне кажется, много «лишнего», что должно отпугивать элиту (он слишком уж активно стал настаивать на отставке Ельцина, слишком уж горячо борется за Севастополь, упрекая МИД и косвенно Примакова в том, что их интересы расходятся с интересами России, слишком часто говорит о возможности пересмотра результатов приватизации).

Примаков, с точки зрения элиты, куда ближе к идеалу. Этот человек, неуклонно, хотя и без резких и драматических скачков, делавший карьеру при всех генсеках и президентах и при всех режимах, лишенный чрезмерных и рвущихся наружу личных амбиций, как бы воплощает преемственность позднесоветских и постсоветских времен и плавную эволюцию нашей элиты от «застоя» через «перестройку» и далее. И как во времени он был приемлем для всех руководителей от Брежнева до Ельцина, так и в «политическом пространстве» он приемлем практически для всех группировок элиты — от коммунистов до «яблочников».

Основной вопрос сейчас, несомненно, это выбор нашими, теперь неформальными и аморфными ЦК и Политбюро, между этими двумя главными кандидатурами и недопущение раскола. Выбор будет крайне труден, тем более

что совершать его придется при наличии совершенно иррационального фактора — президента, который то вроде бы совсем уже плох, то вновь оживает, и который думает не о спокойной и организованной передаче власти, а лишь о себе и своей семье. Опасные грозовые раскаты, возможно, предвещающие начало бури, уже прозвучали (странное письмо Примакова, первая атака Лужкова на премьер-министра). И все же мне кажется, есть некоторые шансы, что все может решиться относительно мирно. Дело в том, что в пользу Примакова действует еще один фактор — преклонный возраст нашего премьера. Примаков если и будет президентом, то уже ясно, что лишь один срок, и это оставляет для более молодых кандидатов, прежде всего для Лужкова, надежду добиться своего уже в 2004 г., а пока — уступить место старшему. Таким образом, есть некоторый шанс, что «партия власти» сможет прийти к 2000 г. относительно единой и относительно сплоченной.

Однако найти подходящего преемника — это еще полдела. Нужно подыскать ему и соответствующего соперника. Во второй тур должен пройти тот, кто заведомо проиграет в нем кандидату власти. Здесь у политической элиты тоже большие трудности и тоже есть определенная перспектива их преодолеть. Трудности заключаются в том, что коммунистическая верхушка, нормальные представители мирной позднесоветской номенклатуры, уж очень устала от своей роли — быть очень радикальной и опасной и поэтому не способной победить. Она уже давно успокоилась, приняла «необратимость перемен» и хочет министерских постов и не менее красивой жизни, чем у той части номенклатуры, которая в свое время оказалась пошустрей и перебежала к Ельцину. Но как только коммунисты окончатель-

но интегрируются в «партию власти», они потеряют способность мобилизовывать протестный электорат, который может захватить некто с более реальными шансами на победу.

Кроме того, окончательная интеграция коммунистов может вызвать очень большие напряжения и даже раскол в «партии власти». Например, если бы осуществился союз коммунистов с Лужковым, это практически наверняка означало бы возникновение наряду с этим «левым центром» какого-либо достаточно мощного «правого центра». А такой раскол означал бы разрушение всей сложившейся политической системы и возникновение принципиально новых отношений. Но как гениальная находка Явлинского спасла или, вполне возможно, спасет (все еще может быть) нашу элиту от угрозы раскола в процессе избрания преемника, так и по-своему «гениальная» выходка Макашова спасла ее от другой угрозы — оказаться без неприемлемого для общества и слабого врага. Коммунистические лидеры не решились радикально отречься от макашовского антисемитизма, боясь потерять ярко антисемитскую часть своего электората и продемонстрировать чрезмерную респектабельность, СМИ постарались извлечь из макашовской выходки максимум, а Лужков был вынужден резко выступить против КПРФ.

Все получилось совершенно замечательно. Коммунисты ослаблены своим «полувхождением» во власть. Противостоя Примакову, а не Ельцину, Зюганов уже не может кричать о преступлениях оккупационного режима. Но одновременно они так и не стали для большинства приемлемой альтернативой: большинство русских людей не проголосует за кандидата, снисходительно отнесшегося к

призыву повесить «десять жидов». С точки зрения интересов правящей элиты, СМИ совершенно правильно раздули «дело Макашова», а «партия власти» совершенно правильно отказалась включать коммунистов в свои ряды. Они полезны и нужны не как друзья, а как враги.

Но «партии власти» надо не только сохранить коммунистов как врагов, надо сохранить их достаточно сильными, чтобы именно их кандидат смог пройти во второй тур. Элита должна тщательно оберегать Зюганова, не допуская, чтобы место главного противника оказалось занятым кем-то, кто действительно хочет и может победить. Такой человек есть, и «вы его знаете». Настоящая опасность, угроза ломки всей нашей политической системы исходит сейчас только от Александра Лебедя — от человека, умеющего ругаться на «хозяев жизни» матом, привлекая этим протестный электорат, но одновременно способного вести беседы с Мадлен Олбрайт, подающей тем самым знак его «респектабельности» и относительной приемлемости для Запада. Только такое сочетание качеств способно ослабить страх общества перед жуткими последствиями своего собственного протеста и разбить единство правящего класса, привлекши какую-то часть и бизнесменов, и интеллигенции.

Красноярские выборы губернатора в прошлом году продемонстрировали нашей элите, пожалуй, единственную ситуацию, при которой может рухнуть созданная ею политическая система. Но сейчас триумфально победивший Лебедь находится в труднейшей для него ситуации. Он вступил в решающую битву с красноярской элитой (в Красноярске, судя по всему, сложилось мощное единство всех группировок элиты во главе с криминальной), битву

на чужом для него поле, где его врагам известен каждый кустик и где им помогает сама «родная земля». Так что шансы его на победу (а чтобы прорваться на общероссийское поле боя, ему нужна не просто победа, а победа яркая, драматическая, которую не смогут замолчать неконтролируемые им и враждебные ему СМИ) не так уж велики.

Разумеется, предсказать, что будет в 2000 г., невозможно. Но если наши рассуждения правильны, у российской элиты есть определенные шансы относительно безболезненно пройти через кризис 2000 г., воссоздав ситуацию псевдоальтернативных выборов. И в последнее время она сделала ряд правильных шагов в этом направлении. Иногда даже создается впечатление, что кто-то мудрый очень правильно расставляет фигуры на нашей шахматной доске. Но это иллюзия. Таких умников нет. Есть другое.

В КПСС была такая формула — «коллективный разум партии». Эта формула схватывает какую-то очень глубокую и, может быть, не до конца понятную социальную реальность. У отдельных представителей правящих кругов соображения могут быть настолько примитивны и наивны, что, когда о них узнаешь (например, план создания двухпартийной системы Черномырдина и Рыбкина), трудно в это поверить. Но в конечном счете из частных и самых простых соображений, усилий и движений возникает мощная и продуманная стратегия. У правящего класса есть некий инстинкт, какое-то встроенное в них особое чувство, заставляющее выбирать в целом правильный, безопасный путь. И мы видим, что он его нащупывает. Разумеется, этот инстинктивный выбор правильной стратегии — явление относительное и временное. Когда меняется общество в целом, когда оно перерастает данную систему, как это

произошло с коммунистической системой, коллективный ум отказывает. Но очень похоже, что существующая у нас причудливая политическая и экономическая система господства обуржуазившейся номенклатуры пока что нам вполне соответствует, и перерастет ее общество разве что в следующем веке (или тысячелетии).

ГЕРОЙ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

В Борисе Березовском больше не нуждаются[1]

В жизни и в истории все уникально и все повторялось миллионы раз («нет ничего нового под солнцем») и поэтому укладывается в вечные сюжеты и схемы. История величия и падения Бориса Березовского тоже не нова, она вполне помещается в старый сюжет о еврее-финансисте, спекулянте и манипуляторе, который добивается колоссального богатства и колоссальной власти над «гоями» и «гойской» элитой, которых он значительно умнее и выше. Ему льстят, перед ним заискивают, он вершит чужие судьбы, назначает и низвергает министров и т. д. При этом власть его не «легитимна», не полна и не прочна, он может быть могущественнее всех в этой элите, но все равно он — не в ней. И пусть он в сто раз умнее и талантливее их, они занимают свое положение «по праву», а он — «не по праву». Он «зарывается», переходит границы, вызывает бешеную зависть и в конце концов гибнет. Этот сюжет, которому легко дать как антисемитское, так и «героически еврейское» истолкование (как история еврея Зюсса

---

[1] «Общая газета», 11.03.1999.

породила роман Фейхтвангера и нацистский фильм), в конечном счете сводится к вечным, отнюдь не еврейским сюжетам о смертном, сила которого вроде бы не знает границ, и он в своей гордости забывает о том, что смертен, и погибает.

Я не знаю, приходили ли самому Березовскому на ум аналогии между его судьбой и судьбами его многочисленных литературных и реальных предшественников, но ясно, что роль, которая ему положена по этой пьесе, сыграна им талантливо и, можно сказать, классически. Человек сделал из своей жизни красочное художественное произведение, в громадной мере относящееся к жанру барочного романа о приключениях авантюриста, где-то переходящего в фарс и пародию (что стоит одна только сцена из мемуаров Коржакова, когда без умолку говорящий и пожирающий бутерброды Березовский «заказывает» Гусинского), а местами — поднимающегося до истинной драмы (совершенно не исключено, что кончится этот «роман» на высокой трагической ноте).

Конечно, никакой, самый великий актер не может сыграть пьесу один. И Березовскому, безусловно, очень хорошо ассистировали. Все сыграли на славу — и Ельцин, и его дочь, и Примаков, и Зюганов. И все-таки главная фигура — Березовский, и роман или пьесу, которая охватывала бы все — и трагические, и комические — аспекты нашей жизни, не назовешь «Карьера Примакова», «Сила и болезнь Ельцина», «Повесть о глупом коммунисте» или «Страдания Явлинского, стремившегося стать президентом, но остаться честным», но только — «Величие и падение Березовского (рассказ о необычайных приключениях математика в постперестроечной России)».

Сюжеты — вечны. Но должна быть объективная ситуация, при которой реализуется почему-то именно этот сюжет. Например, совершенно невозможно представить себе, чтобы история Березовского могла совершиться в советский период или в современной Америке, зато, как мы знаем, аналогичные истории имели место в Западной Европе в эпоху позднего Средневековья — начала Нового времени. Почему же именно наше время вытащило Березовского? Чтобы это понять, вернемся мысленно в брежневскую эпоху, когда Березовский еще был честным научным сотрудником, Ельцин — энергичным секретарем обкома, Примаков — скромным журналистом-академиком-разведчиком и т. д.

Советская номенклатурная элита полностью утратила веру в коммунистическую идеологию и потихоньку разлагалась, завидуя элите «просвещенного Запада». Это разложение имело два аспекта — усиление либерализма (и здесь возникали связи с маргинальным миром диссидентствующей интеллигенции, распределение в ЦК билетов в Театр на Таганке и т. д.) и усиление воровства и взяточничества (и здесь возникали, естественно, связи с другим маргинальным миром — криминальным). Сколько бы она еще так разлагалась — неведомо. Но пришел Горбачёв и начал перестройку, переросшую в революцию. Элита в целом восприняла это событие с ужасом, но и с надеждой. С ужасом — ибо рушился привычный мир, где ты — секретарь обкома или райкома, директор завода, председатель колхоза и т. д. Но и с надеждой — потому что тайные мечты о красивой жизни по западному стандарту вдруг обрели черты близкой реальности. Секретарю обкома или райкома, придавленному партийной дисциплиной

и живущему на всем казенном (смотри замечательное по яркости место в мемуарах Ельцина, где он печалится, что все вокруг — дача, обстановка и т. д. — даны ему ЦК, но не его собственность), улыбалась перспектива стать респектабельным демократическим политиком и собственником, перспектива по-настоящему «красивой жизни», которую уже никак не запретишь, — жизни «мистера Твистера, бывшего министра, владельца заводов, газет, пароходов», спокойно разъезжающего по свету. Но для того чтобы осуществить эту сложнейшую двоякую операцию — смену идеологии и политических форм и смену формы собственности, элите нужны были помощники. Сама она произвести это не могла. И помощники пришли из двух маргинальных миров, существовавших в советский период,— мира диссидентствующей интеллигенции и мира криминалитета.

В революционный период элита в какой-то мере прячется (не упуская, однако, реальные рычаги власти), а на поверхности политической жизни мечутся странные фигуры разного рода «выскочек». В 1989—1992 гг. это прежде всего — бывшие диссиденты и подделывающиеся под диссидентов научные сотрудники. Этим людям казалось, что они — реальная сила, вершители судеб России, но объективно их роль была обслуживающей, они должны были произвести необходимые символические и институциональные изменения и уйти, уступив место тем, кому оно принадлежит «по праву». Избавились от этих людей, абсолютно не способных, как правило, руководить страной, прятавшихся за номенклатурную («элитарную») фигуру Ельцина, очень легко и безболезненно.

Однако ликвидировать марксистско-ленинскую идеологию и даже СССР — дело относительно несложное. При-

брать к рукам «общенародную» собственность и начать ею распоряжаться хотя бы относительно рыночными методами было значительно труднее. Помощники здесь нужны были более серьезные, и избавиться от них значительно сложнее. За эпохой, когда на поверхности политической жизни были собчаки и станкевичи, наступила эпоха людей, самым ярким представителем которых является Березовский и которых окрестили «олигархами».

Мне не известно, каково личное состояние Березовского и как он нажил каждый свой миллион. Но мы ведь отлично понимаем, что «общенародная собственность», которой распоряжалась правящая элита, могла перейти в руки Березовского, никогда к номенклатурной элите не принадлежавшего, только одним способом — власть позволила ему приобрести это богатство, фактически — передала его ему. Почему и для чего? Ясно, почему богатство передается, например, Гавриилу Попову — за заслуги в борьбе с коммунизмом, Шамилю Тарпищеву — он друг президента, Черномырдину — он премьер и соратник президента, почему — всяким зятьям, родственникам, товарищам по борьбе. Но почему — Березовскому, откуда он взялся?

Дело в том, что власть в начале нашей революции совершенно не знала, что надо делать, чтобы самой стать «миллиардершей». Есть заводы, фабрики, колхозы и пр. — но как из этого сделать виллы, яхты, дома в Париже и счет в швейцарском банке, если ты не знаешь даже, чем определяется цена акции? Тут нужен помощник, причем умный, даже гениальный, который все это организует, хотя, естественно, и возьмет дорого. На каждый миллион, нажитый Березовским, без сомнения, приходятся сотни миллионов,

перераспределенных с его помощью в пользу той самой номенклатурной верхушки, которая весь этот революционный период власти из рук не выпускала и к которой он никогда не принадлежал. Как бы богат и влиятелен Березовский ни был, он объективно был слугой, как объективно слугами обуржуазивающейся феодальной аристократии были фигуры типа еврея Зюсса.

Но Березовский — не просто слуга, он талантливейший человек, ощущающий, что он на голову выше других, и человек честолюбивый. Ему нравится власть, нравится увлекательная, хотя и опасная жизнь с интригами, заказными убийствами, охотой фээсбэшников за ним и его — за фээсбешниками, легкими переходами от бесед в Давосе к диспутам с ворами в законе и чеченскими полевыми командирами. Очевидно, переломный момент пришелся на 1996 г., когда, мобилизуя деньги для избрания Ельцина, он начинает ощущать себя творцом российской истории. И ему очень хочется, чтобы об этом знали все. Он начинает кричать об этом на каждом шагу, не замечая, что переходит положенные ему границы. Теперь он не нужен власти, ибо собственность уже разошлась по рукам, он — красная тряпка для антисемитов и коммунистов, и вообще от него слишком много беспокойства.

Я не думаю, что Березовского арестуют и выведут на показательный процесс, как сделали с его литературным прототипом, поскольку это невозможно без привлечения к суду самой верховной власти. Я вполне допускаю, что в ФСБ его хотели убить, ибо надо же что-то с ним делать. Но, похоже, что и это сложно. Однако хребет ему и его финансовой империи переломают. Его время кончилось. Номенклатура брежневских времен полностью,

хотя и в новой форме, вернулась к управлению страной. Увлекательный и яркий роман дописан.

Не знаю, нуждается ли Березовский в советах, но на всякий случай рискну предложить ему достойный эпилог. Он уже вошел в русскую историю, ему обеспечено место в учебниках и народных мифах. Теперь ему нужно по-тихому отъехать в Швейцарию, прихватив несколько десятков миллионов (остальное — пусть пропадает), поселиться в каком-нибудь замке, окружить себя хорошей охраной и написать книгу о жизни. Если у него хватит ума написать ее честной и не хвастливой, многочисленные грехи этого талантливого человека будут искуплены.

СИНДРОМ ОТСТАВНОГО НАЧАЛЬНИКА

Истеричное поведение в изменившемся мире загоняет нас в изоляцию[1]

Реакцию России на события вокруг Югославии и нашу роль в этих событиях, мне думается, можно охарактеризовать словами «жалкие» и «унизительные». Нас унизили и сербы, и натовцы. Причем унижение со стороны НАТО особенно неприятно, ибо НАТО явно специально унижать нас не хочет и даже говорит разные льстивые слова о ценной роли России. Максимум, чего мы сможем добиться в конфликте вокруг Косова, — это того, что Милошевич передаст через нас НАТО свои предложения, что будет изображаться как великая победа российской дипломатии. Так в чем же «жалкость» и унизительность нашей роли?

---

[1] «Общая газета», 15.04.1999.

В том, что мы против акции НАТО, а НАТО нас не послушалась? Отнюдь нет. В самих странах альянса против бомбежек выступают многие влиятельные силы. Против них — Индия и Китай, которых тоже не послушались. Между тем никто не скажет, что роль Индии или Китая — унизительна и что они жалки.

Мы же жалки не потому, что против бомбежек, а потому, что выражаем свой протест «не по-мужски». Потому, что говорим — хотя никто нас «за язык не тянул», — что вооруженных действий не допустим, чему верят легковерные сербы, и тут же допускаем, сами демонстрируя, что с нами не считаются. Затем закатываем истерики, кричим, что о нас «вытирают ноги», и пугаем мировой войной. Но пугаем только самих себя и тут же начинаем говорить, что не дадим втянуть себя в эту самую мировую войну. Мы жалки, потому что любому наблюдателю очевидно, что наши миролюбие и пацифизм — наиграны и лицемерны (только крайний лицемер может возмущаться в общем-то точечными ударами натовской авиации после того, как сам превратил в руины Грозный). У нас не было и нет никаких идей о разрешении сербо-албанского конфликта, кроме постоянно повторявшейся фразы — «политическими методами». Нам ни до сербов, ни до албанцев дела нет, а единственное, что нам нужно, — это чтобы «с нами считались» и признавали за «великую державу». Потому что наши мотивы — примитивные и плохо скрываемые, наши слова — страшные и путаные, а наши действия — суетливые, но никому не опасные.

И самое печальное здесь, что это отнюдь не потому, что у нас такой плохой МИД. Мне даже кажется, что он совсем уж не такой плохой, и на измученном лице Игоря Иванова,

как мне представляется, лежит печать страдания из-за той роли, какую он вынужден играть, и тех слов, какие он должен говорить. Но ничего поделать он не может. Самое печальное в этой истерике, которую мы закатили миру, заключается в том, что она основывалась на «полном консенсусе» всех — от безумных жириновцев до интеллигентных яблочников. И МИД был вынужден действовать так, как от него требует массовое сознание (прежде всего, конечно, массовое сознание «политической элиты»). Это — далеко не первая наша бессильная истерика. Мы очень похоже вели себя и в проблеме расширения НАТО, и в других конфликтах. Это — просто одно из проявлений нашего устойчивого «внешнеполитического стиля».

Беда российской внешней политики не в том, что мы занимаем в каких-то вопросах неверную позицию. Можно быть и «за», и «против» вооруженного вмешательства в косовский конфликт. Просчитать все последствия того или иного шага очень трудно, и вполне может быть, что ошибку совершила как раз НАТО. Вообще ошибки и промахи — неизбежны. Беда в нашем внешнеполитическом «стиле» и стоящими за ним национальном характере, психологии, мироощущении. Это — психология и мироощущение бывшего большого начальника, который стал отставником, но не может примириться со своей новой скромной ролью. Он уже никому не страшен, но продолжает пугать, грозить, требовать знаков уважения и избрания в разные президиумы («восьмерки»). Скандалит, когда с ним не посоветовались или не пригласили на какую-нибудь «элитную тусовку», третирует младших и фамильярничает с новыми начальниками. Это — жалкая психология человека, для

которого самое важное быть «уважаемым» и вершить чужие судьбы, который уже не способен жить без всего этого и найти себе действительно интересные и полезные дела. И именно потому, что такой человек так стремится, чтобы с ним считались и его уважали, ему могут льстить, постоянно повторяя любимую им фразу «Россия — великая держава», и иногда приглашать на малозначимые «тусовки». Ему могут давать взаймы (ведь истерики никому не нужны), но уважать и действительно прислушиваться к его мнению никто не хочет. При этом он вполне может вернуть себе авторитет, если перестанет суетиться и надоедать всем своей «закомплексованностью» и займется делом. Но именно этого он и не может.

Россия сейчас как раз в положении такого «бывшего». Нам надо очень четко понять, что мы — не только уже не сверхдержава, но и никогда больше супердержавой не будем. Сверхдержавность царской России принадлежит тому времени, когда существовал грандиозный разрыв в силе между вырвавшимися вперед европейскими нациями и традиционалистским неевропейским миром, когда крохотные Нидерланды могли владеть громадной Индонезией, горстка англичан правила Индией, а в Китае европейцы считались только друг с другом, но отнюдь не с китайцами. В эту эпоху Россия могла бить турок ровно столько, сколько нам позволяли другие европейские державы, завоевывать Среднюю Азию и командовать в Китае. Но эти времена давно и безвозвратно прошли. Великодержавие колониально-европейского типа больше невозможно, ибо по мере усвоения западных достижений неевропейскими странами разрыв в могуществе Европы и остального мира сократился и будет сокращаться дальше. Сейчас смешно

представить Китай как арену соперничества Англии, Франции и России, очень скоро быстро модернизирующийся Китай станет самой мощной страной мира. Великодержавие же Советского Союза, которое мы ошибочно воспринимали как прямое продолжение великодержавности старой России, проистекало лишь из мощи коммунистической идеологии, имевшей приверженцев и соответственно — друзей и союзников и среди английских лордов, становящихся добровольными шпионами, и среди африканских племен. И держалось это советское великодержавие столько, сколько была жива коммунистическая идеология. Когда же рухнул СССР, стало ясно, что Россия сама по себе — не такая уж большая и сильная страна. Только фантаст может предположить, что в следующем веке 150-миллионная Россия сможет тягаться по силе с миллиардными по численности западным миром, Китаем, Индией. Мы — относительно небольшая страна, что само по себе не страшно, ибо такая страна вполне может плодотворно жить и работать (можно быть не очень сильным физически человеком, но не страдать от этого). Правда, у нас — не очень удобное геополитическое положение. Мы объективно являемся чем-то вроде «буфера» между двумя великими «центрами силы» — западным и китайским, и между спокойным миром Европы и переживающими напряжения модернизации и вспышки агрессивности «опасными» мусульманскими странами. К тому же почти все соседи имеют какие-то старые обиды против нас. Но и это — не так уж страшно. Пример немцев показывает, что, если в течение относительно долгого времени вести себя прилично, старые обиды забываются, а в роли буфера есть и свои преимущества. Кроме того, несколько унизительное понятие

буфера можно легко преобразовать в благородную идею «моста». Никто на нас не нападет (если только мы сами не сойдем с ума и не устроим какой-нибудь «поход на юг», что очень маловероятно) и никто не вынашивает планы нас завоевывать. Страшно только одно — наша неспособность взглянуть в лицо реальности и психологически к ней адаптироваться, наше истерическое поведение, загоняющее нас в изоляцию и не дающее сосредоточиться на реальных внутренних проблемах.

Менять нам надо не ту или иную позицию, не ту или иную оценку внешнеполитических событий. Менять надо стиль поведения. Но именно это — самое трудное, ибо стиль — это сам человек, его характер, и изменить его, как показала вся постсоветская история, невероятно трудно...

ПРОМАХИ АКЕЛЫ НЕ СМЕРТЕЛЬНЫ ДЛЯ СТАИ[1]

Положение президента Ельцина становится все труднее и незавиднее, неудачи сыпятся на него одна за другой. Нельзя сказать, что до этого ему все удавалось, но такие неприятности, как поражение в Чечне или финансовое банкротство страны, можно было пережить относительно спокойно, поскольку президента они непосредственно не затрагивали. Настоящие неудачи — это потеря контроля над системой, все более явные признаки утраты власти.

Первым крупным поражением Ельцина, очевидно, следует считать назначение Евгения Примакова главой правительства. Дело не в том, что новый премьер как-то

[1] «Общая газета», 13.05.1999.

особенно плох или нелоялен, но он Ельцину навязан и имеет большую поддержку, от него не зависящую, исходящую из кругов, ему враждебных. Президенту приходится терпеть рядом с собой человека, который является постоянным напоминанием его неудачи и унижения, и устранение которого, похоже, становится для Ельцина «делом чести».

Но назначение Примакова было только «началом конца». С приходом «компромиссного» премьера осмелело и всерьез занялось процедурой импичмента думское большинство. Совет Федерации тоже осмелел и дважды отказался принимать отставку генерального прокурора — только потому, что этот прокурор обещает отдать на растерзание кого-то из приближенных президента. Вообще все один за другим стали страшно смелыми и независимыми. Когда Ельцин был «плох» и не выходил из больницы, такие проявления храбрости были еще более или менее естественны, но вот он выбрался из ЦКБ, регулярно навещает Кремль и устраивает показательные порки подчиненных, а политический истеблишмент — все храбрее и храбрее, все принципиальней и принципиальней. Что же происходит?

Действительно ли наступает «кризис режима», как стали писать и говорить СМИ? Довольно просто понять, почему все вдруг стали такими смелыми и обидчивыми. Близится конец второго ельцинского срока, а третьего, судя по всему, не будет. Конечно, ни сами по себе болезни, ни само по себе истечение срока полномочий еще не так опасны для власти президента. Нападать на больного все-таки страшновато, ибо он может выздороветь. Страшновато и нападать на президента, дорабатывающего свой конституционный срок, — все понимают, что при очень большом

желании Конституцию можно и изменить. Но плохое здоровье в сочетании с завершением срока — это очень плохо.

В этой ситуации, даже если бы у Ельцина был явный, заранее подготовленный им самим преемник, все равно ему пришлось бы пережить психологически трудный период — все стали бы переориентироваться на этого преемника, а тот (даже если бы это был верный Черномырдин) постарался бы списать на Ельцина и его окружение все российские беды. Так было всегда, это — в человеческой природе. Но Ельцина подвело его властолюбие, он не решился назначить себе преемника, чем обрек вчерашних соратников на дерзкие выпады против оплошавшего лидера. «Акела промахнулся», и теперь его будут медленно и мучительно добивать.

Является ли эта ситуация кризисом? Для Ельцина, его семьи и некоторых самых близких к нему людей, которые уже не смогут ни к кому перебежать, это даже хуже чем кризис, это — неумолимо приближающаяся катастрофа. Кое-кто при этом будет принесен в жертву, поплатившись не только статусом, но и свободой (идеальная фигура для жертвоприношения — Березовский). Но станет ли это кризисом для правящей элиты, «партии власти» в целом? Лишь в очень небольшой степени. Ее представителям, конечно, придется пройти через ряд испытаний — нужно дистанцироваться от Ельцина и затем объяснять, как ты при нем или искренне заблуждался (например, помогая ему организовать переворот 1993 г.), или, наоборот, все давно понимал и, как мог, тайно противодействовал. Это не очень приятно, но наша элита, спокойно перешедшая от коммунизма к идеалам демократии, с этой задачей наверняка справится.

Несколько хуже другое. Поскольку не ясно, кто же будет преемником, не совсем понятно, под кого надо подстраиваться, и можно ненароком подстроиться под кого-то не того. Однако ко второму туру президентских выборов в любом случае станет видно, кто должен победить коммунистического кандидата, а значит, особо опасаться раскола элиты не стоит. Более того, может оказаться даже более выгодным попридержать свои ставки до второго тура, когда будущему президенту дорог будет любой союзник и цены на поддержку возрастут.

Таким образом, для правящей элиты сегодняшнее ослабление власти президента — это, конечно, кризис, но небольшой и вполне преодолимый. Теперь рассмотрим главный вопрос — является ли это кризисом режима?

Для этого мы прежде всего должны определить, что такое наш режим, каковы его основные параметры. Это — режим правления неформальной, но достаточно сплоченной «партии власти». Ядро ее, контролирующее «прием» в эту партию (и, соответственно, основные каналы социальной мобильности), составляет обуржуазившаяся советская номенклатура, в основном уже приватизировавшая государственную собственность. Правление этой «партии» обеспечивается, во-первых, Конституцией, во-вторых, существующей партийной системой. Конституция предусматривает сильную президентскую власть и слабый парламент, партийная же система обеспечивает воспроизводство ситуации, при которой оппозиция, хотя и может получить большинство в парламенте, не может победить на президентских выборах. Во второй тур президентской кампании обязательно проходят категорически неприемлемый и для элиты, и для большинства народа лидер коммунистической

оппозиции и альтернативный кандидат, становящийся главой «партии власти» и представляющий для большинства народа, во всяком случае, «меньшее зло».

Режим этот в конечном счете базируется на определенном состоянии общественного сознания, на сочетании озлобленности, приводящей к голосованию за коммунистов, и перевешивающего эту озлобленность страха перед теми же коммунистами и перед радикальными переменами вообще. Кризис режима мог бы возникнуть лишь при изменении этого «баланса». Во-первых, если резко протестующее меньшинство озлобится до такой степени, что перейдет от протестного голосования к насильственным действиям, вынудив тем самым и элиту перейти к иным средствам правления, иному режиму. Во-вторых, если возникнет реальная возможность превращения этого меньшинства в большинство, то есть победы коммунистического кандидата. В-третьих, можно рассмотреть противоположный вариант: коммунисты ослабеют до такой степени, что их кандидат не пройдет во второй тур, и главный приз разыгрывают два одинаково «элитарных» кандидата, что может привести к расколу «партии власти», к исчезновению ее как единого организма. Наконец, один из участников финала может быть оппозиционером, способным привлечь часть элиты и преодолеть народный страх перед оппозицией. Но ничего подобного в 2000 г. не предвидится, теперешние процессы к этому не ведут и за очерченные выше параметры режима не выводят.

То, что происходит сейчас, это встроенный в механизм функционирования режима и отнюдь не разрушающий его кризис. Неизбежное появление нового лидера правящего класса, дистанцирование его от Ельцина, списывание на

бывшего правителя всех народных несчастий, публичные жертвоприношения на алтарь демократии — все это лишь рассасывает народное недовольство, порождает новые иллюзии (во всем виноваты Березовский, Татьяна Дьяченко, Ельцин...) и укрепляет режим. Это — нормальный, циклический и «очистительный» кризис.

Разумеется, политическая система эволюционирует. Усиливается власть регионального начальства, меняется идеологическая окраска режима — от апологии свободного предпринимательства, необходимой в период «первоначального ограбления», он переходит к идеологии сильного государства», более подходящей для элиты, которая собственность уже захватила и теперь хочет, чтобы государство защитило ее от разорения и нового имущественного передела. Но это именно эволюция, а не кризис.

Когда Акела промахнулся, его убивают. Но если для Акелы это — конец, то для стаи — нет. Гибель Акелы лишь сплачивает стаю и подтверждает незыблемость ее законов.

НЕМЦОВ НЕ ПОЛЕНИЛСЯ ПОЕХАТЬ В БРЮССЕЛЬ В ФУРЕ

Лучше бы Россия не реагировала на косовский кризис...[1]

Единодушие нашего общественного мнения по косовской проблеме напомнило давно забытые советские эпизоды осуждения разных «израильских агрессий». Раньше израильтян и американцев осуждали знатные ткачихи, академики («как мать вам говорю и как женщина»), и,

[1] «Общая газета», 17.06.1999.

когда речь шла именно об израильтянах, особо ценилось их осуждение лицами еврейской национальности. Теперь осуждение натовской операции высказали все — от коммунистов и жириновцев до деятелей «Правого дела» и «яблочников». При этом особенно старались «засветиться» те, кого можно было заподозрить в непатриотических симпатиях к Западу (Немцов не поленился поехать в Брюссель в фуре). Единодушие в оценке сопровождалось единодушием в прогнозах. Если западная пресса высказывала самые разные точки зрения о перспективах операции, в основном выражая сомнения в правильности стратегии, то у нас никаких сомнений не было — в десятках статей из самых разных газет рассказывалось о том, что НАТО совершила страшную глупость, что силой ничего добиться нельзя, что сербов сломать невозможно.

Получилось всё, как говорят, «с точностью до наоборот». НАТО одержала поразительную победу, равной которой не было в мировой истории, — победу, в которой армия не потеряла ни одного солдата и добилась всех своих целей. И хотя мы и постарались в какой-то мере испортить эту победу «обманным» вводом батальона в Приштину, принципиально ничего это не меняет.

Трудно точно сказать, какую роль в сопротивлении сербов натовским требованиям играли надежды на Россию. Но судя по многим признакам — и по тому, что посол Югославии в России — брат президента, и по тому, что югославская Скупщина дружно проголосовала за вступление в Союз России и Белоруссии, — большую. Поэтому, если бы сербы заранее знали, что помощи не будет, они, скорее всего, давно бы уже согласились на натовские требования, причем в их значительно более мягком варианте, избавив

и албанцев, и себя от ненужных страданий. Последние несколько дней бомбежек, унесших наибольшее число жизней сербских солдат, прямо связаны с отстранением Черномырдина и новым «ужесточением» российской позиции.

В этой ситуации не произошло бы и того, что еще не произошло, но теперь произойдет неминуемо. Очень скоро сербы узнают, что творили их вооруженные силы в Косове, поймут, что войны, которая принесла им столько страданий, вполне могло бы и не быть и что деньги на восстановление они могут получить только у стран НАТО. Тогда они выступят против Милошевича и правящей верхушки. Но заодно они, несомненно, обратятся и против поддерживавших, но так и не поддержавших Милошевича русских.

НАТО в иной ситуации не продемонстрировала бы с такой силой свою мощь и эффективность и не смогла бы столь легко вступить в роль мирового полицейского. Наши отношения с Европой и США были бы значительно лучше. Наши эсэнгешные братья не смотрели бы, как они смотрят сейчас, на НАТО как на силу, которая сможет помочь им разрешить их конфликты, аналогичные косовскому, и в случае чего — защитить от России.

Правда, возможно, не было бы и нашего сближения с Китаем, имеющим свое Косово — Тибет — и обеспокоенным натовской акцией. Это, пожалуй, единственное наше приобретение от бурной реакции на косовский кризис. Но приобретение сомнительное. Ни на какой военный блок с нами умные и осторожные китайцы не пойдут, а если бы и пошли, то вряд ли так радужна для нас перспектива стать «младшим братом» Китая (на роль «старшего» мы уже никак не потянем).

Те якобы уступки, которые делает нам НАТО — разворачивание миротворцев-оккупантов под флагом ООН и по резолюции Совета Безопасности, — на самом деле никакими уступками не являются. Не является уступкой и согласие на размещение на наши весьма большие деньги российского отряда в Косове, где он будет обеспечивать установленный не нами порядок. Наша последняя «блестящая победа в Приштине», несомненно, приведет к еще большему ограничению российской роли в Косове, еще большим страданиям сербов и еще большей изоляции России. Представлять же, что мы отстояли формальное единство Югославии — просто смешно. Западные страны, не признавшие ни одной из самопровозглашенных республик, и без нас никогда бы не признали формальной независимости Косова или его объединения с Албанией.

Таким образом, мы приходим к выводу, что, если бы мы вообще никак не реагировали на косовский кризис, было бы значительно лучше для всех — для албанцев, для наших друзей сербов, для нас — и хуже, пожалуй, только для НАТО. Вернее, для наиболее воинственной части натовских деятелей, искавших случая продемонстрировать силу и считающих, что реальной перспективы превращения России в «нормальную» страну нет.

И это отнюдь не провал Черномырдина или дипломатии Примакова или Иванова. Это провал политики, основанной на полном «консенсусе», если так можно выразиться, идущей из глубин нашей души. И если проваливается политика, идущая из глубин души, значит, что-то не так с самой душой.

Я совершенно не собираюсь утверждать, что все в натовской акции хорошо и она олицетворяет высшую

справедливость. Хотя появление более или менее эффективной международной полиции, которая, если из дома доносятся уж слишком сильные крики, стучится, а если ей не открывают, вышибает дверь ногой, абсолютно необходимо для выживания человечества в следующем веке. Возможно, что форма, в которой она возникает, и принцип отбора домов, в которые она врывается, далеко не идеальны. Эта полиция — пока что просто группа вооружившихся «джентльменов» с более развитым правосознанием, чем у «плебейской массы». Они неизбежно руководствуются не только правом, но и своими «классовыми» интересами и предрассудками. Милошевича они избрали для первого примерного наказания отнюдь не потому, что он — самый страшный тиран, а потому, что сербы живут рядом с респектабельными соседями, которые не желают терпеть у себя в квартале хулиганского поведения. А когда во много раз более страшные вещи происходят не в богатой и респектабельной Европе, а в «плебейских кварталах» (Россия с Чечней, Турция с курдами) или вообще — в негритянском гетто (хуту и тутси), «джентльмены» как-то не очень волнуются. В акции НАТО поэтому, наряду с безусловно «положительными моментами», есть и очень опасные аспекты. И уроки, которые мы должны извлечь из нашего косовского провала, это отнюдь не «никогда не иди против НАТО». Это — совсем другие уроки.

Во-первых — «если нет решимости драться, попусту не грозись». Возражать против натовской акции вполне было можно, но закидывать яйцами американское посольство уже и непристойно, и излишне. А посылать в Адриатическое море корабли (интересно, что они сейчас там делают?) просто нелепо. Если у тебя есть готовность идти на

жертвы, угроза войны может быть очень эффективной. Но если всему миру ясно, что ни на какие жертвы ты ни в коем случае не пойдешь — не срамись зря. И не подстрекай других, которые в трудном положении и готовы обмануться твоим грозным видом.

Во-вторых, «сначала узнай, как обстоят дела, подумай, а потом делай». К сожалению, «средний», да и не только «средний» русский, безоговорочно осудивший НАТО, имеет самые смутные представления и о мотивах натовских действий, и о природе косовской проблемы, и о Югославии. Более полным представлениям взяться просто неоткуда, ибо наши СМИ на протяжении всего кризиса никакой серьезной информации не давали, в основном выражая свои разнообразные эмоции. А всякого рода аналитики, как всегда в подобных ситуациях, поставляли именно такие «анализы», какие было приятно читать заказчикам.

Доминирующая антизападная волна породила такую конформистскую атмосферу, что какие-либо звучащие диссонансом голоса в прессу и на экраны телевизоров практически не пробивались. Но такой тотальный самообман неизбежно ведет к тотальному провалу.

Это самые элементарные уроки. И теоретически их можно было бы вынести уже из нашего поражения в Чечне, где мы также ввязались в войну с самыми смутными представлениями о том, что в ней происходит, и не имея решимости идти до конца. И каждый из нас вроде бы знает эти нехитрые житейские правила и в той или иной степени пытается следовать им в своей личной жизни. Но косовский кризис еще раз показал, что общество в целом очень часто бывает значительное глупее и примитивнее, чем составляющие его индивиды.

ЭЛИТА ТЯГОТИТСЯ СВОИМ ЛИДЕРОМ

Но она даст ему уйти спокойно[1]

Возможность расхождения интересов правящего класса и стремлений его вождя заложена в самой природе нашего политического режима. Авторитарная власть «безальтернативного» президента, который плоть от плоти правящего класса, была необходима нашей элите — это обеспечило возможность проведения обогащающих ее, но разоряющих народ экономических реформ. Однако в авторитаризме есть и другая сторона.

Авторитарный лидер «по определению» ни перед кем не отчитывается и приближает тех, кого хочет, нравятся они элите или нет. С этого начинается постепенное дистанцирование правящего сословия и верховной власти. Обычно оно становится все более заметным в конце авторитарных правлений, когда правитель уже выполнил свою роль — подавил противников элиты, укротил народ, создал для правящих слоев возможность более спокойной и свободной жизни, но продолжает и в новых условиях править по-старому, как привык.

Так было на каждом этапе развития советской элиты. В конце сталинской эпохи, когда партийная номенклатура, пришедшая к власти в результате сталинского террора, уже сама устала от него, а Сталин хотел все новой крови. В конце хрущевского правления, когда эта номенклатура устала от «реформ» и «волюнтаризьма». В конце брежневского «застоя», когда она мечтала уже вообще избавиться от партдисциплины и жить не хуже западной

---

[1] «Общая газета», 01.07.1999.

элиты. В модифицированной форме это повторяется и сегодня.

Противоречие стремлений элиты и президента четко выявилось уже в момент отставки Черномырдина, служившей исключительно самоутверждению стареющего вождя и нарушившей более или менее спокойное, удовлетворяющее правящий класс течение жизни. Но отставка Примакова и устроенная «семьей» вакханалия вокруг распределения постов-«кормушек» довели это противоречие до еще более высокой отметки. Стало ясно, что эволюция стремлений президента и его близких и эволюция стремлений элиты идут в прямо противоположных направлениях.

Колоссальная популярность Примакова безусловно не случайна, и очень многое говорит о доминирующих сейчас настроениях. Примаков и своими манерами, и своей карьерой олицетворял позднесоветскую респектабельность и связь теперешнего времени и теперешних верхов с брежневской эпохой. Всем своим видом он показывал, что революционная «смута» с ее выскочками и демагогами кончилась, и раз у власти — такие люди, все в порядке, мир не перевернулся и Россия остается Россией. Именно такой премьер и такой президент нужны большинству правящего класса, уже получившему все, что можно, от «демократии» и приватизации.

Как в свое время Брежнев смог сплотить и основную массу номенклатуры, «твердо стоящую на позициях XX и XXII съездов КПСС», и ее брюзжащую часть, недовольную «оплёвыванием» Сталина, так и Примаков в какой-то степени преодолел раскол на «демократов» и «коммуно-патриотов». В громадной мере он удовлетворял бы и теперешние стремления народа, который тоже от всего

устал и хочет одного — чтобы платили хоть какую-нибудь зарплату, — уступка, которую сейчас, во имя стабильности, можно народу сделать и которую Примаков народу обещал.

Но президент перечеркнул эту радужную перспективу. Как для Сталина править значило кого-то расстреливать, а для Хрущева — что-то «реформировать», так для Ельцина это значит кого-то снимать и кого-то назначать. И чем более неожиданно для всех он кого-то снимает и назначает, тем ему приятней — тем больше он ощущает себя живым, деятельным, правящим.

Если элите все более хочется стабильности и покоя, то президент и его окружение, наоборот, все более приходят в состояние нервное и беспокойное. И это также напрямую связано с природой нашей теперешней политической и социальной системы. Бесконтрольная власть президента при капиталистической или «полукапиталистической» экономике — это, помимо всего прочего, возможность бесконтрольного обогащения его и его семьи в масштабах, которые не снились правителям советской эпохи. В этом наша президентская власть ближе не к своим советским предшественникам, а к авторитарным режимам «полукапиталистических» стран третьего мира — Маркоса, Сухарто, Мобуту и т. д. Но это значит, что неизбежный конец практически неминуемо означает для семьи катастрофу. Реакция же людей, ощущающих неумолимое приближение катастрофы, обычно включает два компонента. Во-первых, это — стремление оттянуть неизбежное любой ценой. Во-вторых, попытки извлечь максимум из оставшихся возможностей. При этом чем ближе конец, тем иррациональней и причудливей становится деятельность обуреваемых страхом людей.

В мемуарах Коржакова рассказывается, как Наина Иосифовна, переезжая в апартаменты Горбачёвых, больше всего боялась, что Раиса Максимовна заберет новую мебель, оставив вместо нее свою старую, и, несмотря на все возражения, была уверена, что та именно так и поступила. Можно представить себе, что творится в семье сейчас, когда приближается Великий Переезд.

Стремление до предела использовать оставшееся время видно в недавнем распределении министерских постов, в появлении гротескной фигуры первого вице-премьера и чисто фольклорной фигуры «кассира Абрамовича». Стремление во что бы то ни стало не уходить — в разных планах объединения с Белоруссией, которое теоретически может позволить Ельцину не только не уйти, но, обманув судьбу, стать президентом даже более крупного государства. Типично ельцинская акция с вводом в Приштину нашего батальона, так напоминающая по авантюрно-обманному стилю начало войны в Чечне, показывает, сколь далеко может завести истерическое состояние, охватывающее «верховную власть».

Что думает президент и его близкие, не ведает никто, а что они будут думать завтра, не ведают и они сами. Но одно ясно: чувствующий приближение конца и мечущийся «патриарх» уже не только не нужен правящему слою, но и прямо для него опасен, как он становится опасен для всех, даже для «мирового сообщества». Все от «патриарха» устали. Но похоже, что делать никто ничего не будет. Обсуждаемые в интеллигентских салонах и различных СМИ сценарии переворотов, путчей, введения чрезвычайного положения — всего лишь обычные для нашего травмированного сознания химеры.

Чтобы что-то предпринять, нужно идти на риск. Но готовность идти на риск, способность преодолеть естественный страх чужды нашей карьерной номенклатурной элите, лишь однажды свергнувшей своего вождя — Хрущева. Никакой идеологии, никаких серьезных ценностей, которые могли бы помочь преодолеть страх, у нее нет. Не случайно она «проглотила» совершенно спокойно даже изгнание Примакова. Наши депутаты, когда президент отстранил их любимца, утерли плевок и не только не вывели народ на улицы, как обещал Зюганов, но и не проголосовали за импичмент, не провалили кандидатуру Степашина. Постепенно «рассасывается» и обязательно «рассосется» и скандал со Скуратовым. Дальше, очевидно, наша элита будет возмущаться (раньше возмущались на кухнях, теперь — в печати и по телевидению) или агитировать президента уйти «по-хорошему», как это делает Кириенко, но реально ничего «серьезного» делать не станет, ожидая завершения естественного, биологического процесса, как ждала в свое время аналогичного завершения сталинская элита.

Потом она все равно свое возьмет.

МЕСТО РАЗВЕДЧИКА — ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

У Евгения Примакова есть шанс помочь всем[1]

Евгений Примаков вернулся после лечения из Швейцарии и приступил к исполнению роли сфинкса, в молчащие уста которого завороженно смотрит вся политически обеспокоенная Россия. Почти никто не верит, что подлечив-

[1] «Общая газета», 08.07.1999.

шийся академик потратит остаток своих дней на писание книг. Так бесхозяйственно распорядиться капиталом своей популярности — возможно ли это для умного политика? Проще допустить, что стоическое молчание — необходимое условие примаковских приготовлений.

Если образ политика соответствует глубоким стремлениям широких масс, если у них возникает «любовь» к нему, то дальше этот политик может довольно долго уже ничего особенного не делать — чувства людей обладают определенным запасом инерции. Не суетящийся, не дающий интервью и даже еще ни разу не говоривший открыто о своих «президентских амбициях» Примаков по всем рейтингам продолжает опережать потенциальных кандидатов. Его полюбили, ибо он всем своим существом идеально воплощает доминирующее сейчас настроение, которое условно можно назвать «умеренной реакцией».

Чрезмерно негативное отношение к слову «реакция» так же неверно, как и чрезмерно позитивное отношение к слову «революция». В той или иной форме реакция должна следовать за революцией, как зима за летом или ночь за днем. И прогресс так же не осуществляется революциями, как и не отбрасывается назад реакциями на них. Все европейские, да и не только европейские, посткоммунистические страны уже прошли через реакции на свои «бархатные» и не такие уж «бархатные» революции, вернув к власти «перестроившуюся» бюрократию когда-то тоталитарных партий. Это не только не ликвидировало демократические завоевания, но, напротив, укрепило их. Сейчас эти страны находятся уже в следующей фазе — «реакции на реакцию», сопровождающейся возвращением тоже «перестроившихся» и поумневших за время пребывания в

оппозиции демократов. Но российский путь, как всегда, особый.

В отличие от своих партийных аналогов в других странах, зюгановская КПРФ — это псевдореволюционная (или псевдоконтрреволюционная) оппозиция, которая не способна прийти к власти. Наличие оппозиции, даже в такой форме, как КПРФ, — одно из наших важнейших достижений, в какой-то мере КПРФ все же ограничивает произвол властей и своим бытием поддерживает демократический процесс. Поэтому запрет КПРФ означал бы просто ликвидацию последних неформальных элементов нашей демократии. Но оппозиция, которая не может прийти к власти (и не пускает на свое место тех, кто смог бы) — это объективно опора власти, которая, зная, что альтернативы ей нет, может коррумпироваться спокойно и без особых волнений. КПРФ, увы, главная опора ельцинского режима, мощное бревно, лежащее на пути нашего демократического развития.

Если во второй тур в 2000 г. снова проходит Зюганов, все остается по-прежнему. Как девушку может обидеть каждый, так и у Зюганова выиграет любой кандидат от «партии власти». В результате восстановится ельцинский режим без Ельцина, а с каким-то другим президентом, другой «семьей» и другим «кассиром Абрамовичем». Однако сейчас существует и иная возможность. Последовательно уничтожив всех своих потенциальных преемников, Ельцин объективно открыл путь для неожиданных комбинаций, создал определенный «зазор», в котором развитие страны может пойти «незапрограммированным» и более демократическим путем. Одна из таких комбинаций — отказ КПРФ от претензий на президентский пост и под-

держка коммунистами кандидатуры Примакова. По некоторым данным, такая комбинация обсуждается «заинтересованными сторонами» — разумеется, в режиме строгой секретности, что совершенно естественно для подобного рода переговоров.

Что означала бы поддержка Примакова для КПРФ? Я думаю, умные коммунисты (несомненно, есть и такие) понимают, что оппозиция, не способная прийти к власти, в конце концов становится никому (кроме Ельцина или будущего Ельцина II) не нужной и обречена на умирание. Завоевать какие-то властные позиции она может лишь в одном случае — в составе коалиции, во главе которой стоит фигура, не вызывающая в обществе чрезмерных страхов — явно не коммунист, не фашист и не потенциальный диктатор. Кто бы это мог быть?

Теоретически такую роль в свое время мог сыграть Явлинский. Но лидер «Яблока» — плоть от плоти «разночинной» демократической интеллигенции, отдельные представители которой были вынесены наверх «революционной волной», вызванной Горбачёвым. Для вожаков КПРФ, представляющих собой в основном старую партийную бюрократию, пойти «под Явлинского» было бы психологически очень трудно, как и ему — пойти к ним и к их электорату. Это мог бы быть и Лужков, чей брак с КПРФ многие считали чуть ли не свершившимся. Однако в последние месяцы столичный мэр сказал о коммунистах так много недружелюбных слов, что их пакт уже вряд ли возможен.

Примаков же подходит для этой роли идеально. Между пожилым ученым-разведчиком, даже своим внешним видом и манерами напоминающим о «старом добром брежневском времени», и коммунистами не может быть такого

психологического отторжения, как между ними и Явлинским. Более того, уже есть опыт участия коммунистов в правительстве Примакова — «правительстве народного доверия», отставленном «антинародным режимом». И наконец, ясно, что Примаков к единоличному правлению ельцинского типа не перейдет и на второй срок баллотироваться не будет. Коммунисты могут «пойти под Примакова», не потеряв лица, избежав слишком уж больших противоречий в партии и слишком уж большого риска.

Правда, в конечном счете КПРФ все равно обречена — в составе правящей коалиции так же, как и в роли вечной оппозиции. Но коммунистическим лидерам должно быть не безразлично, кончить ли им свои карьеры в благородных должностях первых вице-премьеров или оставаться вечными неудачниками, пугалами, консолидирующими «антинародный режим». Для коммунистов «пойти под Примакова» — это, может быть, последний шанс сделать нормальные карьеры и стать «полуправящей» партией. Что же означает это для страны?

Не будучи поклонником Примакова (не говоря уже о КПРФ), я уверен, что никаких изменений к лучшему в случае победы такой коалиции в экономическом плане быть не может, а во внешнеполитическом плане возможны только ухудшения. Но никаких катастроф тоже не произойдет, а «долгосрочные плюсы», как мне кажется, могут значительно перевесить «краткосрочные минусы».

Победа такой коалиции означала бы, что наш народ впервые в своей истории действительно избрал демократическим путем верховную власть, а не просто подтвердил своим голосованием решение «Политбюро». Причем избрал такую власть, которая гарантированно не будет

ликвидировать демократические институты. Кроме того, это был бы способ мирной и относительно безболезненной нейтрализации КПРФ, которая, переместившись во власть, потеряет протестный электорат, свое лицо и свою функцию.

Такое перемещение КПРФ означало бы также освобождение «оппозиционного места» и переход наших «демократов» и части распадающейся в этом случае «партии власти» в оппозицию. Это, может быть, одно из самых положительных следствий возможной победы такого блока. Наши «демократы», допущенные в политику Горбачёвым, а затем восемь лет обретавшиеся в свите Ельцина, так и не научились бороться за власть демократическим путем, апеллировать к широким массам «простых» людей. В оппозиции им пришлось бы этому учиться, пришлось бы становиться демократами без кавычек. И как гипотетический примаковский блок стал бы зародышем более или менее нормальной демократической «левой», так в оппозиции возникла бы нормальная, массовая, способная побеждать на выборах «правая».

Одним словом, приход к власти коалиции Примакова с коммунистами был бы российским вариантом той первой ротации власти, которая уже давно произошла в других посткоммунистических странах, ознаменовав окончательное закрепление там демократических институтов. А это в конечном счете куда важнее для нашего развития, даже чисто экономического, чем темпы «экономических реформ», которые без реальной демократии обречены быть реформами, обогащающими никем не контролируемую «элиту», постепенно доворовывающую стратегические запасы, доставшиеся от СССР.

Наконец, последнее — чем такой вариант событий был бы для Примакова? Невозможно сказать, хочет ли Примаков стать президентом, ясно лишь, что страстного желания стать им во что бы то ни стало, любой ценой, у него нет. Но у него вполне может быть желание пойти на это для того, чтобы «красиво» завершить свой жизненный путь — не в статусе чиновника, более или менее честно служившего всем режимам, а человеком, пришедшим к власти вопреки решению начальства, по воле народа. И тем самым выполнить нужную стране миссию.

БЛУЖДАЮЩИЕ МОЛЕКУЛЫ СБЕГАЮТСЯ К ЦЕНТРУ

Тяга к объединению — российский феномен[1]

В преддверии выборов все отчетливее проступают две внешне противоположные, а на самом деле взаимосвязанные друг с другом тенденции политической жизни России.

Первая тенденция — ко все большей «атомизации», превращению нашего политического ландшафта в пространство, по которому свободно гуляют отдельные «молекулы», вступающие друг с другом в самые причудливые, легко возникающие и так же легко разрушающиеся комбинации. Ни про кого, кроме самых крайних радикалов вроде Нины Андреевой и Баркашова, нельзя сказать с уверенностью, что он не может вступить с кем-либо в союз или что он из этого союза не может выйти. Все идейные, партийные, блоковые и мафиозно-клановые лояльности у нас

---

[1] «Общая газета», 12.08.1999.

ослабли до предела, практически каждый политик может легко бросить («кинуть») кого угодно и объединиться с кем угодно, без каких-либо идейных мук или моральных терзаний.

Другая тенденция — это, наоборот, тенденция к объединению «всех здоровых сил». На «центристской», естественно, платформе. «Центризм» — любимое слово наших политиков, теперь у нас — не «правые», а «правоцентристы», не левые, а «левоцентристы». Наиболее сильные центры притяжения наших «блуждающих молекул» — Примаков и Лужков. Объединиться с ними готовы все «здоровые силы» — и коммунисты, и социалисты, и монархисты, и губернаторы (как «мусульмане», так и «православные»), и даже «Яблоко». При этом чем затейливее траектория движения данной политической «молекулы», чем чаще она меняла свою идеологическую и политическую ориентацию в соответствии с изменениями линии «партии власти», тем сильнее влечет ее к этому центру.

Откуда эти две тенденции, каковы их корни? Обе они — современные российские модификации общемировых процессов.

Исчезновение четких, структурированных идеологий идет во всем мире. Но Россия здесь во многом отличается от других стран. Прежде всего неразберихой в определении того, где «лево» и где «право», что есть национальная традиция и что — модернизм и интернационализм. (Только у нас православный коммунист или демократ, поклоняющийся Пиночету, — фигуры нормальные.) Во-вторых, особенно тесной связью деидеологизации с аморальностью. В условиях многолетнего господства идеологии, в которую давно никто не верил, понятия «правда», «ложь»,

«убеждения» практически утратили свое значение. Последующий легкий переход к демократии и приватизации значение этих понятий никак не укрепил. Поэтому говорить об убеждениях наших политиков очень сложно. Они даже не врут — это слово не подходит, ибо подразумевает, что где-то внутри у человека есть некая «правда», которую он скрывает ложью. У них есть какие-то эклектические комбинации идей (немножко патриотизма, немножко демократии, рыночности, социализма и вообще всего чего угодно), и в зависимости от ситуации они могут даже как бы и искренне говорить то одно, то другое, объединяясь по обстоятельствам то с тем, то с этим. Последнее наше более или менее серьезное идеологическое размежевание — на коммунистов и демократов — рассыпается на глазах и поддерживается в громадной мере искусственно. Коммунисты уже готовы вступить в союз с кем угодно из серьезных претендентов на кремлевский престол, но те, похоже, их не возьмут, справедливо полагая, что задача серьезного претендента — выйти во второй тур вместе с Зюгановым (лучшего соперника придумать нельзя).

«Центризм» — тоже модификация всемирного процесса. Деидеологизация означает «прагматизацию» политики, объективное сближение левых и правых, консерваторов и лейбористов, христианских демократов и социал-демократов. Но и здесь есть наша специфика. На Западе, как бы ни прагматизировались программы, какими бы идеологически неопределенными и объективно близкими друг к другу ни становились противостоящие друг другу партии, на каждых выборах все «разбегаются» направо и налево и всячески стараются подчеркнуть свои различия. Ибо в этом — суть выборов. У нас же, наоборот, в преддверии выборов

все стремятся подчеркнуть не различия, а сходства. И даже обвиняют президента, что он пытается столкнуть их лбами.

Откуда эта тенденция? Против кого объединяются «здоровые силы»? Разумеется, не против экстремистов-маргиналов, которые слишком слабы, чтобы выполнить роль консолидирующей угрозы. Это и не объединение против президента и его «семьи» — против Ельцина имело смысл «дружить» в 1996 г., но не за год до его ухода. Я думаю, что понять теперешнюю тягу к «центристскому» объединению можно, лишь учитывая психологию политической элиты, прошедшей через школу КПСС и выработавшей там определенные привычки и черты характера. В КПСС были свои группировки, к которым примыкали и затем оставляли их отдельные делающие карьеру «молекулы», сознание которых уже тогда было приблизительно таким же «деидеологизированным», как и сейчас, были даже свои вроде бы «либералы» и свои вроде бы «консерваторы», было ритуальное списывание грехов на предшествующего генсека. Но чего в КПСС не было, так это выборов. К выборам, к постоянной мысли об избирателях, а не о начальстве, наша элита не привыкла и психологически не приспособлена. Кроме того, в наших «постприватизационных» условиях, когда почти любого политика можно посадить, не нарушая законы и ничего не подтасовывая, реальные, непредсказуемые выборы — очень большой риск, значительно больший, чем любая карьерная неудача в КПСС. Поэтому серия действительно альтернативных выборов неизбежно повлекла бы за собой значительную смену нашей элиты. И поэтому же глубокий инстинкт подсказывает политикам, что выборы надо максимально выхолостить,

представ перед избирателями единым блоком «всех здоровых сил», которому «нет реальной альтернативы».

Наша элита понимает, что совсем без выборов сейчас никак нельзя, но она хочет иметь все преимущества демократической легитимизации, не испытывая риска выборов, — так же, как хочет иметь все преимущества частной собственности, не испытывая рисков рынка. Ее идеал — демократически, но безальтернативно выбранная власть, не дающая обанкротиться связанным с ней частным предпринимателям.

Получится ли это у нашей элиты? Две силы мешают ей. Во-первых, так и не определившийся с преемником президент и его «семья», интересы которых разошлись с интересами элиты и которым в некотором роде уже нечего терять, и они (совершенно независимо от своих мотивов) сейчас объективно способствуют сохранению неопределенности и реальной альтернативности. Но с ними, наверное, как-то можно договориться, и, кроме того, как бы они ни сосредотачивали в своих руках деньги и СМИ, у президента, который все равно скоро уйдет и который в любом случае обречен стать козлом отпущения (я просто слышу фразу его преемника: «Сейчас, слава богу, не ельцинские времена»), реальных ресурсов все равно немного. Во-вторых, мешают коммунисты, которым будет уже очень трудно снова выполнить роль, которую они так прекрасно исполнили в 1996 г. и которую они выполнять больше не хотят. Но коммунистов, если их категорически ни в какие центристские блоки не брать и как-то поднакачать, можно заставить.

Однако самый главный ресурс российской элиты — наш народ. Он также боится реальных альтернативных выборов, поскольку привык бояться самого себя и не очень верит в то, что верховную власть действительно можно

выбрать. Он хочет прежде всего стабильности, и поэтому слово «центризм» ласкает его слух. Таким образом, все может получиться. И все вернется на круги своя. Будет новый президент с новой «семьей». Вокруг него будет идти грызня и возобновится броуновское движение «молекул». Будет и дальше идти приватизация недоприватизированного, а кое-что и переприватизируют.

Наша элита в силу своей крайней безыдейности и аморальности смогла великолепно справиться с задачей почти бескровного разрушения КПСС и СССР (найдись в ней хотя бы сто человек, действительно готовых на жертвы во имя чего бы то ни было, мы бы прошли через кровавую гражданскую войну). Но по тем же самым причинам строительство нового российского государства у нее никак не получается — нельзя ничего построить, не имея никаких идей и никаких планов, выходящих за пределы личной жизни, думая только о своей сиюминутной выгоде. Поэтому без глубоких изменений в элите, которые может произвести только серия реально альтернативных выборов и ротаций власти, наша страна будет и дальше погружаться туда, куда она погружается.

РОССИЯ КАК ИЗРАИЛЬ, ЧЕЧЕНЦЫ КАК ПАЛЕСТИНЦЫ

Осталось только соответственно себя вести[1]

Есть что-то жутковатое в том, что именно Россия, преемница СССР, страны, которая поддерживала ООП даже в период самого бесчеловечного палестинского террора,

[1] «Общая газета», 17.10.1999.

когда террористы-смертники убивали не израильских солдат, а женщин и детей, участников мюнхенской Олимпиады, вообще всех евреев, кого могли, — сама оказалась жертвой точно такого же террора.

Те, кто взрывал дома в Буйнакске, Москве и Волгодонске, и по методам и по психологическому типу — копия подрывников ООП, «Черного сентября» и затем — «Хамаса». Это тоже «отморозки» разных национальностей (среди палестинских террористов были и японцы, и латиноамериканцы), но при доминировании представителей одной национальности, с делом которой они себя отождествили. У них — тоже не совсем ясные отношения с официальными представителями этих национальностей. Ясир Арафат, глава ООП, вроде бы дистанцировался от крайних террористических групп, но никто не мог сказать, в какой мере это дистанцирование было искренним, и насколько они в действительности действовали без его одобрения и согласия. Но то, что он их «понимал» и «сочувствовал» убийцам, вызывавшим во всем мире омерзение и ужас, — факт. Масхадов, по-видимому, значительно меньше связан с террористами, чем Арафат, но ясно, что и для него Шамиль Басаев, может быть, заблуждающийся, но «свой», и положить конец его деятельности ему еще труднее, чем Арафату — положить конец деятельности «Хамаса».

Чеченские и палестинские «отморозки» не только схожи, но в значительной мере и связаны между собой, представляют собой единую сеть, которая питается идеями мусульманского фундаментализма, как во время зарождения ООП питалась «революционными» и «национально-освободительными» идеями. Люди типа Хаттаба — интернациональные «воины Аллаха», которые сейчас в Афганистане,

завтра — в Чечне и Дагестане, а послезавтра могут оказаться в Ливане, как в свое время профессиональные революционеры готовы были сражаться всюду, где «пролетариат поднимался на борьбу за свое освобождение». Но «фундаменталистский интернационал» сам по себе ничего не может, как не мог и коммунистический. Для того чтобы семена террора «принялись» и дали ростки, нужна благодатная почва. И здесь мы приходим к самому важному сходству палестинско-«хамасовского» и чеченско-«ваххабитского» террора. Сходство форм — это сходство симптомов одной и той же страшной болезни. Всякие хаттабы и бен ладены — это микробы, которые «носятся в воздухе» и всегда готовы овладеть ослабевшим организмом, склонным к этой болезни. Но главное — сама эта склонность, то, что и Чечня, и Палестина стали идеальной средой для микробов терроризма.

Что же общего у очень разных народов — палестинцев в 60—80-е гг. и чеченцев в 90-е? Я думаю, это ощущение колоссальной несправедливости, которую они перенесли и до которой никому нет дела, чувство полной безнадежности и отсюда — озлобленность на весь мир, готовность бросить ему вызов, поправ все божеские и человеческие законы. Когда такое мироощущение возникает у большинства народа, неизбежно появляются полпроцента, готовые перейти от слов к делу, от проклятий к убийствам. И неизбежно к ним прилетают всякие хаттабы, бен ладены и псевдолайпановы, привлекаемые таким мироощущением, как насекомые запахами.

«Приличный» и «респектабельный», богатый и сильный мир, очень искренне переживавший гитлеровский геноцид и исполненный чувства вины перед евреями, был очень

рад частично искупить свою вину за счет абсолютно не виновных в гитлеровском геноциде палестинцев, передав евреям половину Палестины. При этом у палестинцев никто ничего не спрашивал, их мнением никто не интересовался. И они никому ничего объяснить не могли — их никто не слушал, у них не было, как у евреев, великих писателей, музыкантов и ученых, не было достаточно культурных людей, которые могли бы как-то противостоять сионистской пропаганде. Они пытались сопротивляться, но чем больше сопротивлялись, тем больше теряли. А чем больше они теряли, тем более отчаянные и зверские формы принимало их сопротивление. Но в результате этого они еще больше становились изгоями и париями. И палестинцы, и израильтяне попали в порочный круг. Каждая израильская победа приносила новый всплеск палестинского терроризма, который самим палестинцам ничего не давал, лишь усиливая их отверженность.

Совершенно то же ощущение покинутости всем миром, безнадежности и отчаяния — у чеченцев. Так же, как палестинец не мог понять, за какую провинность у него забирают землю, почему никто в цивилизованном мире не сочувствует ему, так и чеченец не может понять, почему его народ, бесконечно воевавший с Россией за свою независимость и испытавший ужас сталинской депортации, не имеет права на независимость. На такую же независимость, которую белорусы, например, получили не только без борьбы, но и в значительной мере — против своего желания. Он не может понять, почему «просвещенный Запад», так болезненно и бурно реагировавший на сербские преступления в Боснии и Косове, с олимпийским спокойствием смотрел на российские зверства в Чечне. Он не может

понять, почему после окончания войны и достижения фактической независимости на нищую и разбомбленную Чечню стало всем окончательно и откровенно наплевать. Почему, если в Чечне происходят убийства и похищения людей, все кричат, что чеченская власть не контролирует свою территорию и с чеченцами дела иметь нельзя, но при убийствах в относительно сытой и совсем не разбомбленной России никто не говорит, что Ельцин не контролирует Россию. Чеченцы — не самый просвещенный народ на свете, и говорить с ними о тонкостях международного права почти так же бессмысленно, как с палестинцами — об истории евреев и сионизма. Они просто знают: мир живет двойной моралью, чеченцы — изгои, и за их жизнь и права никто в мире, кроме Бен Ладена, не даст ломаного гроша. А когда так начинает думать весь народ, всегда появляются полпроцента, готовых к зверскому террору.

Сказанное выше ни в коей мере не оправдание палестинских и чеченских террористов, как описание условий, приведших к болезни, — не «оправдание» болезни. Но это означает, что и палестинский, и чеченский, и любой иной терроризм, имеющий глубокие корни в психологии народов, «загнанных в угол», ощущающих себя «одинокими волками», нельзя излечить, не изменив порождающих его условий. Можно и нужно преследовать и уничтожать террористов, но если условия не изменятся, на место погибших будут вставать новые.

У израильтян было, пожалуй, больше оснований не идти ни на какие компромиссы с палестинцами, чем у нас — с чеченцами. Чеченцы хотят всего лишь независимости и признания этой независимости. Палестинцы же хотели ни больше ни меньше, чем уничтожения государства

Израиль и изгнания или уничтожения всех израильтян. И земля, с которой они хотели их изгнать, — это священная для иудеев земля, о которой они мечтали почти две тысячи лет, а не окраинная провинция, некогда завоеванная Россией и населенная чужим и малоприятным для русских народом. Но в конце концов Израиль понял, что до бесконечности игнорировать и подавлять палестинцев нельзя, что палестинцы — тоже люди, и как ни труден компромисс с ними, он возможен. Для Ицхака Рабина пожать руку Арафата, обагренную кровью мирных еврейских граждан, было психологически бесконечно трудно, это даже стоило ему жизни (не от руки палестинца, а от руки еврея). Да и для Арафата это было опасно и, может быть, тоже противно. Но и евреи, и палестинцы в массе своей поняли, что никакого другого пути к миру нет.

То же самое и у нас с Чечней. Террористы, устроившие взрывы в Москве, Буйнакске и Волгодонске, естественно, заслуживают кары. Но в озверении чеченского меньшинства, в появлении обезумевшего «полупроцента» и, соответственно, во взрывах, унесших жизни наших сограждан, виновата и наша власть, бессмысленно и бессовестно загонявшая и загоняющая Чечню в угол. Может быть, бесконечное сидение Масхадова у телефона — в ожидании звонка из Москвы, нежелание Ельцина принять чеченского президента и убедили группу людей, стоящих на грани преступления, что ничего хорошего они все равно не дождутся и надо убивать.

Если мы хотим исцеления (и нас, и чеченцев), то нам надо понять то же, что поняли израильтяне, — войной, поиском марионеток, никого не представляющих, контртеррором ничего не сделаешь. Что загонять и дальше чеченцев

в угол не только недопустимо с моральной точки зрения, но и опасно, что говорить с Масхадовым необходимо, что нормальное жизнеспособное чеченское государство одинаково нужно и чеченцам, и нам, и что в конечном счете признание чеченской независимости неизбежно. Но для осознания и признания этого от руководителей России нужно значительно больше мужества, чем для начала новой чеченской войны. На войну эти руководители все равно не пойдут и детей не пустят, так что сами они ничем особенным при этом не рискуют (если будет поражение, всегда найдется, на кого его списать). А вот сказав и сделав нечто, противоречащее всему общественному или «элитарному» мнению, они могут погубить карьеру. Люди типа Рабина или Барака, сами не раз смотревшие в лицо смерти, доказавшие на деле, что они готовы отдать жизнь за родину, оказались способны на это. Но ни наш президент, ни наш премьер, хотя он и «силовик», насколько нам известно, жизнью за свое отечество никогда не рисковали. И очень непохоже, чтобы они отважились на реальные поиски мира.

ПОБЕДА МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ ПОРАЖЕНИЯ

В качестве военного трофея Россия получит бомбу[1]

Началась новая чеченская война. Вряд ли можно сомневаться, что она будет трудной и кровопролитной. Чеченское общество, разобщенное и дезорганизованное в мирное время, обладает поразительной способностью сплачиваться для борьбы с внешним врагом, когда соперничество

[1] «Общая газета», 21.10.1999.

«всех со всеми» замещается состязанием в воинской доблести. Я думаю, что после нового российского вторжения Аслан Масхадов смог даже облегченно вздохнуть — ситуация снова стала для него понятной, создавать государство и править им у него не очень-то получается, а воевать он умеет. И его соперники, другие полевые командиры, считающие, что они ничуть не хуже Масхадова и не обязаны ему подчиняться, становятся его товарищами по оружию. Умереть в бою с вечным врагом, борьба с которым составляет содержание всей письменной чеченской истории, попасть в рай и фольклорный круг героев, с которых «будут делать жизнь» следующие поколения чеченцев, для них значительно легче и проще, чем создавать упорядоченное государство. Поэтому загнанные в угол чеченцы, несомненно, будут вновь сопротивляться до последнего.

Однако дело не в трудностях и жертвах войны. Дело в другом. Думая о войне, боясь потерь, надеясь на победы, жалея наших солдат (а иногда и чеченцев), мы совершенно не думаем о самом важном — о том, что может нам дать победа и в чем она вообще может заключаться.

Любая победа над Чечней будет временной. Уничтожить чеченцев или выселить их за пределы Чечни Россия не сможет — и мы слабее (а возможно, и добрее), чем при царе или при Сталине, и мир не тот. Интегрировать чеченцев в российское общество после всего, что было, сделать Чечню нормальным «субъектом федерации» уже нельзя в принципе. Мирное сосуществование русских и чеченцев в рамках одного государства, маловероятное, но все же возможное до 1994 г., практически не вероятное, но не до конца исключенное даже после 1996 г. (какое-нибудь «ас-

социированное членство» и «передача полномочий» были еще представимы), теперь, я думаю, исключено полностью.

Максимум, чего можно достичь, уничтожив очень много чеченцев и потеряв очень много своих, — установить в Чечне режим военной оккупации, что повлечет за собой значительную деформацию общероссийских институтов, фактический отказ от действующей Конституции и превращение России в «полицейско-криминальное» государство (шаги в этом направлении уже предпринимаются, и довольно успешно). Но даже такой ценой мы успокоим Чечню только на какое-то время. Если современные чеченцы воспитаны на памяти чеченского сопротивления прошлого века и сталинской депортации, то следующее поколение будет расти и на легендах об обороне Грозного, о подвигах Дудаева, Масхадова, Басаева и т. д. У этого поколения уже не будет никаких сомнений, что компромиссы и договоры с Россией невозможны.

Это делает практически неизбежным чеченский и мусульманско-фундаменталистский террор, а через некоторое время — новое чеченское восстание, которое произойдет в условиях, более благоприятных для чеченцев (Шамиль в прошлом веке не мог взрывать бомбы в Москве и Петербурге, сейчас это довольно просто, через двадцать лет будет еще проще; численное соотношение между чеченцами и русскими будет меняться в пользу чеченцев; международная ситуация и соотношение сил на мировой арене меняются так, что каждое следующее покорение Чечни будет труднее предыдущего). Конец при этом будет все равно тот же — Чечня вне России. Только заплатить придется неизмеримо больше. Поэтому покорение Чечни не только трудно, но и не нужно ни русскому народу, ни российскому

государству. Это та победа, которая может оказаться хуже поражения. Покоренная Чечня — нечто вроде добытой в бою и гордо доставленной домой в виде трофея бомбы с часовым механизмом.

Что же нужно России в Чечне и от Чечни? Если оставить в стороне всякие иррациональные психологические факторы, действующие и на русских, и на чеченцев (недоверие, желание отомстить и показать, что ты силен и грозен, чисто инстинктивное нежелание отдавать что-либо «свое», даже если обладание им ничего, кроме бед, тебе не сулит и т. д.), если исходить из чисто рациональных интересов, причем не интересов российских и чеченских властно-криминальных кланов, а интересов наций — и русским, и чеченцам нужно одно и то же. Русским нужно «избавиться от Чечни» как дестабилизирующего и криминогенного фактора. Чеченцы, включая и большинство «пророссийской» оппозиции, мечтают о том же — избавиться от России, которая навечно соединена в чеченском сознании с истребительной войной прошлого века, с депортацией в Казахстан, а теперь еще — с двумя «ельцинскими» войнами. Народам с такой «общей судьбой», с таким опытом сосуществования разойтись необходимо, их совместная жизнь не просто трудна и мучительна для обоих — она уже просто немыслима.

Правда, для того чтобы действительно разойтись, необходимо создание упорядоченного, жизнеспособного и мирного чеченского государства, что для чеченцев, народа, не знавшего «настоящей» государственной традиции, не имевшего мощных исторических элит, разобщенного соперничеством тейпов и вирдов — задача очень сложная. Надо ли говорить, как усложнилась она за последние восемь лет?

Однако многие народы на начальных этапах своего независимого развития проходили через аналогичные периоды анархии и разгула криминалитета, но выходили из них и создавали нормальные жизнеспособные государства. И я не думаю, что создание дееспособной чеченской государственности — задача более трудная, чем, например, построение правового, а не «клептократического» государства российского. Обе эти задачи — трудны, хотя и разрешимы. И обе они — теснейшим образом взаимосвязаны.

Россия теоретически могла сделать очень многое, чтобы помочь чеченцам в деле государственного строительства. Прежде всего мы могли и должны были бы убедить их, что не хотим больше удерживать Чечню насильно, во что поверить чеченцам невероятно трудно. Можно было уважительным отношением укреплять авторитет признанной нами законной чеченской власти. Можно было помочь чеченцам ввести свое гражданство, упорядочив тем самым их положение в России. Можно было определить условия нашего окончательного признания чеченской независимости (демократическая конституция, отвечающие определенным стандартам армия и полиция, заключение подробного соглашения о двусторонних отношениях, проведение необходимых референдумов и т. д.). Можно было не мешать, а помогать Чечне устанавливать связи с внешним миром, что цивилизовывало бы чеченскую элиту и вводило бы Чечню в нормальную систему отношений. Все это — очень непросто и могло не дать быстрых эффектов. Но это единственно возможный путь решения чеченской проблемы.

Главная трудность этого пути — не пороки чеченского общества и не вполне понятная нелюбовь русских к чеченцам. Главная трудность — в том, что нашей правящей

«элите», единственной целью которой является самосохранение во власти, успокоившаяся и занятая строительством Чечня абсолютно не нужна.

Двусмысленное положение Чечни, дезорганизованность чеченского общества, наличие в нем экстремистских сил и несомненные связи этих сил с российскими спецслужбами и российскими криминальными миллиардерами (как всегда в таких случаях, каждая сторона думает, что она умно и ловко использует другую), предоставляют российской власти грандиозные возможности направлять события в Чечне и вокруг нее, а это значит — и в России в целом, в нужных ей направлениях, диктуемых меняющейся ситуацией и неизменным стремлением этой власти к самосохранению любой ценой.

Когда Ельцин решил, что победа над слабым противником и разыгрывание «имперской» карты нужны ему, чтобы взять верх над коммунистами, ему ничего не стоило начать войну. Когда война стала ненужной и даже вредной, президент позволил Лебедю ее прекратить, а затем, испугавшись, что мир будет связан в сознании народа с генералом, а не с ним, он сам заключил с Масхадовым договор о «вечном мире». Когда Ельцину потребовался преемник и он решил, что безопасность его семьи лучше гарантирует Путин, чем слишком мягкий Степашин, началась дагестанская война. Для организации ее надо было только чуть-чуть подтолкнуть вполне готовых к войне и не подчиняющихся Масхадову полевых командиров (предельную легкость такого подталкивания показывают телефонные разговоры Березовского с чеченцами), категорически отказаться от контактов с чеченским президентом и, может быть, вовремя отвести войска из Дагестана. Очень вероятно, что

когда-нибудь мы узнаем, почему чеченский (или «ваххабитский») террор так легко вспыхнул и так быстро сошел на нет — как будто он был нужен только для того, чтобы наш премьер произнес ряд «жестких» фраз, поднимающих рейтинг, начал войну и продемонстрировал несколько подозрительную эффективность чекистов.

Сейчас Путин для Ельцина — единственный «преемник», которого он не боится, а для премьера победа в Чечне — средство выиграть выборы 2000 г. и надолго закрепить специфическую роль этой республики как орудия, которое всегда под рукой и с помощью которого он в дальнейшем всегда может опрокинуть планы своих внутренних врагов, резко изменив ситуацию в стране. Поэтому война в Чечне началась и будет идти до нашего поражения или нашей победы, которая только усугубит слабость российского государства и поможет сохранить ельцинский режим без Ельцина.

Противоестественные на первый взгляд дружеские контакты людей из президентского окружения с чеченскими экстремистами и исламистами на самом деле совершенно естественны. Эти люди нужны друг другу, они союзники. А мы и чеченцы — заложники друг у друга и заложники у них.

ЧЕКИСТА ПОЗВАЛИ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

Путин как «новый Андропов»[1]

Решения, имеющие колоссальные исторические последствия, довольно часто бывают продиктованы очень мелкими личными и групповыми соображениями. Сейчас, мне думается, совершенно ясно, что «судьбоносный» план

[1] «Общая газета», 18.11.1999.

новой войны на Северном Кавказе принимался президентом и его близкими вместе с решением о замене «мягкого» Степашина «жестким» Путиным. Это было одно-единое решение, один план. И истинная цель его была одна — победа над, казалось, неудержимо идущим вперед и страшным для «семьи» примаковско-лужковским блоком.

Что могла противопоставить «семья» наступлению Примакова— Лужкова? Только нечто экстраординарное, путающее все карты, заставляющее людей забыть о президенте, об экономике, о скандалах с «отмытыми миллиардами», о замке в Германии, о счетах в Швейцарии и т. д. Только какой-то особенно сильный шок мог заставить народ полюбить доселе неизвестного человека, которого объявил своим преемником нелюбимый президент.

Роль Чечни в этом проекте «передачи власти» достаточно ясна. Нас сейчас интересует другое. Случайно ли, что для проведения чеченской операции и в качестве спасителя «семьи» был выбран человек из КГБ? Мне кажется, что не совсем случайно.

Любая профессия, любая профессиональная среда порождают свою субкультуру, свою систему ценностей, свою «идеологию». Профессия «кагэбэшника» — весьма специфическая, очень своеобразной должна быть и «субкультура» КГБ, судить о которой мы можем, разумеется, только по косвенным признакам.

Условия профессиональной деятельности требуют от работника спецслужбы навыков, характерных для профессиональной уголовщины, мафии (я пишу это отнюдь не для оскорбления кого бы то ни было, в моем понимании «мафиози» — не синоним слова «негодяи»). В самом деле, чем занимаются спецслужбы? Подслушивают, подсматри-

вают, запугивают, шантажируют, воруют и иногда — убивают, то есть тем же самым, что делают «мафиози». Это как бы мафия, поставленная на службу высшим государственным целям. При таком сходстве занятий не может не быть и некоторого сходства в психологии, в мировоззренческих установках. И в КГБ, и в других спецслужбах несомненно оказывались люди, которые только случайно не становились «мафиози», и, наоборот, в криминальном сообществе много людей, из которых вышли бы отменные чекисты. Это, между прочим, прекрасно видно по мемуарам Коржакова, где рассказывается, как парнишка из московской дворовой шпаны случайно оказывается в КГБ, что практически не отражается на его психологии и системе ценностей.

Спецслужбы всегда и всюду стремятся к тому, чтобы их влияние было как можно больше, а контроль за ними — как можно слабее, то есть хотят превратиться просто в мафию, самостоятельно устанавливающую себе цели и задачи. Это всеобщая черта спецслужб, постоянно и везде имеющих тенденцию к переходу грани, за которой начинается банальная уголовщина, лишенная каких-либо «высших» оправданий. Но очевидно, что в России в постсоветский период эта тенденция проявляется особенно сильно.

КГБ в нашей советской системе отнюдь не был самой реакционной частью государственного аппарата. Знающие подноготную партийной элиты и по долгу службы обязанные читать всякую антисоветчину и изучать Запад, чекисты не могли быть особо ортодоксальными коммунистами. И не случайно именно это ведомство породило две, правда, «абортивные», попытки советских реформ — бериевскую и андроповскую. Очевидно, что люди, выполняющие самую

грязную часть работы по охране режима, в идеологию которого они не верили, испытывали огромные психологические перегрузки. Подспудная тенденция к криминализации у них должна была быть особенно сильной, а защитные механизмы против полного морального распада — весьма своеобразными.

После гибели советской власти спецслужбы остались без строгого надзора и ясных ориентиров. С крахом официальной идеологии исчезли диссиденты, дематериализовался образ внешнего врага, а с организованной преступностью спецслужбам разрешили бороться, не трогая высокопоставленных «организаторов». В этих условиях они сами начинают искать себе цели и ставить задачи, спрятанная, подконтрольная «мафиозность» выходит на поверхность. Тот же Коржаков может спокойно, не оскорбляясь за свою профессию, выслушивать просьбы знакомого бизнесмена «убрать» его конкурента. Понятно, что для бизнесмена спецслужба — просто одна из мафий, и генерал госбезопасности даже не пытается его переубедить. Поэтому знаменитая фраза нашего премьера о «замачивании в сортире», фраза явно не подготовленная, вырвавшаяся из глубин души и показывающая, что в этой душе происходит, на каком языке премьер думает, совершенно не случайна в устах представителя постсоветской спецслужбы. Так не сказал бы ни армейский генерал, ни Андропов или Крючков, руководители КГБ советской эпохи.

Но тенденция к мафиозности не означает, что у работников спецслужб нет своей системы ценностей. Более того, у людей в такой сложной психологической и моральной ситуации должны быть какие-то очень сильные ценности, предохраняющие их от деградации личности.

Первая из таких ценностей — это, безусловно, профессионализм. В силу связанных с данной профессией моральных проблем эта ценность должна выходить на первый план и приобретать самодовлеющее значение. Вопрос о том, профессионально или нет, хорошо или плохо выполнено задание, должен быть более важен, чем вопрос о том, хорошо или плохо само задание. Путин, несомненно, профессионал и горд своими профессиональными успехами: ему было дано труднейшее, почти невыполнимое задание, он, не рассуждая, за него взялся и успешно выполняет.

Вторая по значимости ценность — «порядок». Не «закон и порядок», а просто «порядок». Отношение к закону у работника спецслужб скорее «ироническое». Его деятельность проходит в громадной мере вне рамок права, закон для него довольно часто — только помеха. Именно таково отношение к закону и у нашего премьера. Его явно не интересуют правовые аспекты чеченской операции — кто там легитимен, кто — нелегитимен, как соответствует Конституции операция в Чечне, какой договор заключали Ельцин и Масхадов... Если нужно — он выпускает из тюрьмы уголовника Гантамирова и вполне может сделать его главой марионеточного правительства. Но если идея законности может вызвать у премьера лишь усмешку, то идея дисциплины, порядка — нет. Путин подчеркнуто дисциплинирован, и его первая шуточная фраза в качестве премьера, обращенная к министрам, была: «Всем оставаться на местах».

Наряду с ценностями профессионализма и порядка, очевидно, должны быть и какие-то смутные ценности «патриотизма» и «государственности», которые недавно премьер и озвучил, сказав о патриотизме как основе национальной идеологии. При всей своей неопределенности идеи

«порядка» и «государственности» обладают большой эмоциональной силой. Многие работники КГБ, не очень-то верившие в догмы коммунистической идеологии, могли успокаивать свою совесть тем, что борясь с диссидентами, они борются с людьми, которые подрывают порядок и ослабляют государство.

Безусловно, только человек с такими ценностными ориентациями и профессиональными навыками мог с энтузиазмом взяться за решение поставленной президентом задачи — используя Чечню как инструмент, победить Примакова и Лужкова. К этому надо добавить, что кагэбэшный генезис и работа на посту главы ФСБ гарантируют Путину поддержку со стороны большой группы профессионалов, способных именно к той работе, какая выпала премьеру. Разумеется, ФСБ — не прежний КГБ. Борьба мафиозных кланов проникла и внутрь этой организации, одни чекисты готовились «мочить» Березовского, другие — перебегали к тому же Березовскому и готовились «мочить» кого-то другого. Множество классных специалистов ушли в бизнес, в охранные структуры и разные криминальные группировки. Но перспектива получить в президенты своего человека, а вместе с ним — и всякие важные должности, настолько лучезарна, что может сплотить всех и заставить их работать действительно не за страх, а за совесть.

Наконец, есть еще один важный нюанс, делающий кандидатуру работника КГБ—ФСБ такой удачной. Это — соответствие психологии и ценностных ориентаций премьера-чекиста ценностным ориентациям народа. Стремление к порядку при очень расплывчатом представлении о ценности закона, к порядку, персонифицированному в «сильном хозяине», — очень древняя и глубоко русская черта.

И хотя ничего слишком уж «сталинского» большинство нашего народа не хочет, но и от демократии и беспорядка все тоже устали. В некотором роде Путин — постсоветский Андропов, Андропов без остатков коммунистического идеализма и без глобальных, хотя бы и смутных, реформаторских планов.

Тем не менее у премьера, мне кажется, есть две слабости, которые также являются следствием его кагэбэшного происхождения и могут оказаться для него роковыми.

Неизвестно, почему «семья» решила, что Путин ее «спасет и сохранит». Основания для этого у нее, несомненно, были, но разве не понятно, что к любым обязательствам премьер может отнестись с той же иронией, с какой он относится ко множеству моральных и правовых догм? Никаких абсолютных гарантий, что Путин, придя к власти, не раздавит «семью», быть не может, а значит, жесткость и эффективность премьера способны внушить «семье» страх и сожаления о неприятном ей, но компромиссном и предсказуемом Примакове. Конечно, возможности президента и его ближних уже не те, что были, но убрать Путина и уничтожить его рейтинг «семья» еще вполне в силах.

Второй недостаток Путина — видимо, тоже специфически кагэбэшный. Профессионализм имеет свою оборотную сторону — «профессиональную ограниченность». Всякого, кто читал о разных операциях ЦРУ или хотя бы романы Ле-Карре, поражало несоответствие между интеллектуальными и материальными вложениями в какую-нибудь акцию и зачастую полная бессмысленность самой акции. Человеческий разум ограничен, и если для того, чтобы кого-нибудь «замочить», тратится так много ума и сил, то

ясно, что их уже не хватает на размышления о том, что будет после, для чего нужно и нужно ли вообще «мочить».

Подготовка к войне в Чечне была, наверное, хорошей профессиональной работой. Но что делать с Чечней и в Чечне дальше, Путин явно не знает. Сначала он делал ставку на марионеточных депутатов, потом собрался вступить в переговоры с полевыми командирами, не участвовавшими в нападении на Дагестан, потом вытащил из тюрьмы Гантамирова. Ясно, что за пределы данного ему задания — начать войну и вести ее так, чтобы стать популярнее Примакова, — мысль премьера не простиралась. Но когда все поставлено на одну карту, опасности могут подстерегать с самых неожиданных сторон, ведь до победы и тем более урегулирования в Чечне еще очень далеко, да и государственные дела не сводятся к борьбе с террористами.

Создается впечатление, что по каким-то неясным причинам операция по подготовке «преемника» развернулась и достигла успеха чуть быстрее и раньше, чем нужно. Рейтинг у Путина уже такой, какой надо, и если бы выборы были сейчас, мы могли бы поздравить Путина и ФСБ с действительно блестящим успехом. Но за оставшееся до выборов «лишнее» время еще много чего может произойти.

Кстати:

По информации «ОГ», во вторник в здании ФСБ на Лубянке прошло заседание инициативной группы по созданию «партии Путина». На заседании обсуждался состав оргкомитета, который должен будет подготовить учредительный съезд общественно-политической организации, формируемой под президентскую кампанию Владимира Путина. Ядро будущей партии,

по замыслу инициаторов, составят бывшие работники МВД, КГБ—ФСБ и отставники Вооруженных Сил. Действующим кадрам силовых структур закон запрещает участие в политических движениях, но организаторы новой партии заручились негласной поддержкой руководителей этих структур, которые, вероятнее всего, и инициировали процесс партстроительства, полагая, что Путину необходима собственная политическая база и что самое надежное плечо, на которое он может опереться, — его недавние сослуживцы.

2000

Передача верховной власти в Евразии. От позднего Ельцина к раннему Путину. Кошмарные сны элиты. Москва и Грозный движутся в сторону Хасавьюрта. Возвращение правящей партии. Пагубная любовь к симметрии. Шоковая терапия по Павлу. Преемник начал ревизию наследства. Новые сосуды заполнило старое вино. Чему быть, того не миновать.

ПЕРЕДАЧА ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ В ЕВРАЗИИ

Президента, как и Родину, не выбирают[1]

Ельцинский режим блестяще преодолел самый опасный для него кризис — кризис преемственности власти. И преодолел его в особо трудной, осложненной форме. Можно сказать, что это была экспериментальная ситуация проверки режима на прочность. Президент до последнего часа, до «цейтнота», не мог найти преемника. Правящий слой уже начал самоорганизовываться и независимо от президента приискал себе лидера — Примакова. Наконец, тот преемник, на котором Ельцин остановил свой выбор, был абсолютно неизвестен не только простому народу, но даже политической элите. Страшная для «семьи» и режима перспектива раскола элиты и действительно альтернативных выборов, при которых судьбу верховной власти решал бы народ, казалась уже неизбежной. Но Ельцин и созданная им система идеально справились с испытанием.

Новогодняя отставка президента окончательно ликвидировала все элементы случайности, которые теоретически еще могли иметь место, превратив грядущие президентские выборы в фактически безальтернативные. Преодолев главный кризис, создав прецедент и механизм преодоления подобных кризисов в будущем, ельцинский режим приобрел законченные, классические формы и продемонстрировал то оригинальное лицо, которое выделяет его из массы подобных режимов. В чем же его оригинальность?

---

[1] «Общая газета», 13.01.2000.

Авторитарных режимов, в той или иной мере сочетающих реальное отстранение народа от важных политических решений с демократическими формами, псевдовыборами и псевдореферендумами, было и есть множество. Но своеобразие нашего режима заключается в том, что оба эти элемента — и отстранение народа от власти, и демократическое прикрытие этого отстранения — у нас присутствуют в особо яркой форме.

С одной стороны, в определении преемника и в способе передачи ему власти ельцинский режим показал себя независимым не только от народа, но и от «господствующего класса», в значительно большей степени, чем любой другой режим — даже режимы, считающиеся скорее тоталитарными, чем авторитарными. Я не представляю себе, чтобы какие-либо авторитарные властители и их «семьи» могли быть до такой степени свободны и самовластны, чтобы подбирать преемников из абсолютно неизвестных людей за полгода до передачи власти и обеспечивать эту передачу. Обычно преемники — это кто-то из «старых сподвижников» властителя, давно известных народу и элите, да и передача власти никогда не бывает такой гладкой и легкой.

Самый тиранический монарх ограничен принципом династии, и Иван Грозный не мог, например, передать власть Малюте Скуратову. Любой тоталитарный вождь на деле очень ограничен своей идеологией и ее организацией, и невозможно представить себе Ленина или Сталина, которые даже в своих мыслях о преемнике выходили бы за пределы узкого круга Политбюро.

С другой стороны, если в других авторитарных и тоталитарных режимах демократическое прикрытие всегда —

11 3543

«сомнительное», это всегда какие-то выборы при отсутствии альтернативных кандидатов, без тайны голосования и независимых наблюдателей, то у нас процедура выборов может быть безукоризненно демократической по всем международным стандартам. Ограничения свободы слова и агитации, подтасовки и фальсификации у нас, конечно, были и будут, но они не так велики и главное — не являются необходимым элементом системы. Подтасовывать, строго говоря, ничего не нужно — народ и так совершенно добровольно, при самых разных альтернативных кандидатах и полной свободе агитации проголосует за начальство или того, на кого укажет начальство.

Нельзя отрицать, что кандидатура Путина удачна, а вся операция с его назначением и «организацией» его рейтинга, подробности которой мы узнаем еще не скоро, была просто блестящей. Но и преувеличивать их значение тоже не следует. Если бы Ельцину не разонравился Степашин, народ так же или почти так же полюбил бы и этого преемника. Если бы Ельцин не трогал Черномырдина, безальтернативным кандидатом стал бы Черномырдин. Любой премьер-наследник у нас тут же набирал рейтинг — просто потому, что он наследник, и особенная популярность Путина в значительной мере связана не только с его качествами, за которые он получил в Ленинграде кличку «штази», и войной в Чечне. Она связана и просто с тем, что после чехарды с преемниками обществу наконец указали «окончательного», и народ исполнился искренней благодарности, что его не оставили без начальства, освободили от бремени самостоятельного решения и теперь он может идти на выборы, точно зная, за кого

голосовать. Человека, с которым связано это освобождение от выбора, народ на какое-то время просто не мог не полюбить.

Почти абсолютная закрытость реальной процедуры выбора преемника и полнейшая произвольность этого выбора у нас может сочетаться с полной открытостью и честностью формальных народных голосований. «Азиатская» авторитарность реального механизма принятия решений — с «европейской» демократичностью их последующей легитимизации. (При этом легко заметить, что эти два элемента нашей системы — взаимосвязаны. Именно потому, что легитимизация закрытого и произвольного решения на свободных выборах практически предрешена, и решение может быть столь произвольным, и выборы могут быть почти свободными.)

Такое сочетание абсолютного произвола и вполне демократических форм — именно наша российская, постсоветская особенность. Такого мы не найдем ни в Азербайджане, ни в Туркмении, ни в Сирии, ни в Египте, ни в Корее. И я думаю, что эти особенности нашего режима отражают глубокую оригинальность нашей культуры.

С одной стороны, наше общество в большей мере, чем какое-либо другое, — общество атомизированных индивидов, не связанных друг с другом и не способных организовываться независимо от власти и против власти. При наших традициях мы не смогли за десять лет создать гражданское общество западного типа — систему независимых от государства добровольных организаций. (Фактически единственная реальная и мощная общенациональная, независимая от власти организация у нас — это КПРФ.) Нет у нас и никаких серьезных идеологий, которые были в

начале нашего века и которых сейчас нет вообще. Но у нас нет и той системы прочных традиционных связей (региональных, кланово-племенных, религиозных и др.), которая есть в любой стране третьего мира и которая тоже делает общество относительно «неподатливым» для власти. Естественно, что опасности гражданской войны в таком обществе нет. И в то же время из-за нашей травмированности историей ситуация даже относительной и временной неопределенности в вопросе о власти ощущается народом как катастрофа, вызывающая образы гражданской войны, анархии, террора и т. д. Общество, не имеющее ни традиционалистских, ни современных мощных связей и лояльностей, которые ограничивают власть, и в то же время страшно боящееся остаться без власти, предельно «внушаемо» и «податливо».

И если считать послушность власти, «податливость» ей чертой «азиатской», то наше общество — более «азиатское», чем большинство азиатских народов. Но с другой стороны, это общество по своим культурным ориентациям — неизмеримо более западное, чем азиатские страны с древними самостоятельными культурными традициями. Это — общество, постоянно сравнивающее себя с Западом и видящее на Западе свою модель будущего. Мы действительно не европейское, не азиатское, а евразийское (или «азиопское») общество, для которого одинаково органичны как западные формы, так и глубоко «не западные» психология и реальное общественное устройство, и где западные формы используются для укрепления и усиления «азиатского» содержания.

Для меня несомненно, что установившаяся система, идеально соответствующая состоянию нашего общественного

сознания и глубоко органичная нашей культуре (внедрение западных форм для консервации и усиления вполне «азиатского» деспотизма началось с Петра I), — всерьез и надолго. Главную «планку» демократического пути — реально альтернативные выборы верховной власти — российское общество не взяло, и в следующее тысячелетие мы войдем народом, который ни разу за всю свою историю не выбирал верховную власть. Более того, похоже, что теперь безальтернативность обеспечена нам минимум до 2008 г., а скорее всего — и позже. Как относиться к этой перспективе?

Естественно, что ликование по поводу только что назначенного начальника, о котором ничего хорошего не известно, но который вдруг может оказаться и «реформатором», — глупо. Но и традиционное русское самобичевание, разговоры о том, зачем мы родились (якобы «с умом и талантом») в «стране дураков», которые очень скоро, очевидно, сменят теперешнее ликование, — тоже излишни.

Реальность не очень хороша, но и не так страшна. Если перестать постоянно сравнивать себя только с высокоразвитыми странами и оглянуться вокруг, легко заметить, что другие народы еще дальше от демократической нормы, чем мы. То, что азиатские общества менее податливы своим начальникам, чем наше, еще не значит, что они ближе к демократии, — в них лишь всегда присутствует возможность каких-то альтернативных авторитаризмов вроде замены шаха на аятоллу Хомейни. Хотя мне думается (здесь я согласен с Игорем Малашенко), что Путин, пришедший в отличие от Ельцина не под лозунгами демократии, которые всегда в какой-то мере ограничивали нашего первого

президента, а с лозунгом порядка и «государственности», скорее всего, внесет во власть новый, более жесткий стиль, тем не менее полного отказа от демократической формы, скорее всего, не будет. Установить жесткую насильственную дисциплину в таком обществе, как наше, не менее трудно, чем создать настоящую демократическую систему власти. И главное — не нужно. Надо быть просто фанатиком дисциплины и любителем садистских ощущений, чтобы насиловать страну, которая и так с охотой тебе подчиняется.

Между тем при всей формальности нашей демократии она в какой-то мере постепенно наполняется реальным содержанием. Возникла уже очень устойчивая привычка к выборам, к свободе слова, искоренить которую будет практически невозможно. Более того, на региональном уровне у нас уже могут быть вполне «настоящие» выборы с непредсказуемым исходом. Очевидно, что страх перед неопределенностью свободных выборов и необходимостью самим решать свою судьбу в следующем поколении будет несомненно меньше, чем в предыдущем. И в каком-нибудь 2020 г. впервые в русской истории народ выберет не того, кто уже стал его начальником или на кого этот начальник укажет, — тогда и начнется действительно демократическое развитие страны. Дожить до этого времени удастся не всем, но подготовить страну к такому выбору — задача как раз нынешнего поколения.

ОТ ПОЗДНЕГО ЕЛЬЦИНА К РАННЕМУ ПУТИНУ

Время требует новых слов[1]

Несмотря на то, что Путин еще не окончательно утвердился на троне, характерные черты его политики и фразеологии и их различия с политикой и фразеологией его предшественника обозначились уже достаточно явно.

Если Ельцин шел к власти под лозунгами демократии и прав человека, то Путин — под лозунгами порядка и дисциплины. Ельцин — «могильщик коммунизма», до конца своего правления принимавший позу гаранта от «красного» реванша. Путин самые первые и яркие шаги в качестве и. о. президента делает в направлении примирения с коммунистами. И хотя ближе к президентским выборам Путину и Зюганову, видимо, придется разыгрывать какое-то идейное противостояние, ясно, что отношения новой власти с коммунистами будут иными, чем при Ельцине. Зато либеральные СМИ, которым Ельцин позволял практически неограниченную свободу, — Путин, скорее всего, попытается ограничить.

В области экономики ничего ясного Путин пока не сказал и не сделал, но очевидно, что никаким Пиночетом от него не пахнет — ему скорее присуще стремление усилить государственный контроль над экономикой и проводить политику государственной поддержки «стратегически важных для развития российской экономики» предприятий (читай — установить отношения взаимной поддержки с группой крупнейших бизнесменов).

---

[1] «Общая газета», 10.02.2000.

Если Ельцин в начале своего правления — страстный западник, для которого высшей честью было вхождение в «семерку» и панибратское «ты» с западными лидерами, то Путин в Давос не поехал, а его акцент на «национальных интересах» и «великой России» говорит, что эпоха разговоров на «ты» кончилась. Война с чеченцами никогда не занимала в риторике и политике Ельцина центрального места, для Путина она имеет кардинальное значение — он набрал популярность прежде всего как борец с Чечней.

Многие недоумевают: почему Ельцин подобрал себе в преемники человека, чьи позиции вроде бы так отличаются от его собственных? Чтобы разобраться в этом, мы прежде всего должны учесть, что различия Путина и Ельцина — это различия Путина и «раннего» Ельцина периода 1991—1993 гг., когда в основном сформировался образ нашего первого президента, а не Путина и Ельцина образца 1999 г., когда он санкционировал уже вторую (первую можно было счесть «ошибкой») чеченскую войну и напоминал «другу Биллу», что у него есть атомная бомба. За восемь лет правления ельцинские фразеология и политика прошли очень большую эволюцию. Вполне вероятно, что Ельцин хотел бы продвинуться и дальше в «путинском» направлении, но мешали возраст и прошлое.

Возникает ощущение как бы единой эволюции «президентской» фразеологии и политики, плавно переходящей от «раннего» Ельцина к «позднему», а затем к «раннему» Путину, как будто эта эволюция идет вне зависимости от тех, кто исполняет президентские функции. Ельцин 1999 г. резко отличается от Ельцина 1991 г. просто потому, что прошло восемь лет, но очень мало отличается от Путина 2000 г., потому что не прошло и года. Специфически

ельцинское или путинское, не зависящее от времени, конечно, есть, но оно связано прежде всего с манерами, со стилистическими особенностями.

Столь же иллюзорны и различия между Путиным и его основными соперниками за место единого кандидата «партии власти», которых соратники Путина еще совсем недавно, во время думских выборов, «мочили» как могли. Поворот к дистанцированию от Запада и «отстаиванию национальных интересов» произвел отнюдь не Путин, а его недавний конкурент Примаков (а наметился он вообще при «позднем» Козыреве). Терпимость к коммунистам, попытки войти с ними в сговор — главное обвинение, которое «семейные» СМИ предъявляли Примакову и Лужкову. Сильные слова о порядке и дисциплине произносили и Примаков, и Лужков, а уж о государственности и патриотизме кто только у нас не говорит. То, что Примаков и Лужков не были доверенными людьми «семьи», — совершенно очевидно, но попробуйте указать какие-либо иные политические и идейные различия их с Путиным — ничего не получится. Поэтому и полемика путинцев с Примаковым приобрела характер травли старого человека мальчишками-хулиганами — «старый примус, уходи».

Итак, мы видим: есть слова, которые должны быть произнесены властью в определенное время и вне зависимости от того, кто находится у власти — один и тот же человек, который в разные годы говорит разные слова, или разные люди. Что же за логика стоит за этой сменой слов? Можно ли сказать, что она отражает изменения общественных настроений? Параллелизм перемен в народном сознании и в президентской фразеологии несомненен. Но народное сознание — неизмеримо сложнее, многомернее,

лидер государства «осваивает», вербализует лишь какую-то часть противоречивых народных мыслей и чувств, да и сами эти мысли и чувства в какой-то мере определяются государственной пропагандой. Зато, как я думаю, есть прямая зависимость президентской риторики от меняющихся интересов, а соответственно, мыслей и настроений господствующего класса.

Разумеется, фразеология Ельцина начала 90-х («демократия», «рынок» и т. д.) не может быть выведена из интересов позднесоветской элиты, стремившейся стать элитой западного типа. Все эти слова и понятия не ею и не в России изобретены, и произносила их вначале не бюрократия, а диссидентствующая интеллигенция. Но нашей бюрократической элите использование этой риторики предоставляло возможность превратиться из очень хорошо оплачиваемых, но все же «винтиков» государственной машины в свободных и богатых людей. Не сами по себе, но функционально, для российской бюрократии слова «демократия», «рынок», «права человека» в 1991—1993 гг. означали идеологию элитарно-криминальной революции. (Как слова «коммунизм», «Ленин», «Сталин» и призывы к борьбе с американцами и «сионистами» стали объективно, вне зависимости от своего реального содержания, идеологией ограбленных этой революцией, идеологией протеста.)

И эволюция президентской риторики также обусловлена эволюцией интересов господствующего класса, выражающихся в форме, которая дана культурой. Что же захотел господствующий класс после того, как его представители уже разграбили общественное достояние? Закрепить свое новое положение. Какие же здесь перед ним возникают задачи?

1. Самая общая задача — добиться всеобщего согласия с результатами приватизации. Эта тяга к согласию видна даже в названиях наших правительственных и претендующих на роль правительственных политических объединений. Если первой партией, претендовавшей на статус партии власти, был «Демократический выбор России», то дальше пошли «Наш дом — Россия», «Отечество», «Вся Россия», «Единство». Стоящая за ними идея стара, как мир: «Пусть одни богаты, а другие бедны, одни обворованные, другие воры, но зато все мы — россияне».

2. Хотя сложившаяся у нас «ельцинско-зюгановская» политическая система сводит угрозу со стороны народа до минимума, она не может обеспечить окончательной легитимизации результатов приватизации и гарантировать элите спокойствие. Все-таки остается КПРФ, мощная партия, которая продолжает говорить об ограблении народа и неизбежности расплаты. Поскольку уничтожить ее, как еще недавно призывал Березовский, трудно и опасно, теперь тот же Березовский советует включить ее в «общенациональное согласие» (если нельзя убить, надо купить). Это вполне возможно, поскольку лидеры компартии, в отличие от ее электората, сами люди небедные и кое-чем при дележе собственности попользовались, так что и у них есть стремление к «единству» и усталость от роли «народных заступников».

Новая линия на примирение с коммунистами сначала обозначилась в действиях и словах лидеров элиты, не принадлежащих к президентскому окружению, даже несколько оппозиционных. Хотя эта линия и отражала общие стремления правящего класса, в какой-то мере гнуть ее было еще опасно, поскольку это грозило расколом правящего

слоя и разрушением сложившейся системы фактически безальтернативных выборов верховной власти. Путин же, избавленный от этой угрозы и не скованный ельцинским прошлым, делает политику идеологического замирения официальной и безопасной.

3. Национальное сплочение требует врага, переключения внимания народа с проблем социальных на проблемы внешние. Один такой враг есть — Чечня. Но Чечни недостаточно, и поиски врага неизбежно должны идти в западном направлении. Почему — западном, а не, скажем, китайском или мусульманском?

Поскольку процесс разграбления государственной собственности шел под «западническими» лозунгами, социальный протест естественно принял антизападную форму. Чтобы отвлечь народное негодование от самой себя, элита должна использовать именно антизападный компонент идеологии протеста. Есть и еще одна, и все более выступающая на первый план причина: западная правовая система становится все опасней для нашего истеблишмента. Вначале элита этой опасности не видела и не понимала, наивно полагая, что на Западе деньги решают все, а уж деньги-то у нее будут, и что «если мы им от коммунизма отказались и СССР развалили, то теперь они должны на нас молиться». Но западное общество оказалось не совсем таким, как ожидалось, и, кроме того, стало быстро эволюционировать в сторону все большего возрастания роли международно-правового регулирования и ограничения национальных суверенитетов. Наша элита стала все больше ощущать всякие неудобства и даже опасаться за личную и имущественную безопасность. Если можно арестовать Пиночета, значит, никакие заслуги в борьбе с коммунизмом

не дают иммунитета (а тогда за что боролись?). Если какая-то Швейцария может выдать ордер на арест Бородина, то кто вообще может чувствовать себя спокойно? Поэтому к народному антизападничеству как части идеологии протеста прибавляется антизападничество, проистекающее из непосредственных интересов и фобий элиты.

4. Закрепление результатов приватизации предполагает и достижение единства господствующего класса. Опасность его политического раскола уже в основном преодолена, но нужно нечто большее — некоторое обуздание хищнических импульсов элиты, ведущих к постоянным склокам и кровавым «разборкам». А для этого требуется, естественно, не правовое, но «сильное» государство, которое если не прекратит «разборки», то монополизирует и упорядочит их, чтобы конкуренты, ищущие «справедливости», обращались не к киллерам, а записывались на прием к президенту или его помощникам. Для этого же нужно обуздать прессу, чтобы компромат поступал не в печать, а туда же, куда он поступал в «доброе старое время».

5. Лозунг рынка в начале 90-х гг. был для элиты лозунгом идеологическим — стремилась она не к рынку как таковому, а к собственности и «красивой жизни». Сами же по себе рынок, свободная конкуренция особенно привлекать нашу элиту не могут. Психологические и интеллектуальные качества, которые были необходимы для успехов в ходе приватизации, — это совсем не те качества, которые нужны для успехов в рыночных условиях, в которых наши «акулы бизнеса» скорее всего тут же разорились бы. Поэтому лозунг рынка, необходимый для оправдания грабежа, уже не годится для закрепления награбленного. Естественно, о возвращении к социализму и речи быть не может.

Но нужны «усиление экономической роли государства», «поддержка стратегически важных предприятий», то есть идеология и политика, цель которых — не дать новым собственникам разориться в условиях настоящей рыночной конкуренции.

Вот, собственно говоря, и весь Путин. Хотя наша элита в целом никакого участия в его выдвижении не принимала и поэтому его побаивается, все его «президентские» слова и мысли — слова и мысли этого класса, ибо другим просто неоткуда взяться. Ясно, что его личность и его генезис (для охраны собственности прекрасно подходит человек из охранки, в некотором роде специалист по охране) внесут в реализацию этих задач свой неповторимый колорит, но сами задачи не им поставлены и лозунги не им выдуманы. И кто бы ни оказался на его месте, он стал бы говорить примерно те же слова и проводить примерно ту же политику. Реальная альтернатива Путину появилась бы в ситуации раскола элиты и реально альтернативных выборов (например, если бы сложился союз Примакова с коммунистами и они вместе выступили бы против кандидата «партии власти»). Крохотный шанс на это был. Но мы его упустили. А может быть, его и не было, и я ошибаюсь.

КОШМАРНЫЕ СНЫ ЭЛИТЫ[1]

В значительной части российской элиты можно заметить затаенный, а иногда и проговариваемый страх перед неминуемым избранием Владимира Путина. И страх этот в

[1] «Общая газета», 16.03.2000.

определенной мере оправдан. Ведь не только народ, но и господствующий класс никакой роли в «назначении-избрании» Путина не играл. Всё решили Ельцин и его «семья», а элита, как и народ, лишь согласилась с принятым за нее решением, тут же предав (как она это делала всегда) своих прежних лидеров. При этом Путин и для нее остается «котом в мешке». Его речи, произносимые с убежденностью и решительностью, но состоящие из общих мест и сплошных противоречий, никакой серьезной информации о нем и его намерениях не дают и могут иметь такое же отношение к его дальнейшим действиям, как речи Ельцина 1990—1991 гг. к последующей деятельности нашего первого президента. Поэтому, как в «пятне Роршаха» или в облаке, каждый может рассмотреть в нем что-то свое, то, о чем он мечтает или чего страшится — нового Сталина (с надеждой — Проханов, с ужасом — демократы), Пиночета (рыночные романтики), де Голля и даже Наполеона (всякого рода умеренные «государственники»).

Видеть, как колоссальная власть, которой наделен у нас президент, переходит в руки человека, которого ты толком не знаешь, конечно, страшновато. Элита не может не бояться повторения того, что уже много раз было и в русской, и в мировой истории, когда неограниченный властитель, обуреваемый «сверхценными» идеями или снедаемый болезненным властолюбием, начинает «самоутверждаться» за счет элиты, иногда даже апеллируя к народу и натравливая его на социальную верхушку. В русской истории так делали все популярные правители — Иван Грозный, Петр I, Сталин, в какой-то мере — даже Андропов. А Путин явно апеллирует к этому народному комплексу «твердой руки», приносит цветы на могилу Андропова и резко,

отрывисто произносит слова о порядке и сильном государстве. Между тем лозунги порядка и сильного государства — лозунги опасные. Сейчас они популярны и в элите, которой нужны стабильность и закрепление результатов приватизации, но стоит чуть-чуть усилить их звучание, чуть-чуть серьезнее к ним отнестись и начать их осуществлять на деле, и они очень легко могут превратиться из лозунгов, означающих закрепление элитарных «завоеваний», в лозунги антиэлитарные. Естественно, например, начать «наведение порядка» с уничтожения каких-либо одиозных олигархов вроде Березовского. Выгоды для Путина очевидны, а опасности невелики. Народ был бы в восторге, заграничные правительства и общественное мнение только приветствовали бы этот шаг, да и бóльшая часть элиты была бы рада избавлению от амбициозных выскочек, от которых все уже устали. Но остановиться на одном или двух олигархах трудно. За Березовским могут пойти другие, как в свое время за Троцким, падение которого приветствовало большинство коммунистической элиты, пошли целые слои партийного актива. Где гарантии, что Путин не перейдет тонкую грань, отделяющую некоторое минимальное наведение порядка, нужное элите, от наведения порядка, уже не нужного и опасного для «широкой массы» господствующего класса?

Кое-какие гарантии от этого, разумеется, есть. Прежде всего сам факт путинской карьеры, его проникновение в узкий круг высшего чиновничества, где на него мог упасть благосклонный взор Ельцина, уже в какой-то мере является гарантией. Социальные фильтры, пропускающие людей на такие должности, действуют очень точно, и отбор на них не менее сложен, чем отбор в космонавты. И в позднесовет-

скую, и в постсоветскую эпоху эти фильтры — совсем иного рода, чем те, сквозь которые поднялся наверх Сталин. Здесь требовались уже не догматическая преданность учению, а, напротив, отсутствие каких бы то ни было серьезных идей и полная готовность говорить те слова и даже думать те мысли, которые приняты в настоящее время, требовались не жесткость и взыскательность, а умение жить самому и давать жить другим.

Шансов на то, что в высший чиновничий круг пройдет человек с какой-то своей, слишком сильной и не «общеэлитарной» идеей, с какими-то опасными для элиты чертами характера (слишком честный, слишком бескорыстный, слишком волевой), очень мало. Такого рода «неуправляемые» люди, попадавшие «наверх» случайно, по небюрократическим лифтам социальной мобильности, пулей вылетали обратно.

Путин же сделал блистательную карьеру, причем делалась она нормальным чиновничьим путем — он нравился своим начальникам. Представить себе, чтобы «неуправляемый», потенциально опасный человек мог сначала работать в КГБ, затем помогать Собчаку в приватизации, потом приглянуться Бородину и, наконец, понравиться Ельцину, очень трудно.

Избрание Путина «семьей», которая, видимо, руководствовалась не столько «классовыми», сколько специфически «семейными» соображениями, тоже является в какой-то мере гарантией и для элиты в целом. Прежде всего, «семейные» соображения должны были быть достаточно серьезны, ведь для Ельцина и его близких речь шла буквально о жизни и смерти. Ошибка всегда возможна, но когда такой опытный кадровик, как Ельцин, делает свой

выбор далеко не с первого раза, вероятность грубого промаха не так уж велика. А если гарантии безопасности есть у «семьи», значит, они есть и у всей элиты. Вполне можно представить себе гибель «семьи» при сохранении правящего сословия, когда все беды и грехи списываются на «ельцинскую клику». Но представить себе противоположное — расправу над многими и разными представителями элиты при сохранении «семьи» и ее состояния в нетронутом виде — значительно сложнее. Невозможно осуществить действительно опасные для элиты антикоррупционные и деприватизационные меры, не затрагивая «семью» и, более того, не начав с «семьи».

Поэтому, подбирая преемника, Ельцин в какой-то мере объективно думал и о гарантиях для всего «высшего сословия», и его выбор был «с классовой точки зрения» правильным. Никаких намеков на «сверхценные» идеи, да и вообще на какие-либо идеи, выходящие за пределы теперешней «общеэлитарной» идеологии, у Путина обнаружить не удается. И очень не похоже, чтобы за его обтекаемыми словами, где-то глубоко внутри, были спрятаны оригинальные и сильные мысли. Если такие мысли есть, человек, даже разведчик, не может не проговориться. При отсутствии же таковых Путин будет решать проблемы, которые «подсказываются самой жизнью», и в формах, которые тоже «подсказываются самой жизнью», — прагматичных и умеренных, коренных интересов элиты не затрагивающих. Это — некоторое «наведение порядка» и борьба с коррупцией, но не до такой степени, чтобы производить передел собственности и перевернуть лодку, в которой все сидят; «возрождение России» и «отстаивание ее национальных интересов», но не до такой степени, чтобы уж

совсем разрывать с Западом; «рынок», но без гайдаровского романтизма, и т. п.

Правда, конфликт лидера с господствующим классом может вызреть не только на идейной почве. Он может произойти и из каких-то болезненных качеств характера, усугубляемых властью. Например, из-за комплекса неполноценности, из-за потребности в лести, поклонении и страхе окружающих. Испуг в глазах подчиненных, восторги народа, списывание неудач на происки еще не добитых казнокрадов — все это легко может стать наркотиком, одурманивающим и властителя, и толпу.

Однако создается впечатление, что никаких патологий в путинском характере нет, и если по отношению к «классово чуждым» элементам у него нет особых моральных ограничений («беспощаден к врагам рейха»), то в отношении к «своим» он вполне нормален и человечен. Немыслимые жестокости войны в Чечне не вызывают у него ни малейших сомнений, мучений и колебаний. Но сочувствие представителя нашей верхушки солдатам, среди которых детей элиты не может быть «по определению», — такая же абстракция, как сочувствие нищим пенсионерам, а чеченцы вообще — чужие во всех отношениях — и классовом, и «цивилизационном». Зато Путин плачет на похоронах Собчака, что говорит об умении быть благодарным и настоящим другом. И для элиты эти слезы также важнее войны в Чечне, как для русских дворян XVIII века было очень важно, проявляет ли дворянин благородство и добросердечие в отношениях с людьми своего круга, и совершенно не важно, если он при этом засекает до смерти своих крепостных.

Попробуем «подвести черту». Надо ли элите бояться Путина? Стопроцентных гарантий безопасности не может

дать никто, тем более в нашей ситуации. И «семья» могла ошибиться, и начальники Путина могли чего-то в нем не заметить, поскольку в то время никакой опасности для них он не представлял. Наконец, человек может меняться под влиянием доставшейся ему власти, какие-то крохотные и безвредные в обычной жизни комплексы могут разрастись до опасных размеров. Между тем как у элиты не было никаких возможностей повлиять на выбор Путина преемником, так у нее нет и серьезных институциональных гарантий и средств сопротивления, если Путин все-таки начнет действовать против ее интересов.

Элита создала авторитарный режим практически неограниченной власти безальтернативного президента, ибо только при таком режиме можно было осуществить нашу приватизацию и до немыслимых в развитом мире размеров увеличить разрыв в доходах между богатыми и бедными. Но нельзя одновременно «иметь пирог» и «съесть его». Нельзя иметь авторитарную и неправовую систему, позволившую осуществить дележ «общенародной» собственности, не опасаясь народного протеста, и одновременно иметь полные гарантии от произвола этой авторитарной системы. Грань между независимостью верховной власти от народа и ее независимостью от элиты, между подавлением народа и подавлением элиты — очень тонкая и неопределенная. Созданный при Ельцине режим не дает стопроцентных гарантий того, что президент не выйдет из-под контроля и не перейдет этой грани. Такие гарантии мог бы дать лишь действительно демократический режим с разделением властей и ротацией власти. Но при таком режиме была бы невозможна наша свобода обогащения элиты, невозможна была бы и сама наша элита.

За все в этом мире приходится платить. Шансы на превращение Путина в тирана, может быть, и не велики, но они есть, и совсем уж спокойно спать элита не может.

МОСКВА И ГРОЗНЫЙ ДВИЖУТСЯ В СТОРОНУ ХАСАВЬЮРТА

Каким будет новый «похабный мир»?[1]

С каждым днем становится все очевиднее, что за горными перевалами, до которых дошла в Чечне российская армия, если не географически, то политически, лежит Хасавьюрт, и он не так уж далеко. В понедельник министр иностранных дел Игорь Иванов подтвердил давно уже бродившую по Москве информацию: Кремль ведет конфиденциальные переговоры с эмиссарами Аслана Масхадова. Цель переговоров — политическое урегулирование в Чечне. Таким образом, Москва отказалась от попыток умиротворения мятежной республики в обход ее законного президента.

Теперь становятся ясны даже очертания того маршрута, которым предстоит пройти ко «второму Хасавьюрту». Если путь к первому мирному соглашению с Чечней открылся с гибелью Дудаева, вести переговоры с которым для Москвы было уж слишком трудно и стыдно, то сейчас в жертву должны быть принесены несколько наиболее одиозных фигур (один из этого списка, Радуев, уже устранен). При этом интересы Масхадова здесь соприкасаются с интересами Кремля, ибо речь идет как раз о тех лицах, которые не

---

[1] «Общая газета», 20.04.2000.

давали чеченскому президенту создать хотя бы относительно эффективную систему власти. Мне представляется, что Масхадов — человек не подлый и не станет помогать ФСБ устранять людей, с которыми он прошел две войны. Но что-то придумать всегда можно. Скажем, убедить Басаева и Хаттаба убраться куда-нибудь в Афганистан (Удугов с Яндарбиевым и так уже отъехали). Можно предположить, что в Кремле думают и о встречном ходе — о том, чтобы пожертвовать какими-то московскими, реальными или «назначенными» виновниками войны, тем более если от них и без того хотят избавиться.

Все это — совсем не просто, как не просто и сделать так, чтобы новый Хасавьюрт как можно меньше напоминал старый. Но то, что вторая война, как и первая, кончится каким-то мирным соглашением, практически несомненно. Все войны, если они не кончаются полным уничтожением или покорением одной из сторон, что в данном случае маловероятно, кончаются мирным соглашением. Примирение может наступить на теперешней отметке в 2100 «официально» погибших российских солдат, на отметке 3100 или даже 5100, но рано или поздно оно наступит. Мирные соглашения, однако, могут быть разными. Естественно, значительно больше шансов, что «второй Хасавьюрт» будет таким же перемирием между второй и третьей войнами, как первый Хасавьюрт и «вечный мир», заключенный затем Ельциным и Масхадовым, были перемирием между первой и второй войнами. Но мне думается, есть крохотный шанс, что новое соглашение может принести не перемирие, а мир.

Вторая чеченская война в громадной мере повторяет первую, ибо воюют в ней те же самые силы, принципиаль-

но за время перемирия не изменившиеся. У них приблизительно те же самые мотивы, те же ресурсы, те же приемы и формы борьбы. Первая война была развязана Ельциным, явно не до конца понимавшим «особенности национального голосования» и думавшим, что после разрушения СССР, расстрела Белого дома и грабительской приватизации ему для переизбрания обязательно надо совершить какой-то «подвиг» во славу новой России. Вторая была развязана в основном по тем же мотивам — для обеспечения трудной, как казалось в прошлом году, задачи избрания Путина. В обоих случаях войны получились совсем не те, какие ожидались. Оба раза, пользуясь многократным превосходством в вооружении и живой силе, вначале мы достигаем определенных результатов — разрушаем Грозный, убиваем тысячи мирных жителей и «загоняем боевиков в горы». Оба раза, после того как вроде бы все населенные пункты уже разрушены и «зачищены», загнанные в горы чеченцы вновь оказываются на равнине, в тылу наших войск. Начинается партизанская война, в которой враг не перед нашими войсками, а повсюду, и преимущество в танках и авиации исчезает. Сходна и динамика общественного мнения. Вначале российское общество встречает войну скорее вяло-одобрительно, но по мере того как наши потери растут и становится очевидно, что жестокость по отношению к чеченцам так же не компенсирует неэффективности армии, как садизм не компенсирует импотенции, вялое одобрение сменяется вялым неодобрением. Немыслимое вранье военных начинает вызывать смех и раздражение. Зарубежное общественное мнение также пробуждается и начинает оказывать давление на правительства.

Оба раза после достижения главной цели — победы на выборах, война утрачивает политический смысл. Из фактора, повышающего президентский рейтинг, она превращается в фактор, его «опускающий». После июня 1996 г. Ельцин продолжает ее уже по инерции, потому что не знает, как кончить, и в конце концов позволяет Лебедю заключить Хасавьюртовские соглашения, а потом, чтобы лавры миротворца достались не Лебедю, а ему, сам заключает договор с Масхадовым. И хотя Путин отождествил себя с войной значительно сильнее, чем Ельцин, тем не менее и для него война сейчас, несомненно, превратилась в бремя, и мысль о мире просто не может не приходить ему в голову.

Как российская политическая жизнь циклична, так и связанные с ней чеченские войны идут по циклу, где отдельные фазы повторяют друг друга почти с такой же неизбежностью, как сменяют друг друга времена года. При этом второй цикл, разумеется, несколько отличен от первого. Хотя и индивиды, и правящие группы, и народы склонны повторять пройденное, они все же в какой-то мере учатся на своем опыте. Чему же могли и должны были научиться русские и чеченцы на опыте двух войн и одного перемирия?

Мне кажется, что российская правящая верхушка должна была понять как минимум две вещи. Во-первых, что чеченские войны очень трудны и использовать их в электоральных целях рискованно, а главное — совершенно не обязательно. «Партия власти» в исторически обозримый срок будет у нас побеждать и без разрушения Грозного перед каждыми президентскими выборами. Более того, устраивать третью войну в 2004 или 2008 гг. будет уже просто смешно и контрпродуктивно.

Во-вторых, хотя наша власть вряд ли понимает, что в конечном счете независимость Чечни неизбежна и отпустить ее все равно придется, она вполне может понимать, что и полное покорение Чечни, ее интеграция в структуры Российской Федерации тоже исключены и что управлять Чечней Москва никогда не сможет. Степень реальной независимости в значительной мере определяется психологическими и культурными факторами и может совершенно не совпадать с формальным статусом. Формально независимая Белоруссия, например, на деле значительно больше часть России, чем многие «субъекты» Российской Федерации. Но чеченцы — наиболее культурно и психологически чуждый русским, наиболее непокорный и наиболее ненавидящий (теперь еще больше, чем когда-либо) Россию народ. В какой-то мере Чечней могли управлять самодержавная и советская тоталитарная Россия, но нормальной частью хотя бы относительно демократической России она быть не может. Поэтому включение Чечни в Россию может быть лишь формальным и символическим (формально она и сейчас — субъект РФ), а фактически она будет жить по своим законам.

И если это хоть в какой-то мере понимается, у российской власти должны возникнуть новые приоритеты. Главным становится не подчинение Чечни, не управление ею из Москвы, а то, чтобы она вообще управлялась (самоуправлялась), чтобы в Чечне возникло хотя бы относительно упорядоченное общество и государство, чтобы чеченцы занялись строительством, а не подготовкой к новой войне или новому восстанию. При такой системе приоритетов открывается широкое пространство для совпадения интересов России и чеченцев, в том числе и чеченского

президента, который не может не стремиться к тому же самому.

За эти годы Масхадов и чеченцы тоже должны были кое-что понять. За время своей непризнанной, но фактической независимости они могли убедиться, что построение своего государства — задача для них значительно более трудная, чем даже победа над русскими. Выиграв войну, Чечня проиграла мир — это факт. И смешно списывать все свои беды на российские спецслужбы и происки Березовского — почему-то российские спецслужбы и Березовский не могут, например, породить хаос в Эстонии или Латвии, не могут сделать так, чтобы эстонцы похищали и убивали иностранцев или «освобождали» Ленинградскую область. Может быть, Басаева действительно хитростью заманили в Дагестан, но ведь это чеченцы создали государство, в котором Басаев мог набрать собственное войско и пойти «освобождать братский народ». Трагедия чеченцев в том, что хотя они способны победить армию огромной страны, по численности населения превосходящей их в 150 раз, они, если говорить откровенно и без страха их оскорбить, еще не готовы к созданию нормального жизнеспособного государства. Для этого нужно еще какое-то время, нужно изжить некоторые свои глубокие черты культуры и характера, надо научиться подчиняться своим властям и своим письменным законам, чему они в силу особенностей своей истории научиться не могли. Полная и формальная независимость никуда не уйдет, а пока для построения нормального государства, может быть, даже лучше, если Чечня будет какое-то время скована извне, если ее суверенитет будет неполным (как для многих, например, африканских стран было бы лучше,

если бы независимость пришла к ним не в 60-е, а, скажем, в 80-е гг.).

Если Масхадов и чеченцы хотя бы в какой-то мере это поняли, это должно девальвировать для них проблему статуса. Ничего страшного не произойдет, если в ООН еще некоторое время не будет человека в папахе. Новое соглашение может не решить проблему чеченского суверенитета, но оно может дать чеченцам нечто более важное – минимальные гарантии того, что к следующим российским выборам их не будут вновь покорять, что Москва не будет сознательно раскачивать ситуацию в Чечне, вооружая, как это было при Ельцине, всякие оппозиции, или, как это сравнительно недавно делал Березовский, финансируя Басаева, что им дадут выработать адекватные им, их культуре формы современной государственной жизни. Мне также кажется очень важным, чтобы соглашение вводило что-то вроде особого чеченского гражданства и визового режима между Чечней и Россией (названия можно придумать). При этом все представители чеченской диаспоры, все кто жил в Чечне в 1991 г., обязаны будут выбрать или чеченское, или российское гражданство, а власти республики – гарантировать равные права всем выбравшим чеченское гражданство, пусть это даже будет Доку Завгаев (выбор гражданства будет свидетельствовать о готовности связать свою судьбу с судьбой своего народа, и в такой ситуации репрессии против «коллаборационистов» должны быть исключены), а те, кто выберет Россию, автоматически становятся нормальными российскими гражданами. Чеченцы, выбравшие Чечню, но проживающие в России, разумеется, не должны изгоняться, но они отныне становятся как бы иностранцами и их пребывание в России должно быть

ограничено рядом условий. Я понимаю, что для многих представителей диаспоры это — страшный выбор между нищей и нестабильной, но Родиной и относительно обеспеченным положением, но на чужбине, но только это может положить конец или, во всяком случае, резко ограничить и чеченский криминалитет, и беспредел российских властей по отношению к живущим в России чеченцам. Бесконтрольные поездки кого угодно из Чечни и в Чечню должны прекратиться. Разумеется, граница еще долго будет прозрачной, но это не так страшно, ибо теперь любой человек, который оказывается в России без соответствующей «визы», может быть арестован (соответственно и чеченцы будут иметь право арестовать любого, кто приезжает без «визы» в Чечню).

Особый статус Чечни предполагает целый ряд ограничений ее компетенции в организации внутренней жизни. Очевидно, что ей могут разрешить только небольшие вооруженные силы (их можно назвать «силами по охране порядка»), она не может принимать у себя всяких исламских «интернационалистов» и должна расстаться с теми, кто сейчас в ней находится. Потребуется создать реальную систему российского контроля над расходованием федеральных средств в Чечне. Думаю также, что должен быть и какой-то внешний, российский и международный, контроль над соблюдением в Чечне ее собственной конституции. Поскольку опыт соблюдения российско-чеченских договоренностей — печальный, вообще было бы хорошо, чтобы это соглашение содержало международные гарантии, лучше всего, чтобы оно было не двухсторонним, а трехсторонним (третья сторона — ООН, ОБСЕ или какая-то другая международная организация).

То, что мешает сейчас заключению реального мира — это прежде всего символические и психологические факторы. Каждая сторона, естественно, не доверяет другой, каждой для «сохранения лица» нужна символическая победа — или символическая независимость, или символическое возвращение Чечни в лоно России. Но если в сознании московских и чеченских лидеров произошли те сдвиги, которые должны произойти у нормальных людей после опыта двух войн, они смогут придумать формулы, не унижающие ни одну из сторон, и тогда «новый Хасавьюрт» положит начало не перемирию, а миру.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ

Нет худа без добра[1]

Процесс частичного возвращения старых, советских форм политической жизни, исподволь начавшийся едва ли не сразу же после ликвидации КПСС и СССР, приобретает все более заметный и все более гротескный характер. После президентских выборов, восстановивших советскую модель голосования как торжественного ритуала изъявления покорности и лояльности власти, намечается следующий шаг — воссоздание чего-то вроде КПСС. Естественно, уже не как партии, номенклатура которой управляет государственной собственностью, а как партии номенклатуры, эту собственность приватизировавшей. Разговоры о создании «президентской партии» периодически велись весь ельцинский период. Но только теперь, при новом прези-

[1] «Общая газета», 04.05.2000.

денте, от слов, похоже, переходят к делу, сознательно и открыто беря КПСС, ВЛКСМ и даже пионерскую организацию как модели для подражания, что само собой становится пародированием и порождает в воображении разные комические картины типа партсобрания в Альфа-банке, обсуждения в кулуарах вопроса, войдет ли Абрамович в ЦК, и очередей на вступление творческой интеллигенции в «Единство» или как оно там будет называться. Для чего и кому это нужно?

Непосредственными двигателями нового партстроительства являются, очевидно, те представители элиты, которые по каким-то причинам не нашли себе достойного места в бюрократии или бизнесе и справедливо видят в новой партии множество новых должностей (ЦК, райкомы, обкомы и т. д.). Но то, что именно сейчас они принялись за серьезную работу, разумеется, не случайно. Эпоха освобождения и приватизации кончилась. Воплощавший дух этой эпохи Ельцин никаких партий не хотел, предпочитая свободную жизнь «президента всех россиян». Из своего обкомовского прошлого он перенес в новую эру не нудные ритуалы партийных форумов, а добрые обычаи обкомовских бань и пьянок. Но это легкомыслие и «разнузданность» кончаются вместе с оргией приватизации. Как Ельцин воплощал свое время, так новый президент с его совершенно иной психологией и иным генезисом воплощает дух новой эпохи, эпохи консолидации и возвращения порядка. При этом представление о порядке, эффективности, контролируемости, естественно, определяется прошлым опытом — это партия, комсомол, пионеры, КГБ и обузданные СМИ.

Что может представлять собой новая правящая партия, если, конечно, ее создание как официально президентской,

путинской партии будет окончательно решенным делом? Попробуем понять, кто войдет и кто не войдет в такую партию. Естественно, в нее должны войти все, кто уже сейчас входит в неформальную «партию власти», и все, кто хочет нормальной карьеры и спокойной службы. Могут войти, даже без особых душевных мук, многие коммунисты, для кого КПРФ является партией бывшего порядка, противостоящей беспорядку, и которые теперь увидят, что «смутное время», слава богу, кончается. Могут войти и множество интеллигентов, тяготеющих сейчас к «Яблоку» и правым, — они будут объяснять это так же, как в свое время объясняли вступление в КПСС — тем, что без таких благородных личностей, как они, верх в ней возьмут реакционеры и негодяи. Фактически этот процесс начался уже давно, когда входить в ельцинские правительства и администрацию (то есть перебегать в неформальную «партию власти») стали, с одной стороны, коммунисты Маслюков и Рыбкин, с другой, «яблочники» Задорнов и Дмитриева. Таким образом, в партию вполне может войти (хочется сказать — вернуться) почти вся наша политическая элита. Не войдут только относительно маргинальные «очень левые» и «очень правые» — немногие действительно идейные коммунисты и тоже немногие «вечные оппозиционеры»-интеллигенты.

Поэтому вряд ли правильно определять эту строящуюся партию как партию «правого центра». Правильнее будет называть ее просто партией центра, партией, формулирующей в борьбе клик и фракций и проводящей в жизнь среднюю равнодействующую линию защиты интересов обуржуазившейся номенклатуры. Другое дело, что после революционных событий 1989—1993 гг. само понятие центра,

средней линии радикально изменилось и, если, например, еще в 1990 г. требование приватизации было свидетельством правого экстремизма, то в 2000-м, наоборот, нужно быть экстремистом, чтобы думать даже о частичном пересмотре ее результатов.

Поэтому новая партия будет реальной наследницей КПСС, которая на деле тоже была партией центра и некоей средненоменклатурной политической линии. Только при КПСС «реакционные» и «прогрессивные» силы существовали в основном внутри нее, но «на периферии», вне ее реальных властных структур, и не были организованы формально, а сейчас они будут не только внутри, но, очевидно, и вовне, в виде самостоятельных и легальных организаций.

КПРФ или то, что от нее останется, будет прямым продолжением неформального течения приверженцев журналов «Октябрь» и «Молодая гвардия» 70-х гг., «Яблоко» и правые — нечто вроде организованного в партии аналога той публики, которая в свое время читала «Новый мир» и даже «самиздат» и посещала Театр на Таганке. Реальная политическая структура определяется прежде всего культурными и психологическими факторами, она — неизмеримо прочнее и формальной политической структуры, и даже — господствующей формы собственности.

Конечно, новая партийно-политическая структура будет повторением советской уже «на новом этапе». Не только идеология правящей партии будет иной (хотя психология останется во многом прежней), но и партийная система будет не однопартийная, а скорее «полуоднопартийная», ибо кроме мощной правящей партии будут и легальные «правая» и «левая» оппозиции, пользующиеся, хотя и в некоторых рамках, свободой слова и регулярно участвующие

в выборах. При этом она в значительной мере будет сохранять «безальтернативность» и «закрытость» советской системы со всеми вытекающими из этого следствиями.

Однако такая система по сравнению с тем, что есть сейчас, будет скорее шагом вперед, чем назад. В идее организованной «президентской партии» есть много привлекательного для президента, тем более преданного идее порядка и эффективности. Возникает организация, которую можно использовать для реализации «на местах» решений федеральной власти, охватывающая всю страну и в какой-то мере ее скрепляющая. Появляется механизм отбора и продвижения новых кадров, относительно четкие критерии того, кто «свой», а кто «чужой» — членство в партии, новое средство контроля и наказания всякого рода «диссидентов» — исключение из партии. Но все эти механизмы одновременно являются и механизмами ограничения авторитарной власти. Если сложится такая партия, президенту будет уже очень трудно совершенно произвольно, подчиняясь своим капризам, назначать и убирать премьеров, как это делал Ельцин. При наличии правящей партии появление, например, Кириенко в роли премьера было бы исключено — Политбюро не утвердило бы. Более того, было бы исключено и появление самого Путина в роли преемника. Если Путин действительно создаст свою партию, он уже не сможет передать власть кому угодно — так, как она была передана ему самому. Это будет означать переход от самодурского авторитаризма ельцинского двора с его Коржаковыми и Абрамовичами к авторитаризму более ограниченному и упорядоченному, с элементами формальной партийной олигархии и, может быть, даже с некоторыми элементами внутрипартийной демократии.

12—3543

Правящая партия, имеющая все-таки определенные границы и структуру и какую-то, пусть состоящую в основном из общих слов программу, — это всё же нечто более рациональное, чем просто власть, и скорее может вызвать к жизни осмысленный и организованный политический процесс и политический протест. Когда идеологические и организационные грани неформальной партии власти размыты и неопределенны, может быть всё — вчерашний принципиальный оппозиционер может легко стать министром и так же легко быть из министров вышвырнутым. Бывший министр вроде Степашина может на минутку перейти в партию решительных борцов с режимом и тут же снова стать министром. Все эти переходы даже не ощущаются как нечто серьезное, как изменение позиции или предательство. Почти ни про кого нельзя сказать, что он четко в «партии власти», и ни про кого, что он — четко в оппозиции. При новой партии, чтобы войти во власть, надо будет все-таки из оппозиционной партии перейти в правящую, и это в какой-то мере затруднит такие переходы и сдвинет политическую жизнь в сторону от карьерных придворных интриг к борьбе организаций и программ.

И хотя по опыту других стран с аналогичной системой (Индия, Италия, Мексика) мы знаем, что появление реальной альтернативы подобной партии — процесс, который может затянуться на многие десятилетия, хорошо хотя бы то, что задача создания такой альтернативы становится более ясной и осмысленной. Это уже не просто «свержение антинародного режима» или стремление заменить человека, который нам не нравится, а поиски стратегии электоральной победы над определенной, ясно очерченной силой.

Таким образом, в создании «президентской партии» есть и свои положительные стороны. Это — не только возвращение КПСС в виде фарса. Это — переход от теперешней системы, настолько плохой, что ей трудно найти аналогии в мире и истории, к системе просто плохой, от системы полной бесконтрольности президента и его фаворитов к системе ограниченного контроля над ней, от почти мистического ощущения безальтернативности, так ярко проявившегося при голосовании за Путина, к трудным поискам альтернативы. И именно поэтому я думаю, что Путин, при всей своей любви к порядку и эффективности, еще сто раз подумает, прежде чем решится связать себя с создаваемой для него и под него партией.

ПАГУБНАЯ ЛЮБОВЬ К СИММЕТРИИ

Укрепление федерации может лишь усилить сепаратизм[1]

Идея борьбы с сепаратизмом, с угрозой «развала России» — одна из нескольких действительно прочувствованных идей нашего президента. «Вот захлестнуло бы Дагестан — и всё», — говорит он в своей книге, на мой взгляд, несколько преувеличивая стремление разных народов убежать из возглавляемого им государства. «Кавказ отошел бы весь... а потом вверх по Волге — Башкортостан, Татарстан».

Что же ведет, по мнению Путина, к сепаратизму? Кроме разного рода внешних подстрекательств, это «расхлябанность», отсутствие эффективной «вертикали власти» и

[1] «Общая газета», 01.06.2000.

несимметричность Российской Федерации, «неоправданные льготы» некоторых субъектов, например Татарстана. Соответственно, борьба за единство России в его представлении — это централизация исполнительной власти и ликвидация асимметричности, естественно раздражающей человека, любящего порядок. Эпоха игры в суверенитеты кончилась, все отныне встанут в одну шеренгу, и Казань, по замыслу Путина, теперь будет подчиняться даже не Москве, а «императорскому наместнику», сидящему в Нижнем Новгороде.

То, что президент сможет провести свой план в жизнь, практически несомненно. В русском обществе вообще нет серьезных сил, которые могли бы противостоять президентской власти, и уж тем более никто не вступится за раздражавшие и вызывавшие зависть русских «субъектов» особые права татар и других «нацменов». Однако я думаю, что отдаленные последствия президентских трудов могут оказаться совсем не теми, которые предполагает президент, и даже противоположными его целям.

Борясь с сепаратизмом посредством построения симметричной федерации, президент, по-видимому, смешивает причину и следствие. В самом деле, откуда взялась наша асимметричность, почему Чечня, например, на некоторое время добилась фактической независимости и сейчас продолжает за нее воевать, Татария довольно долго пребывала в очень странном, противоречивом положении, при котором татары могли считать свою республику суверенным государством, отдавшим по договору часть своих полномочий другому государству — России; Мордовия и Коми ни на какое особое положение типа татарстанского не претендуют, но все же свой флаг имеют, а, скажем, Ленин-

градская область — это просто область? Что стоит за этой иерархией?

Все предельно просто: правовая «несимметричность» России отражает ее национальную неоднородность. Около 20 процентов населения России — не русские, причем очень разные нерусские. Среди них — и большие народы, и народы крохотные; есть народы с мощной и отличной от русской культурой, и народы, такой культуры не имеющие и в значительной мере русифицированные; народы, имевшие в прошлом свою национальную государственность, уничтоженную Россией, и никогда ее не имевшие, и т. д. Иерархичность отношений с центром — отражение этих реальных, существующих независимо от правового оформления, различий. Это — результат исторически сложившихся компромиссов, разных «равнодействующих» между центростремительными и центробежными силами.

Ясно, что если бы чеченцев было не один миллион, а три, их независимость была бы делом давно уже решенным, а если бы, скажем, балкарцев было бы столько же, сколько чеченцев, то, наверное, был бы боевой балкарский сепаратизм. С другой стороны, татар значительно больше, чем чеченцев, но той культурной и психологической отчужденности от русских, которая есть у чеченцев, у татар нет. Это нация в значительной мере урбанизированная, дисперсная, живущая общей с русскими городской культурой, у них не было травмы депортации, которую пережили чеченцы. У мордвинов же нет ни своей государственной традиции, ни отличной от русских религии, ни сильного мордовского национализма. Разумеется, на степень сепаратистских настроений влияют и другие факторы — географическое положение, традиция отношений с соседями,

но в целом все это сводится все к тому же соотношению сил (и к мотивации как элементу силы).

Существующая система компромиссов установилась не сразу. Бурный период распада СССР был одновременно периодом резкого усиления националистических движений во всех республиках РСФСР. Отчасти эти движения поощрялись обеими сторонами конфликта, развернувшегося в Москве, но они возникли бы и без этого. Народам бывших российских автономий трудно было смириться с тем, что даже маленькие союзные республики имеют право на независимость, а они, «автономные», — не имеют. Кроме того, они боялись остаться один на один с русскими, без относительно «интернационального» союзного центра и нерусских союзных республик (те же мотивы подхлестнули сепаратизм осетин и абхазов в Грузии, гагаузов и русских в Молдавии). Поэтому в 1991—1993 гг. национальные республики находились в некоторой оппозиции к Ельцину. Однако уже к 1995 г. они становятся одной из важнейших опор созданного Ельциным режима. Как это происходит?

Во-первых, это связано с сильными русско-националистическими элементами идеологии нашей оппозиции (КПРФ и ранней, еще оппозиционной, ЛДПР), которая поэтому не могла воспользоваться громадным, почти 20-процентным потенциалом нерусского электората. Во-вторых, с компромиссной политикой Кремля. Федеральный центр согласился предоставить республикам больше прав, чем русским областям, позволил сложиться в них «вассальным царствам», во внутренние дела которых Москва не лезла, если они регулярно платили Ельцину «дань» в виде голосов, которые поставлялись при каждом важном феде-

ральном голосовании (Путин сам получил от них большой «кус», набрав 85,4 процента голосов в Ингушетии, 80 — в Дагестане и 68,4 — в Татарстане). Эти цифры, разумеется, не свидетельствуют о любви народов республик к Ельцину и его наследнику, а были либо результатом доверия населения к местным лидерам («раз Шаймиев сказал, что голосовать надо за Путина, то, наверное, он знает, что нам, татарам, лучше»), либо получены путем жульничества, на которое тем не менее избиратели смотрели относительно спокойно (так или иначе, но понятно, что дань платить надо).

В этой системе, разумеется, очень много плохого, прежде всего — авторитарные системы правления в республиках, в значительной мере поощрявшиеся центром, которому удобнее иметь дело с «ханами», чем с народами. Но сама иерархичность отношений к центру, «асимметричность» Федерации были явлениями совершенно нормальными и не только не способствующими сепаратизму, но, напротив, его умеряющими. По данным опросов, только 20 процентов татар (правда, среди молодежи несколько больше) считают, что Татарстан в конце концов должен стать полностью независимым, остальные довольны существующим компромиссом, который мог сохраняться сколь угодно долго. Когда дверь для выхода в бурный и тревожный мир суверенного существования хотя бы теоретически открыта, мало кто будет в эту дверь ломиться (есть очень хороший пример Квебека, который знает, что может уйти из Канады, и именно поэтому каждый раз решает погодить).

Сейчас новый президент, преданный идеям порядка и полагающий, что теперь он может обойтись и без дани в

виде голосов (или сумеет собрать ее руками своих генералов-наместников), кладет конец этой компромиссной системе. К чему это приведет? Ослабится ли сепаратизм? Разумеется, нет. Ослабятся лишь его внешние, раздражающие бюрократическое сознание проявления, его же глубокая основа, напротив, усилится. Людей обманули, «кинули». Им казалось, что они очень важные и чуть ли не суверенные, а им показали, что стоит их пресловутая «государственность», какова цена их президентам, национальным флагам, их договорам с центром. А когда дверь, в которую никто не собирался выходить, запирается на ключ, все мысли запертых обращаются к этой двери, им начинает казаться, что нет ничего более важного, чем выломать ее. Уничтожив раздражающую «асимметричность» и чисто формальные, безобидные проявления сепаратизма, Путин резко усилит сепаратистские мотивации.

Мотивация сама по себе является элементом силы, и усиление сепаратистских мотиваций нерусских народов будет означать изменение баланса центробежных и центростремительных сил. Между тем центробежная тенденция будет нарастать и по другим причинам. Нерусские народы в составе России — очень разные, и зачастую их враждебность друг другу превосходит их враждебность к России. На этом основана лояльность Москве многонационального Дагестана, Ингушетии и Осетии, для которых главное — не степень зависимости от Москвы, а судьбы Пригородного района, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и т. д. Но усиление общего пресса, выстраивание всех в одну шеренгу приведет эти народы к ощущению общности проблем и общности врага. Только очень немногие из татар ощущают, например, свою близость с чеченцами.

Но если иллюзия татарского суверенитета будет разрушена, таких станет значительно больше. (В этом же направлении действует и наш антикавказский расизм, когда для московской милиции и традиционно лояльные осетины, и ингуши всё едино — «черные».)

Наконец, надо учитывать, что удельный вес коренных нерусских народов в населении России, и прежде всего как раз наименее «русифицированных» народов Северного Кавказа, тувинцев, якутов, бурятов, заметно растет. А доля русских пока держится на одном уровне исключительно за счет иммиграции из бывших союзных республик. Но приток переселенцев из-за рубежа кончается, и скоро удельный вес русских начнет уменьшаться. При этом особенно падает их доля как раз в республиках с наиболее отличной от русской культурой и потенциально сепаратистских.

Таким образом, в недалеком будущем мы столкнемся со значительно более мотивированными и бескопромиссными, более связанными друг с другом и поддерживающими друг друга сепаратистскими движениями более многочисленных и сильных народов, которые предъявят свой счет при первом крупном политическом кризисе (или сами такой кризис породят).

Теперешнее стремление к симметрии, к достижению внешней дисциплинированности и повиновения, к «подмораживанию России» после пережитой ею слишком бурной «оттепели» при нашей исторической традиции и психологии более чем естественно. Но не менее естественны и следствия таких «подмораживаний», когда подавленные, скрытые от глаз противоречия вдруг начинают выходить наружу, лед начинает стремительно таять и возникает

«потоп». Так было в 1917-м году. Так было и в 1991-м. Так будет и в каком-то пока неведомом нам году. Вероятно, это случится не завтра, но наша политика, наверное, строится по принципу «после нас — хоть потоп».

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ ПО ПАВЛУ

При лечении страхом важно соблюсти дозу[1]

В действиях Путина есть один аспект, который отличает нашего нового лидера не только от его предшественника, но и от всех, кто правил в Кремле после 1953 г. Если от Сталина до Ельцина шел фактически непрерывный процесс расширения «прав и вольностей» элиты (и косвенно — расширения общей свободы), то сейчас элита впервые за почти пятьдесят лет столкнулась с тем, что ее «царство свободы» не расширяется, а сужается. Это напоминает ситуацию, когда после длительного послепетровского периода последовательного, от царствия к царствию и из года в год, расширения «вольностей шляхетства» вдруг воцарился Павел I.

И тогда, и теперь это вызвало шок. Люди уже привыкли, что они — свободные и важные, их уже очень давно не пороли, не ссылали, не казнили, имущество не отбирали, и, естественно, что они «возомнили о себе». И вдруг им «указали на место», напомнили, что они — слуги и что никаких незыблемых гарантий их положения нет, оно полностью зависит от милости монарха. Как же реагируют люди, переживающие такой шок? Мы видим сейчас три уровня и типа реакции.

---

[1] «Общая газета», 10.08.2000.

У громадного числа представителей элиты либо стремления и кругозор не выходят за пределы их сугубо личных интересов, либо сохраняется генетический страх власти и генетическое холопство. Такие люди бегут записаться в слуги к новому хозяину. Некоторые делают это грубо и примитивно, прямо и без затей вступая в разного рода группы поддержки нового лидера, например в «Единство». Другие — используя различные формы самообмана и пытаясь сохранить лицо. Сделать это не так уж сложно. Ведь любой авторитарный властитель, борясь со свободой, борется и с какими-то видами социального зла, возникшими или усилившимися в условиях свободы. Поэтому надо только переключить внимание с ограничения свободы на другие аспекты деятельности властителя («ведь мы же не можем отрицать, что стране нужен порядок, что произвол губернаторов надо обуздать, что воровство олигархов надо прекратить, ведь мы сами это всегда говорили»). Такая реакция очень распространена, и в разных сборищах в поддержку Путина можно было увидеть поразительно приличных людей. Это неудивительно. Удивительно, что реакция конформизма (в обоих его вариантах — примитивном и завуалированном) — далеко не всеобщая. Традиционный русский парализующий страх власти за годы постоянного роста вольностей успел в нашей элите в какой-то мере выветриться.

Второй тип реакции, более «высокого уровня», — это коллективная защита корпоративных интересов, сплочение перед лицом опасности («возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»). Наиболее четко такую реакцию явили губернаторы, что облегчалось наличием у них своего корпоративного органа — Совета Федерации — и тем, что их

сообщество лишь в очень небольшой мере разъедается конкуренцией. Бизнес-сообщество, такого органа не имеющее, раздираемое склоками и противоречиями (еще недавно его члены «заказывали» друг друга), естественно, проявило меньшую сплоченность. Тем не менее коллективное письмо в поддержку Гусинского и идея общей встречи с Путиным для «выяснения отношений» и установления «правил игры» — проявление той же корпоративной тенденции. Из трех групп, по которым пришлись путинские удары (региональные элиты, олигархи и СМИ), наименьшую корпоративную солидарность проявили, пожалуй, журналисты, однако и среди них многие поддерживали Бабицкого и коллег из «Медиа-Моста». Но в какой-то мере уже проявляется и третий тип реакции, когда люди поднимаются выше частных и корпоративных интересов до уровня идеологического, когда, защищая свое кровное, они начинают апеллировать к интересам общенациональным. И не только апеллировать, но и реально о них думать. Поскольку среди нашей элиты есть люди с чувством собственного достоинства (все-таки — второе «непоротое поколение»), переживающие путинскую атаку как личное унижение и несправедливость, появление такой реакции совершенно закономерно. Ведь нельзя серьезно бороться, не обращаясь к народу, но смешно обращаться к народу с жалобами на то, что у тебя отнимают богатство. Нет, ты обязан убедить и других, и самого себя, что речь идет о судьбе демократии, о будущем страны и т. п. Ты должен найти какое-то объяснение тому, что происходит, в какой-то мере переосмысливая и свою собственную роль, вырабатывать альтернативную авторитарной и привлекательную для масс программу. Боюсь сглазить, но что-то в этом роде, похоже, намечается.

Разумеется, Гусинский и его команда защищают свой бизнес. Но они защищают и большее — свое человеческое достоинство, свои права, справедливость, свободу слова. В какой-то мере они уже начали переосмысливать свою прошлую роль (ведь сказал же Гусинский, что поведение НТВ в 1996 г., возможно, было ошибкой). Если большинство губернаторов думают только о своей безопасности, своем статусе, то Николай Федоров, выдвинувшийся на роль их лидера и выразителя «общегубернаторских» интересов, защищает не только эти интересы, но прежде всего принципы федерализма и разделения властей. Даже фронда Березовского относится к пародийно-гротескному варианту той же тенденции.

Пока это лишь слабая тенденция. Но не может ли она развиться и от чего это зависит? Я думаю, что для развития в этом направлении нужен определенный уровень страха, порождаемого президентским авторитаризмом. Если такого страха вообще нет, как его не было при Ельцине, у элиты нет и стимулов к размышлениям и поискам, ей просто не для чего думать ни об ограничении президентского самовластия, ни о самоограничении. Но если страх станет слишком сильным, парализующим, элита начнет думать только об индивидуальном выживании, все станут в панике давить и предавать друг друга. Страх должен быть средним — не слишком большим и не слишком маленьким.

Мне кажется, что сейчас как раз такой уровень страха и есть основания надеяться, что он не достигнет стадии, на которой возникает интеллектуальный и моральный паралич. Авторитарные и тоталитарные ресурсы в российском обществе не так уж велики. Построить в России такую систему всеобъемлющего контроля, как в Северной Корее,

уже просто невозможно. Да похоже, что и психологические ресурсы самого Путина тоже ограничены. Путин – человек, преданный, как и Павел I, идее порядка, понимаемого как беспрекословное послушание начальству. Но вряд ли кто верит, что он хочет национализировать весь крупный бизнес, пересажать всех губернаторов и олигархов. Это – человек, который способен сказать: «Я не мог дозвониться до Генерального прокурора». Такой человек может, конечно, вызвать страх, но все же не панический и не парализующий.

Пословица говорит, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Если это так, то неблагие намерения иногда могут привести к чему-то приличному. Наш президент вполне определенно хочет построить на месте авторитарного государства, в котором авторитаризм умерялся специфическим пофигизмом и любовью к выпивке, еще более авторитарное аскетически-дисциплинированное государство. Но как это всегда бывает с человеческими замыслами, попытка реализации путинской программы, кроме предвидимых им следствий и результатов, обязательно будет иметь и непредвиденные. И они могут оказаться принципиально иными и более полезными для страны, чем ожидаемые. Путин, как в свое время Павел, заставляет наш элитарный слой увидеть печальную реальность своего собственного, созданного своими же руками бесправия. («Вы сами создали это государство», – резонно указал президент встревоженным бизнесменам.) После шока, испытанного при Павле I, появилось новое поколение дворян, думавшее и заботившееся уже не только о сословных интересах, разрабатывавшее планы переустройства России и выдвинувшее декабристов. Надо надеяться, что аналогия

павловского и путинского времени на этом кончается. Для победы правового государства нам нужно не так уж много. И если шок, переживаемый сейчас нашей элитой, послужит началом ее трансформации из лишенной чувства ответственности массы хапающих индивидов в элиту, стабильность и гарантированность положения которой обеспечивается ее готовностью к самоограничению и способностью думать не только о себе, значит, Путин выполнит объективно благую миссию.

ПРЕЕМНИК НАЧАЛ РЕВИЗИЮ НАСЛЕДСТВА

На смену мафиозному хаосу идет мафиозный порядок[1]

Есть элементарные политические и психологические стратегии власти, обладающие удивительной силой. Как только человек попадает в определенную ситуацию, он начинает говорить обусловленные ею слова, будто актер, играющий роль в пьесе, которая шла уже очень много раз, хотя ему самому при этом может казаться, что его слова продиктованы спонтанным чувством и удивительно удачно им найдены. К числу таких примитивных стратегий относится стратегия сваливания всего плохого на предшественника и максимально возможное очернение его правления. Расправляясь с предшественником, от которого все устали и чьи пороки давно очевидны, преемник получает возможность списать весь «негатив», в том числе и всякие беды, возникающие уже при его власти, на полученное им «тяжелое наследство».

[1] «Общая газета», 28.09.2000.

Эту картину в разных вариантах мы видели очень много раз. Большевики старались развенчать царей и царизм, Хрущев — «культ личности» Сталина, Брежнев — хрущевский «волюнтаризм», Горбачёв — брежневский «застой», Ельцин — горбачёвскую нерешительность и половинчатость. При этом в разных вариантах произносилась одна и та же фраза: «Я знал, что все плохо, но только сейчас, придя к власти, понял, до какой степени все плохо». И довольно часто преемник, черня своего предшественника, возвышает предшественника этого предшественника, так сказать, обращается от «отца» к «деду». «Деда» в его время могли не любить еще больше, чем «отца», но еще не забытые пороки «отца» затмили уже забытые грехи «деда», и он вспоминается даже с ностальгией. Хрущев, клеймя Сталина, возрождал «ленинские нормы», Брежнев, напротив, «восстановил историческую справедливость» в отношении Сталина. При Горбачёве стали тепло вспоминать Хрущева.

Все это мы видим и сейчас, причем сила этого политического и психологического механизма проявляется особенно ярко. Дело в том, что Путин обязан предшественнику абсолютно всем — во много раз больше, чем Горбачёв Брежневу или Хрущев Сталину. Увы, нельзя обмануть «законы природы». Ельцин выбирал долго, выбрал самого зависимого, самого скромного, самого незаметного, но результат — практически тот же самый.

Все нужные фразы уже произнесены. Уже сказано про «десять лет лихолетья», про то, что недавние катастрофы показали, «в каком состоянии находится страна», что Путин знал об ужасном положении вооруженных сил, но не думал, что оно ужасно «до такой степени». При этом

Путин в какой-то мере поднимает ельцинского предшественника — ко двору если не приближен, то допущен Горбачёв.

Предшественник обречен на поругание преемником, и тут ничего поделать нельзя. Но этот элементарный механизм еще не объясняет, за что именно осуждается предшественник. Ведь и Сталина, и Хрущева, и Брежнева можно было клеймить за самые различные грехи. Но их за что-то — клеймили, а что-то в их политике, напротив, продолжали. Хула в какой-то мере служила камуфляжем преемственности. Хрущев, например, ругал Сталина за репрессии, но не за «социалистическую индустриализацию» и создание колхозов. Брежнев порицал хрущевский «волюнтаризм» и «чрезмерную» критику Сталина, но не прекращение сталинского террора. Механизм очернения предшественника — это только форма, в которой осуществляется эволюция режимов, идущая по своей логике. Порицается или сугубо личное в предшественнике, что просто раздражало и не нравилось людям, но не связано с сущностью режима, или то, что в его деятельности относится к предшествующему этапу эволюции.

И Ельцина, теоретически, можно порицать за что угодно. Но Путин выбирает не все. В путинских пока еще туманных инвективах просматривается вполне определенный набор претензий. Ельцинским расхлябанности, беспорядку и, как это ни смешно звучит в отношении Ельцина, либерализму противопоставляются культ государства, централизация, жесткость, эффективность. При этом важно и то, что не клеймится и, соответственно, закрепляется, переводится в разряд «естественного». Не клеймится сама по себе рыночная реформа, не клеймятся прикрытый

демократическим фасадом авторитаризм, практическая ликвидация разделения властей, псевдовыборы и псевдореферендумы. Если возникший при Ельцине авторитарный строй нес на себе отпечаток его личности и в какой-то мере ощущался как зависящий от этой личности, то путинский авторитаризм — продолжение и развитие ельцинского — не только усиливает авторитарный характер власти, но делает авторитарность нормой общества. Через отрицание происходит закрепление основ строя, отрицание одного облегчает продолжение и усиление другого.

Эта «диалектика» отрицания и утверждения, на мой взгляд, прекрасно видна в борьбе Путина с олигархами. Олигархи олицетворяют неправовой, криминальный характер ельцинского режима. И вроде бы здесь у Путина — максимальный разрыв с Ельциным и его системой. Но если присмотреться к этой борьбе, мы увидим нечто совсем иное. Прежде всего, разрыв с предшествующей эпохой не такой большой, как кажется. Время олигархического разгула прошло объективно, оно прошло само собой. Правящая верхушка больше не нуждается в помощи ловкачей, которые умеют конвертировать власть в деньги. Теперь, в отличие от 1996 г., она не боится выборов и может побеждать без финансовой и агитационной поддержки олигархов. Наиболее претенциозные «бизнесмены от политики» надоели уже Ельцину, который, помнится, грозил Березовскому высылкой из страны.

Кроме того, атака идет не на всех олигархов, а только на непослушных, возомнивших о себе, что они — самостоятельные фигуры, а не просто высокооплачиваемая обслуга власти. Такая борьба лишь укрепляет уже сложившуюся систему, при которой богатство дается властью в обмен на

лояльность и услуги. Наконец, в этой борьбе с олигархами возникшая при Ельцине система развивается, вступает в следующий этап своей эволюции — происходит громадный шаг вперед по пути криминализации государства.

При Ельцине коррупция была всеобщей, но она в какой-то мере была «отделена от государства», оставалась «частным делом». Когда министры и прокуроры воровали и вымогали, они понимали, что это не входит в их служебные обязанности, то есть в некотором роде они действовали как частные лица. Даже пресловутая «семья» воспринималась как сила, орудующая в государстве, управляющая им, но все же не тождественная ему. При Путине эта тонкая грань начинает исчезать.

Когда Волошин и Лесин предлагают Березовскому и Гусинскому свободу в обмен на акции, когда генпрокурор сажает Гусинского, потом, получив нужную бумагу с обещанием акций, отпускает, а потом, когда узнает, что бумага недействительна и его «кинули», снова возбуждает уголовное дело, они действуют не как частные рэкетиры и расхитители, а как люди, для которых рэкет в некотором роде — прямая служебная обязанность и едва ли не долг. Они действуют не на свой страх и риск, ради своей индивидуальной выгоды, а как представители государства, заботясь о «государственных интересах». То есть государство начинает функционировать не как организм, в который проникли разные мафии, а как самая крупная мафия, которая хочет уничтожить мелкие, навести порядок и пополнить «общак». Здесь тоже, конечно, есть элементы случайного. Какую-то роль играет кагэбэшное прошлое нашего президента, характерная для работника спецслужб идея, что во имя «государства» и «порядка» можно

действовать, не оглядываясь на закон. Но главное все же — не это.

Главное — естественная эволюция строя. Когда к власти приходит, как это произошло в 1991 г., группа лиц, не связанных ни идеологически — партийной дисциплиной, ни какими-либо традиционными лояльностями, и при этом у общества нет никакой возможности эту группу сменить, она просто не может не криминализироваться, не превратиться в мафию или во множество мафий. Тем более, когда ей приходится заниматься таким делом, как разгосударствление собственности. Криминализация чревата хаосом (борьба мафий, «разборки»), который эта группа стремится преодолеть. Но как преодолеть? Пойти правовым путем невозможно — это подорвало бы самые основы установившегося режима. Естественный и, более того, единственный путь — преодолеть мафиозный хаос мафиозной дисциплиной. За периодом неорганизованной борьбы многих мелких группировок наступает период правления одной, хорошо организованной. При этом действительно могут наступить «порядок и дисциплина». Прекращаются стрельба на улицах и всякого рода «разборки», прекращается даже коррупция. В мафии может вообще не быть никакой коррупции и никаких служебных преступлений, ибо в ней только одна вещь рассматривается как преступление — неподчинение боссу.

Таким образом, через отрицание ельцинского наследства осуществляется развитие строя по его внутренней логике — государство преобразуется в соответствии с суровыми законами мафии. Разумеется, это не единственная закономерность, действующая сегодня в нашей стране, и когда-нибудь эволюционирующий по своей логике режим

столкнется с силами, которые его сломают, дадут обществу какую-то другую логику развития. Но пока что признаков этого перелома не заметно — хотя бы даже на уровне общественного сознания.

НОВЫЕ СОСУДЫ ЗАПОЛНИЛО СТАРОЕ ВИНО

В России завершилось становление «народной монархии»[1]

Недавние югославские события еще резче обозначили расхождение российского и европейского векторов развития. Сербия, страна, изображавшаяся чуть ли не заповедником тоталитаризма, смогла произвести если не совсем мирную, то бескровную, в рамках конституции, смену власти, присоединившись ко всем другим посткоммунистическим странам Центральной Европы и, соответственно, к Европе в целом. Сербское общество, несмотря на свой конфликт с НАТО и антизападнические настроения, оказалось значительно более свободным, более европейским по уровню правового сознания, а режим Милошевича — значительно менее авторитарным, чем они казались и изображались. Между тем в России, несмотря на ее официально европейскую ориентацию, завершается оформление системы, построенной на полном исключении ротации власти и принципиально отличающейся как от старых западных демократий, так и от посткоммунистических систем Центральной Европы. Российским «демократам» блистательно удалось то, что не смогли (или недостаточно хотели)

[1] «Общая газета», 09.11.2000.

сербские «красно-коричневые» и что, несомненно, не смогли бы сделать, приди они каким-то чудом к власти, «красно-коричневые» русские.

Именно в этом году наша политическая система перешла в качественно новое состояние. Новизна его состоит в том, что безальтернативность власти, ее независимость от народа, от выборов, стала реальностью, осознанной и принятой обществом. Де-факто альтернативы действующему президенту у нас не было и в 1996 г. Но тогда еще далеко не все понимали, что исход выборов предрешен, что Зюганов победить не может никогда и ни при каких обстоятельствах (хотя сам он это, по-моему, понимал). В 1999 г. наша система пережила кризис преемственности верховной власти, когда на минутку замаячила перспектива раскола элиты и альтернативных выборов. Но система блестяще справилась с кризисом, создав механизм прямой передачи власти назначенному преемнику. Избрание Путина качественно отличалось от переизбрания Ельцина в 1996 г. по своему психологическому и идеологическому содержанию. За Ельцина голосовали, думая, что выборы на самом деле альтернативные, и страшась этой альтернативы. А в 2000 г. люди шли и с энтузиазмом голосовали за неизвестного им Путина, отлично понимая, что он победит. Психологически это было не голосование за кандидата Путина, а что-то вроде референдума в пользу системы назначения преемника и одновременно — ритуал общенародной присяги на верность новому монарху. С этих выборов фактически установилась и с одобрением принята обществом своеобразная «народная монархия», с наследованием власти и последующей легитимизацией наследника посредством всенародного одобрения.

Существовала, правда, чисто теоретически угроза, которая могла бы исходить из какой-то ошибки при назначении преемника. И какое-то время многим казалось, что эта опасность реальна, что Путин настолько увлекся идеей порядка, что это может вызвать серьезный кризис системы и серьезную оппозицию. Но сейчас уже ясно, что выбор преемника был в принципе верным, никакой угрозы системе и ее элите в целом от него нет, «крестовый поход» против коррупции и олигархии вырождается в серию пакостей нелояльным бизнесменам и губернаторам. Соответственно, нет и не будет и никакой серьезной оппозиции. Легко заметить, что никто из наших политиков не думает о президентских выборах 2004 г. В глубине души все понимают, что результат этих выборов предопределен. С выборами 2008 г., в принципе, тоже все ясно: победит тот, кого Путин назначит преемником. Да, ненадолго возникнет тревога по поводу персоны наследника (что за личность, чего от него ждать?), но скоро все снова встанет на свое место.

Другой аспект этой трансформации — превращение нашей безальтернативной верховной власти в надпартийную. Собственно, любая безальтернативная власть, даже самая партийная по своему генезису, становится как бы надпартийной. Так как убрать ее нельзя «по определению», она по сути своей становится центром, а все другие политические силы, «партии» превращаются в группы давления на нее или в правые и левые «уклоны» от ее линии. Конечно, в общемировом контексте большевики были левыми, но в том политическом пространстве, которое они создали, взяв власть, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев не были ни левыми, ни правыми. Это другие могли

«уклоняться» вправо и влево от них, а они всегда оказывались в центре системы.

Ельцин, как и большевики, пришел к власти на гребие революционной волны как представитель определенного, революционного течения, определенной «партии». Но став безальтернативным лидером, он также стал центром, поскольку все политическое пространство организовывалось его личностью и вся политическая жизнь (реальная, а не виртуальная, в которой кипела борьба с коммунистами) стала сводиться к влиянию на него. Как на Брежнева с одной стороны пытались воздействовать, скажем, Арбатов и Примаков, а с другой — какой-нибудь Федосеев, так на Ельцина — с одной стороны, скажем, Чубайс, а с другой — Коржаков.

Но Путин и в этом отношении делает громадный шаг вперед. Если Ельцин нес на себе груз прошлого, той «партийности», с которой он пришел к власти, то у Путина никакого груза нет, как нет и какой-либо идеологии (если не считать таковой идею порядка и «вертикали власти»). Его пресловутая «загадочность» связана именно с этим. Он — не левый и не правый, он просто властитель, «государственник». Так же воспринимается он и обществом. В отличие от Ельцина, он не вызывает отторжения ни у коммунистов, ни у националистов, ни у радикальных демократов.

Но если безальтернативная власть перестает быть властью определенной партии, определенного политического течения, значит, в обществе фактически исчезает партийная система в обычном, демократическом смысле этого слова. Ведь партия — это организация, создаваемая для борьбы за власть. А сейчас в России нет не только партий, способных победить, как победила югославская оппозиция, но никто

уже и не пытается хотя бы симулировать «волю к победе». При Ельцине было все-таки иначе. Кроме партий, которые считали своей миссией «положительное влияние на президента», защиту его от «вредного воздействия реакционных сил» (сейчас эти партии составляют СПС), были организации, которые жестко оппонировали ему и слева (КПРФ), и справа («Яблоко»). Сегодня «Яблоко», выступая в коалиции с СПС, позиционирует себя уже как партию «условной поддержки» Путина, поддерживая президента в экономических реформах и борьбе с губернаторами и стараясь предотвратить его скатывание в полицейщину и державность. Аналогичным образом перестроились и коммунисты. Только они поддерживают Путина — «патриота и государственника», а защищают его от влияния либеральных экономистов Грефа и Чубайса.

Иллюзия партийной системы западного типа исчезла одновременно с иллюзией альтернативных выборов. Политическая борьба принимает традиционный для России характер соперничества придворных клик за доступ к телу. Когда-то за царя, за влияние, за должности боролись Годуновы и Шуйские, Нарышкины и Милославские, потом Аракчеевы и Сперанские, Яковлевы и Лигачевы, сейчас — Немцовы, Грефы, Зюгановы, Аяцковы и т. д.

Россия, в очередной раз позаимствовав западные политические формы, вложила в них свое, глубоко оригинальное содержание. Фактически мы умудрились соединить несоединимое, восстановить традиционную, самодержавно-генсековскую систему безальтернативной власти в условиях свободы политической деятельности и свободы выборов. Эта система может вызвать, как любая оригинальная, «хитро придуманная» конструкция, даже чувство

эстетического наслаждения. И безусловно, эта система, уже справившаяся не с одним кризисом, — прочная.

Но оригинальная — не значит хорошая, а прочная — не значит вечная. При системе безальтернативной власти нет особых стимулов к развитию. Конечно, президент и его окружение могут думать и о народе, и о развитии — почему бы и нет? — но интенсивность этих размышлений не может быть особенно высокой. Серьезно люди думают и переживают о том, что несет им непосредственную угрозу или, наоборот, надежду на исполнение их желаний. Смешно представить Романа Абрамовича, напряженно думающего о чукчах, их проблемах, их будущем и их отношении к нему. А вот представить его, озабоченного тем, что какой-нибудь прохвост наговорит Путину, что Абрамович стал много о себе воображать, очень просто.

Слабость внутренних стимулов развития сегодня не компенсируется, как это было при советской власти, мощным внешним давлением. От идеи эсхатологической войны с Западом, побуждавшей СССР развивать науку и технику, мы, слава богу, полностью отказались. Западный мир наша система пока что устраивает, никаких попыток подорвать ее извне нет и не предвидится. При слабости и внешних, и внутренних стимулов к развитию прочность нашей системы — прочность застоя.

Но в этом же — и ее обреченность. Любая система, не способная к развитию, к конкуренции с динамичными системами, временна. Ясно понимая, что демократический процесс — общепринятая норма, но не ощущая в себе сил жить в соответствии с этой нормой, мы создали систему самообмана. Но до конца себя все равно не обманешь. Неспособность общества создать систему политической борьбы

не за влияние и милость монарха, а за популярность в народе и власть, которую дают выборы, рано или поздно будет ощущаться как свидетельство неполноценности, недовольство будет накапливаться и приближать новый кризис, когда народ решится проголосовать против воли начальства. Не думаю, что это произойдет в ближайшее десятилетие, но и семьдесят лет нынешняя система наверняка не протянет.

ЧЕМУ БЫТЬ, ТОГО НЕ МИНОВАТЬ

Каким будет следующий политический кризис[1]

Эпоха политической стабильности — это пауза между двумя кризисами. Так было всегда и всюду, и нет никаких причин думать, что Россия свой лимит кризисов исчерпала, что система, которую успешно стабилизирует Путин, — навсегда. Трудно сказать, что нас ждет в 2008 г. — назначение очередного преемника или изменение Конституции, но раньше или позже России предстоит и более серьезное испытание — кризис перехода от системы безальтернативных выборов верховной власти к системе выборов альтернативных и реальных.

Я не думаю, что он наступит скоро. Общество должно подготовиться, накопить недовольство, более того, должно, очевидно, пройти и через ощущение безнадежности, невозможности что-либо изменить. Но предполагать, что русские, в отличие от большинства народов мира, до скончания следующего века будут голосовать, как им укажет

---

[1] «Общая газета», 21.12.2000.

начальство, — значит предполагать их «генетическую» ущербность, принципиальную неспособность управлять собой. Думаю, что утверждать это не может даже крайний «русофоб».

Как были возможны разные формы ликвидации советской власти и она могла погибнуть раньше или позже (но само по себе ее падение было неизбежно), так существует громадный веер возможных форм и сроков неизбежного падения системы «монархического президентства». Рассуждение о них в большой мере гадательно. Тем не менее попробуем представить себе контуры будущего кризиса. И прежде всего — его масштабы.

На первый взгляд, они значительно меньше, чем, например, масштабы кризиса 1989—1993 гг. Ведь тот кризис был связан с ликвидацией тоталитарной идеологии. Сейчас же никакой идеологии у власти нет, и, соответственно, никто эту систему не станет защищать убежденно и страстно. Сопротивление корыстное, конечно, может быть очень серьезным, но таким жестоким, как идейное, оно быть не может.

Переход к реальной выборности верховной власти не предполагает и тотального изменения форм собственности, принципов хозяйствования. Кто-то, конечно, разорится, кто-то обогатится, но это несопоставимо с теми потрясениями, которые принесли рыночные реформы и приватизация. Более того, для перехода к альтернативным выборам президента необязательно переделывать Конституцию (потом, естественно, она будет изменена), ведь теперешняя система безальтернативной верховной власти — система не конституционная, а неформальная, фактическая. Таким образом, масштаб предстоящих перемен вроде бы не так велик.

Но на деле он намного значительнее, чем может показаться. В ходе русской истории мы уже два раза радикально меняли идеологию и общественное устройство. Два раза относительно небольшие группы людей захватывали власть, и большинство им подчинялось, отрекаясь от старой веры, старых привычек и принимая новые. Это мы умеем. Но верховную власть мы не выбирали ни разу. Для нас это — и новее и труднее, чем перемена веры. Ведь это — не смена идеологии, формы, а смена психологии, содержания, не переход от одного хозяина к другому, а начало жизни без хозяина вообще. И это — кризис не меньших масштабов, чем перестройка.

Как он может произойти? Возможны разные варианты, но ясно, что, в отличие от перестройки, это не может быть «революцией сверху». Не исключено, что на смену Путину придет либерал (смена «охранителей» либералами и наоборот — значительно более закономерное явление нашей истории, чем смена густоволосых властителей лысыми). Но как ни один человек не способен укусить свой затылок, так ни один либерал не может организовать сам себе поражение на выборах.

Если «революция сверху» исключается по определению, остаются три или четыре варианта. Самый легкий — сбой в механизме преемственности и раскол «партии власти». Даже если при этом два кандидата от правящей элиты будут различаться лишь маргинальными признаками, все равно это — переход к принципиально новой организации политической жизни. Такое чуть не произошло в 1999 г. и вполне может произойти под занавес путинского правления. Понятно, что режим учится на своих кризисах, и к 2008 г. президент и его окружение, скорее всего, подготовятся

заранее, без ельцинских метаний и импровизаций. Но очень многое здесь будет зависеть от массы не поддающихся учету факторов.

Победа над президентом или назначенным преемником кандидата от оппозиционной партии, на мой взгляд, менее вероятна. В нашей системе, где власть — естественный центр политического спектра, и левые, и правые — всегда меньшинства, причем враждебные друг к другу больше, чем к власти. Ни коммунисты, ни правые никогда не смогут победить поодиночке и никогда не объединятся в «право-левую» коалицию, выдвигающую общего кандидата. Создание же какой-то принципиально новой оппозиционной партии в масштабах громадной страны, жители которой совершенно не привыкли к самоорганизации, также кажется задачей «сверхчеловеческой» сложности.

Может быть, правда, несколько иной и чуть более легкий вариант — появление бунтаря-харизматика, в какой-то мере преодолевающего различия правых и левых, — типа Лебедя в 1996 г. Сейчас это маловероятно — такую фигуру, скорее всего, уничтожат «в зародыше». Но в будущем, особенно при возникновении какой-либо очень тяжелой ситуации (например, сочетание резкого падения цен на нефть и газ с какими-то неблагоприятно развивающимися национальными или внешними конфликтами) появление неожиданного героя исключать нельзя.

Есть еще один вариант, который недавно казался совершенно невозможным, но сейчас приобретает черты реальности. Если политическая система все равно должна смениться, а сменить ее в рамках данного государства не получается, может измениться уже не система, а само государство. Это — пресловутый «распад России».

Демократическая организация общества в масштабах региона у нас неизмеримо проще, чем в масштабах страны. Между тем органические, не бюрократически-силовые политические «скрепы», стягивающие российский социум, — предельно слабы. Единственная политическая партия, наличие которой как-то структурировало политическое пространство страны — КПРФ, ослабевает, и одновременно ослабевает, распадается единство этого пространства. При таком распаде возникают «конфедеративные» тенденции, когда страна начинает превращаться в конгломерат отдельных политических сообществ, каждое из которых «живет своей жизнью».

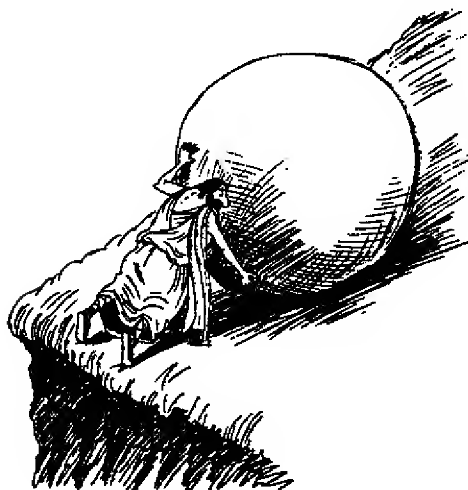
Центральная власть, что для нее совершенно естественно, сделала все, чтобы эту зарождавшуюся тенденцию пресечь, заменив «горизонтальные» органические связи бюрократическими, «властной вертикалью». Однако результат этого «усиления федерации» вполне может оказаться противоположным тому, что планировался. При такой централизации власти все недовольство «низов» будет адресоваться центру, «который и сам не умеет наладить нормальную жизнь, и другим не дает». При каком-то толчке жесткое и хрупкое единство может распасться уже навсегда. Конечно, есть национальное чувство, есть общая культура, но вряд ли эти скрепы будут усиливаться. Поэтому вполне возможно, что Путин на деле начал воплощать в жизнь фантастический, казалось бы, прогноз Бжезинского о расщеплении России на несколько республик. В таком случае вопрос о демократических выборах верховной власти решится простейшим образом: нет государства — нет проблемы.

Число теоретически возможных вариантов кризиса, как видим, невелико. И ни один из них в обозримой

перспективе не кажется реальным. Но это может означать, во-первых, что просто нашего ума не хватает (как сказал Бродский, «каждому дано не по уму»), а во-вторых, любая система, чрезвычайно слабая в начале и в конце своего существования, кажется несокрушимой в период ее зрелости. Так, большевистская система могла запросто рухнуть и «не состояться» в 1917-м, но кто решился бы хоронить ее в 30—50-е гг.? И в 1991-м все могло пойти иначе, и мы не ломали бы голову над тем, что делать с системой, созданной Ельциным. А теперь эта система очень сильна. Но через какое-то время она станет «ветхой», для ее падения нужен будет минимальный толчок. И любой из логически допустимых вариантов перехода к новой системе, который представляется маловероятным или просто нереальным в период расцвета, станет реальным и легким в период неизбежно следующего за расцветом упадка.

2001

Сизифов труд народа и президента. Судьба НТВ и наша судьба. Два сапога носками врозь. Что сближает двух президентов. Потом «лесные братья» вышли из леса... Остановка перед последним рывком. Опасности русского сепаратизма в России. Августа дикие плоды.



СИЗИФОВ ТРУД НАРОДА И ПРЕЗИДЕНТА

Вперёд по дороге, ведущей назад[1]

Год — вполне достаточный срок, чтобы различить контуры нашего «нового» политического курса. И эти контуры действительно обозначились совершенно определенно.

Это — подавление Чечни. Это — борьба за установление государственного (что у нас значит — президентского) контроля над СМИ, начавшаяся с введения цензуры на информацию о чеченской войне и продолжающаяся в борьбе с НТВ. Это — централизация госуправления, ограничение независимости глав субъектов федерации, уравнивание в правах национальных республик и русских областей, создание института президентских «наместников», ликвидация Совета Федерации как корпоративного органа, способного ограничивать президентскую власть. Это — борьба с «олигархами» за подчинение президентской власти крупного бизнеса. Это — «центристская» позиция власти, одинаково дистанцирующейся и от «левых», и от «правых», опора на спецслужбы и «силовиков». Во внешней политике — подбирание обломков советской сферы влияния вроде Северной Кореи или Ирака.

В целом это — курс на восстановление традиционного для России контроля авторитарной независимой от народа власти над обществом. Новая государственная символика, соединившая российско-имперские и советские символы, вполне адекватно отразила суть этого курса. Путинская Россия объявляет себя исторической преемницей двух империй, третьей ипостасью Великой России.

---

[1] «Общая газета», 22—28.02.2001.

Это направление развития — совершенно естественно. По воле случая человек, очевидно, не имеющий никаких «особенных» личных идей. становится носителем громадной президентской власти, ограниченной хаосом и беспорядком, унаследованными от прошедшей революционной эпохи. Что делать этому человеку? Ясно, что наводить порядок. Во-первых, этого хочет и просит весь народ, уставший от пережитой революции. Во-вторых, идея порядка прекрасно компенсирует отсутствие других идей, наведение порядка легко заменяет любую работу. Но что такое порядок?

Образы порядка у разных наций и разных людей — разные, сформированные историей этих наций и биографией этих людей. Что для американцев — порядок (суд над президентом за невинные сексуальные шалости, и изнурительная тяжба из-за нескольких сотен избирательных бюллетеней), то для нас — сумасшествие. Наш образ порядка дан нашей историей теми двумя империями, у которых Путин позаимствовал символику и инвариантные элементы которых он стремится воссоздать в третий раз. Чем жестче подчинение авторитарному властителю и чем слабее зависимость, подчиненность этого властителя кому бы то ни было (народу, партии, сословию) — тем больше порядка. Этот же образ подсказан и личным опытом нашего президента — выходца из организации, осуществлявшей охрану власти от общества. Поэтому путинский курс выглядит совершенно естественным и в своей естественности даже «неинтересным».

Но эта же естественность под иным углом зрения может предстать чем-то вроде рока античной трагедии, как действие каких-то таинственных сил. В политической банальности мы можем увидеть воплощение древнего мифа.

В самом деле, на путь восстановления традиционных для России и совершенно не «европейских» форм жизни вступает общество, которое совсем недавно стремилось, от этих форм уйти и стать «нормальной европейской страной». Более того, мы и сейчас от этого стремления «к Европе» не отказались, и многие сторонники Путина до сих пор верят, что именно этим путем мы туда и придем. Возникает образ какой-то потусторонней силы, которая водит нас по кругу. Как в анекдоте об оружейном заводе, который как не конверсируй, а всё равно получается пулемет.

При этом все вроде бы знают: путь, на который мы встали, Россия проходила уже дважды, и оба раза он приводил её к краху. Все то, что сейчас стремится воссоздать Путин, в Российской империи и СССР было с избытком. «Вертикаль власти» при царях и генсеках была такой, какой не будет уже никогда. Никакие представители президента несоздадут того великого единоообразия и централизма, которые были до Горбачёва, когда от пустынь Туркмении до Чукотки были одни и те же райкомы, райисполкомы, профкомы и управления КГБ, беспрекословно подчинявшиеся Москве. И контроля над СМИ такого не будет, не говоря уже о контроле над экономикой. И как Пуган никогда не сможет достичь той власти, которая была у его предшественников, так и российское государство никогда не достигнет той мощи, какая была у него раньше. Государства, созданные монархами и генсеками, были великими государствами. Величие царской империи — это было действительно величие России. Величие СССР — уже скорее величие идеологии, в которую верили и английские лорды, добровольно становившиеся советскими шпионами, и африканские племена, а не России. Но теперешняя РФ — это

относительно маломощная страна, окруженная успешно развивающимися гигантами. Третье движение по тому же пути совершается страной и народом, значительно уменьшившимися в размерах, уставшими и ослабевшими, надорвавшимися в предыдущих попытках. И ясно, что третий поход обречён на ещё более скорый и сокрушительный провал.

Что же вновь влечет нас на путь, который идет явно не туда, куда нам хотелось бы прийти? Какой леший водит нас меж трех сосен? Имя этой «нечистой силы» — привычка. Всегда легче, удобнее идти по уже хоженой дороге. Рынок, выборы, свобода СМИ — все это очень трудно для нас, все это у нас никак не получается. И наоборот, голосование за того, на кого указало начальство, цензура, вечно правящая партия с ее молодежной и детской организациями, звуки знакомого гимна, гарантированный минимум житейских благ — это привычно, это получается само собой, без каких-либо усилий.

В легенде о Сизифе не сказано, каким образом боги заставляли этого каторжника вновь и вновь катить в гору постоянно срывающийся камень. Не исключено, что Сизиф просто не видел для себя иного пути и иного занятия. Идти для него значило идти в гору, трудиться — тащить в эту гору камень.

Если задуматься, то и в образе нашего президента есть нечто «мифологическое». Более сильный и яркий Ельцин — значительно проще. Это человек, чьей высшей целью была власть. Для Путина же власть — нечаянный подарок судьбы, а не приз за чудовищную волю к победе. Это человек, по-видимому, честно, серьезно и по призванию работавший в КГБ. В его годы эта организация еще обладала

немыслимыми ресурсами, она следила за всем, знала все обо всех. Но с точки зрения выполнения своей главной задачи охраны СССР и соцлагеря — вся эта громадная и для многих самозабвенная деятельность обнаружила свою абсолютную бессмысленность. Где-то в 1990 г. честный и умный работник КГБ должен был осознать, что жизнь прошла впустую. Рухнуло всё, чему он служил. Более того, его усилия по предотвращению этого краха были абсолютно напрасны. Если бы штат КГБ был в три раза больше и его сотрудники работали в три раза лучше, финал был бы тот же самый или еще хуже. В ГДР, где работал Путин, со «Штази» сотрудничала чуть ли не треть населения, но Берлинская стена все равно пала. Осознавший это человек должен был прийти к глубокому душевному кризису.

Мы ничего не знаем про «невидимые миру слёзы» нашего президента. Но, судя по всему, их было пролито не так уж много. Человек не спился, не покончил жизнь самоубийством. Он вышел из КПСС, записался в демократы, стал регулярно посещать церковь. Но при этом он и на новых постах старался восстановить те же отношения власти (в конце концов ставшей его личной властью) и общества, которые были знакомы ему по жизни. Он с любовью вспоминает годы работы в КГБ, охотно опирается на своих старых коллег. Его образ порядка — это образ именно того порядка, который рухнул. Сизиф отряхнулся и, недолго думая, тут же покатил свой камень. Другой работы и другой дороги он не знает. И в этом Путин — действительно народный президент, символ России.

Обреченность сизифовой работы не означает, что самого Путина ждет личный крах и трагический конец (хотя конец всех авторитарных властителей всегда в какой-то

мере трагичен). Наш нынешний президент относительно молод и здоров, может царствовать долго и уйти с ощущением, что камень уже почти на вершине горы. Но народы живут дольше своих правителей, и, ведомый Путиным и одновременно — ведущий его, подсказывающий ему путь, народ обязательно увидит камень летящим вниз. И что после его падения останется на дне воронки — бог знает.

СУДЬБА НТВ И НАША СУДЬБА[1]

НТВ, скорее всего, обречено. Хотя наш верховный главнокомандующий в войне с Гусинским и его командой чудес храбрости отнюдь не проявляет, методичности и упорства у него хватает. И сил у него — много. И это отнюдь не только силы прокуратуры, ФСБ и иже с ними.

Самая главная его сила — это готовность наших людей приспособлять свои суждения и оценки к мнениям начальства, то есть к собственной выгоде. Судьба НТВ похожа на судьбу всяких «подписантов» и вообще попавших «на заметку» и в немилость людей в советские годы. Вокруг НТВ постепенно начинает образовываться пустота. Политиков, которые наперебой лезли в НТВ раньше, теперь туда не зазовёшь. Мы видели, например, как Примаковым, который не имел никаких сомнений в объективности и независимости НТВ в 1999 г., в 2000 г. такие сомнения овладели. Вторая сила — это зависть, особенно ощущаемая у коллег по цеху, к элегантным, демонстративно «элитарным», явно очень много зарабатывавшим «энтэвэшникам. Поэтому

[1] «Московские новости», 13—19.02.2001.

видеть совсем недавно олимпийски спокойного и преисполненного сознанием собственной значительности Киселёва (чего стоит одна заставка к «Итогам» с Киселёвым, идущим по Красной площади) нервничащим, растерянным, говорящим чуть ли не сквозь слёзы — для многих громадное наслаждение.

Так как Путин очевиднейшим образом — всерьёз и надолго, и с НТВ он твёрдо решил покончить, — общественная поддержка НТВ, скорее всего, будет уменьшаться с каждым днём, и ряды его сторонников, да и его собственные ряды будут редеть. При этом для того, чтобы оправдывать свой конформизм и злорадные чувства разного рода справедливыми и объективными соображениями, возможностей более чем достаточно. Не надо даже ничего выдумывать и подтасовывать.

Империя Гусинского и её главная составляющая — НТВ — нормальное порождение «российского пути развития капитализма», при котором капиталы создавались раздачей общенародной собственности Ельциным и его ближними. Источник мощи Медиа-Моста — «доступ к телу» бывшего президента и других членов его семьи и их «обслуживание». Действительно, НТВ критиковал власть. Но до известных пределов такая критика была власти даже выгодна, как до известных пределов советской власти было выгодно терпеть, например, Театр на Таганке. Всегда можно было повести туда иностранцев и показать, какая свобода в СССР. Так и НТВ — это была витрина демократичности и «европейскости» ельцинской России и безопасная для власти форма выхода недовольства интеллигентного и обеспеченного слоя. Ибо власть отлично знала — в критические моменты — как в 1993 и 1996 г.,

фрондирование будет забыто и НТВ грудью встанет на её защиту. И за это власть платила по-царски (прежний президент был вообще человек широкий). Но в 1996 г. и часть наших «олигархов», включая, очевидно, Гусинского, и журналисты НТВ впали в известную логическую ошибку. Имевший ещё в начале 1996 года совершенно ничтожный рейтинг Ельцин одержал триумфальную победу. Победу бы он одержал в любом случае, и в любом случае олигархи и СМИ поддержали бы его (не Зюганова же им поддерживать?). Но в сознании журналистов и олигархов причина и следствие поменялись местами — им начало казаться, что их поддержка Ельцина — это их свободное решение и что он выиграл именно потому, что они его поддерживали. А раз так, то теперь им всё нипочём. Люди «заигрались». Олигархическая и интеллигентская обслуга решила, что они — самостоятельные игроки. И они действительно стали самостоятельными игроками. В 1999 г. Медиа-Мост стал уже играть в собственную игру, сам, без указания начальства (а указаний очень долго просто и не было) выбирая, кого из кандидатов поддерживать.

Между тем ситуация в 1999—2000 гг. стала иной, чем в 1996-м. Режим не только достаточно окреп (достаточно крепок он был и в 1996-м), но главное — осознал свою крепость, свою способность воспроизводить себя и без особых усилий медиа-магнатов и журналистов. Новой власти с её новыми идеологическими акцентами и новой и более массовой поддержкой фрондирование больше не нужно. На этом новом политическом и идеологическом фоне в отношениях НТВ и нового президента возникли и чисто личные элементы. Обиженное на власть, которая, назначая

преемника Ельцина, ни с кем не посоветовалась, НТВ стало свою обиду проявлять. «Крошка Цахес» и другие сценки с Путиным вполне могли больно задеть нового президента, человека, очевидно, более ранимого, чем его жизнелюбивый предшественник. Так НТВ превратилось из канала «конструктивного фрондирования» в реально оппозиционный канал.

НТВ, как и вообще наши либералы, в громадной мере пожинают то, что посеяли сами. НТВ внесло свой вклад в 1993 г. в фактическую ликвидацию российского парламентаризма. В 1996 г. оно сделало всё, чтобы превратить президентские выборы в комедию. Но то, что происходило в 1999—2000 гг. — это просто логическое следствие событий 1991, 1993 и 1996 гг. В некотором роде судьба НТВ похожа на судьбу тех интеллигентных большевиков, которые сначала приветствовали казни и ссылки всяких белых и меньшевиков, а потом ничего не могли понять и апеллировали к внутрипартийной демократии, когда пришли уже и за ними. Сказать в такой ситуации: «поделом» — совершенно естественно и даже правильно.

Но есть вещи, которые сами по себе — правильны, но произнесение их в определённом контексте и без необходимых оговорок — ложь. И необходимая оговорка заключается в том, что каков бы ни был генезис оппозиционности НТВ, сейчас это — независимая и оппозиционнная компания, и в наших условиях, нашей конкретной ситуации НТВ — оплот и символ свободы слова. С его закрытием или трансформацией на телевидении воцарится (на какое-то время) советского типа единообразие. Генезис НТВ и генезис его оппозиционности надо чётко отличать от его теперешней роли.

Очень многое работает против НТВ в сознании людей. Но кое-что работает за неё. Работает (хотя и не очень) нежелание толкать падающего, давать волю завистливым и подловатым чувствам. И здесь требования морали и интересы демократии полностью совпадают. Демократично — это просто то, что порядочно. Демократично — быть на стороне тех, кого, попирая право, преследует за выражаемые ими взгляды власть и на кого набрасывается «агрессивно-послушное большинство». В 1991 г. это были Горбачёв и горбачёвцы. В 1993-м — травившие за два года до этого Горбачёва российские депутаты, которых Ельцин держал в осаде, отключив свет и воду. В 1996-м — противники Ельцина, начисто лишенные доступа к средствам массовой информации, а в 2000-м — это богатые и элегантиые энтэвэшники, которые им этого доступа не давали.

Мне бы очень хотелось, чтобы НТВ выстояло, но шансов на это — мало. Но чем дольше оно собудет сопротивляться, тем лучше. Сопротивление НТВ создаёт прецедент действительно независимого телеканала, отстаивающего свободу слова, прецедент отстаивания собственного человеческого достоинства, оно ослабляет авторитарную власть и ослабляет страх перед ней. Уже то, что первый год правления Путина пошёл на борьбу с Гусинским и победы ещё нет — это громадный, исторический успех и гарантия того, что слишком далеко в своём «наведении порядка» власти зайти не получится. И хотя власть в конце концов, очевидно, победит, такие победы — ненадолго и через какое-то время те, кто сейчас от НТВ отворачивается, будут рассказывать, как они дружили с Гусинским и как его поддерживали.

ДВА САПОГА НОСКАМИ ВРОЗЬ

Как оппозиция укрепляет режим[1]

В статье Явлинского, напечатанной в предыдущем номере «Общей газеты», много верного (хотя высказанные в ней мысли трудно назвать новыми). Но когда автор задаётся вопросом: «Есть ли выход?» — возникает ощущение тупика.

От действующего политика, что называется, «конструктива». Но вместо этого интересного мы читаем, что выход — «на пути соблюдения основных свобод граждан». Второй части статьи, которая должна не констатировать разные печальные истины, а отвечать на вопрос: «Что делать?», просто нет. А ведь это самое главное — понять, каким может быть выход. И прежде всего —откуда выход?

Главная наша беда — не в том, что первый президент был плохой, и второй — не лучше (не такие уж они и плохие — люди как люди), а в сложившейся в стране политической системе «безальтернативной» президентской власти. При такой системе думать о «соблюдении основных свобод граждан», да и вообще о гражданах, просто никому особенно не нужно.

Но безальтернативность власти и неспособность оппозиции прийти к власти — это просто одно и тоже. Власть и оппозиция вместе образуют систему — какая оппозиция (бессильная), такая и власть (безответственная). И когда Явлинский говорит: «Мы много лет были в демократической оппозиции Ельцину», — особенно гордиться здесь нечем. Если результатом десятилетнего оппонирования

[1] «Общая газета», 22—28.02.2001.

было усиление режима до той степени, что Ельцин мог без особых помех обеспечить избрание угодного ему преемника, цена этих усилий — очень сомнительна.

Оппозиции, однако, у нас — две. Власть, прочно занявшая место в центре, имеет оппонентов справа («Яблоко», отчасти СПС) и слева (КПРФ). Сумма этих трёх элементов — власть и две оппозиции — это, собственно, и есть политическая система современной России. Но невозможно, чтобы в функционирующем организме, причём функционирующем устойчиво, левая сторона и центр были бы ужасны, а правая — прекрасна. Так не бывает. В устойчивой системе все элементы взаимосвязаны и соответствуют друг другу. Не только какая оппозиция — такая и власть, но и какая правая оппозиция, такая и левая. Обе блестяще доказали свою неспособность прийти к власти и обе этим объективно являются опорой режима.

Это функциональное единство обеих оппозиций неразрывно связано с рядом их общих качеств. Внешне наши оппозиции предельно далеки друг от друга. Пропасть между ними (даже не столько идейная, сколько социальная, культурная, психологическая) у нас не намного меньше, чем в прошлом веке — пропасть между либеральными дворянами и мужиками. Но именно здесь и есть сходство, заключающееся в крайней социальной ограниченности и правых и левых, приводящей их к бессилию. КПРФ никогда не сможет прийти к власти, потому что один взгляд на Шандыбина, Илюхина и Макашова, да и на самого Зюганова, вызывает у нормального интеллигентного человека ужас. Но — то же и с правыми. Простой народ отторгает их на таком же почти «биологическом» уровне, как интеллигенция — зюгановцев. Рабочие и крестьяне не голосуют и не будут

голосовать за правых не «по душевной лености или даже закоренелой безнравственности». Они не будут за них голосовать, потому что Явлинский или Гайдар на митинге шахтёров выглядели бы такими же инопланетянами, как Шандыбин в «Гласе народа», а представить Хакамаду на ферме — труднее, чем доярку — в стриптиз-баре.

Обоим оппозициям свойственна очень «сильная» идеологическая риторика прямо противовоположной направленности. Коммунисты могут говорить об «оккупационном режиме», распродаже России и заигрывать с антисемитизмом и поклонниками Сталина, а Явлинский считает своим долгом к месту и не к месту ритуально вставлять в любую речь или статью инвективы против коммунизма и советской власти. И та и другая риторика расчитаны на сохранение узких идеологизированных слоёв электората и объективно отпугивает большинства, которое — не сталинистское, не антисемитское и не питает страстной ненависти к давно покойной советской власти, при которой ему жилось лучше, чем сейчас.

С «сильной» риторикой у обеих оппозиций удивительно сочетается компромиссность в отношениях с властью. Явлинский очень правильно говорит о «псевдооппозиционности» коммунистов. Сейчас они кричат об «антинародном режиме», а завтра — голосуют за бюджет и за правительство. Но ведь абсолютно то же — и на другом фланге. Сразу же за инвективами правых может последовать заявление о готовности войти в правительство («на определённых условиях») или загадочная и довольная улыбка, которой лидер отвечает на вопрос, не предлагали ли ему стать премьером. А совсем недавно мы видели, как яблочники, вместо того чтобы ухватиться за возможность

использовать недовольство региональных элит путинской централизацией, активно помогали президенту укреплять «властную вертикаль». В обоих случаях «сильная» риторика сочетается и с лёгкостью перебежек из оппозиции во власть. Рыбкины, Ковалёвы, Маслюковы имеют свои эквиваленты справа в лице Задорновых и Дмитриевых (об СПС мы уже не говорим).

Создаётся впечатление, что лидеры правых и левых в глубине души принимают свои функции в системе, что их социальные ниши и социальные функции для них достаточно уютны, и, понимая, что у власти настоящей они никогда не будут, они рады получить хоть что-то, хоть какой-то участок «настоящей работы». Власти не составляет особого труда контролировать такие оппозиции. «Управляемая демократия» — это и есть система управления власти оппозициями. Поддержание их страха друг перед другом, периодические приманки в виде назначения на второстепенные посты, подкуп лидеров, перехват тех или иных оппозиционных лозунгов — общеизвестные приёмы такого рода управления. Планируемый переход к бюджетному финансированию партий, установление строгого государственного контроля над ними — лишь бюрократическая формализация уже существующего реального положения вещей, при котором обе нужны режиму и обе выполняют свои роли.

Каким же может быть «выход» из этой отлаженной системы? Ясно, что если сама суть системы — безальтернативность власти, значит, выход из неё — переход к альтернативности, который может совершиться лишь с первой победой на выборах являющегося ставленником действующей власти. Но если безальтернативность неразрывно

связана с определёнными чертами оппозиции, значит, для перехода к другой системе нужна совсем другая оппозиция, с противоположными характеристиками.

Это должна быть оппозиция, главная цель которой — не внесение поправок в правительственный курс, не влияние при дворе и «просачивание во власть», а приход к власти. Наличие такой цели предполагает совершенно иную систему представлений о дозволенных и недозволенных компромиссах. Например, сильная риторика, ласкающая слух твёрдых и преданных сторонников, но отпугивающая громадные социальные слои, — вредна и недопустима. Недопустимы вхождение в правительство или политический союз с правительственными чиновниками. Наоборот, союз с очень далёкими социально, культурно и идейно, но также оппозиционными силами — не только допустим, но необходим. (Сейчас мы видим зарождение такого союза в украинском обществе, где люди действительно хотят сменить преступную власть.)

Не только реализовать задачу прихода оппозиции к власти, но и серьёзно поставить её перед собой у нас бесконечно трудно. Этому противодействует всё — все наши привычки, вся наша система. Против этого будут действовать и механизмы власти, которая чётко отличает, что — действительно опасно, а что псевдоопасно, и когда почувствует реальную угрозу, не остановится ни перед чем. А самое главное — эта почти «сверхчеловеческая» задача требует людей совсем иного типа, чем те левые и правые лидеры, которых мы знаем.

Может казаться, что сказанное выше — глубоко ненаучные упования на «чудо» и «спасителя». В некотором роде так оно и есть. Но чудо можно назвать иначе и «научно» —

субъективным фактором, который совершенно реален, ибо люди всё-таки не полностью детерминированы культурой и системой, у них есть свободная воля и разум. В советское время надежда на кого-то вроде Горбачёва тоже казалась маниловской мечтой, но «субъективный фактор» сработал — и появился человек, принадлежавший системе, но не «сводимый» к ней и её разрушивший. Так что ещё всё может быть, и появление справа или слева лидеров, которые смогут вывести страну из тупика безальтернативной власти, хотя и очень маловероятно, но полностью не исключено.

ЧТО СБЛИЖАЕТ ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ[1]

Горбачёв и Путин сближаются. Путин регулярно оказывает Горбачёву знаки внимания и дружелюбия, Горбачёв практически в каждое интервью или выступление вставляет что-то хорошее о Путине. В политических салонах ходят разговоры, будто для Михаила Сергеевича подыскивается какой-то достаточно почетный пост. Каковы источники этого взаимного тяготения?

Причины благосклонности второго президента России к бывшему президенту СССР лежат на поверхности. Путину по многим причинам нужен авторитет Горбачёва. И для постепенного освобождения от имиджа ельцинского ставленника, человека, зависящего от близких к Ельцину людей. И для успокоения Запада и либеральных кругов в России (сближение с Горбачёвым — это как бы гарантия того, что ничего «слишком тоталитарного» Путин не

---

[1] «Общая газета», 22—28.03.2001.

учинит). Может быть, к этому прибавляются и какие-то личные чувства (президенты — тоже люди).

Причины симпатий Горбачёва к Путину также во многом прозрачны. После десяти лет, прожитых в постоянном ожидании от власти какой-нибудь новой пакости, он вдруг получает то уважение и признание, которых, безусловно, заслуживает. И, естественно, он не может не ответить взаимностью. Это нормальное движение человеческой души.

Но мне кажется, у новых отношений власти и Горбачёва есть и другие, более сложные причины. Горбачёв и Путин могут ощущать определенное сходство между той политической системой, которую строил, но не смог выстроить Горбачёв, и теперешней, путинской. Горбачёв стремился дать и действительно дал обществу свободу. Но он не мог стремиться к тому, чтобы эта свобода привела к потери им власти. Не мог даже не из властолюбия, а из чувства ответственности, как человек, осуществляющий «революцию сверху». У Горбачёва и его окружения был план создания чего-то вроде трехпартийной системы. С одной стороны — разные оголтелые «правые» (тогда они еще назывались «левыми»), с другой — тоже оголтелые «левые», и те и другие — вышедшие из компартии, а посередине — мощная, преобразованная КПСС, которая, очевидно, стала бы называться как-то иначе и которая последовательно, без излишней спешки осуществляла бы великое преобразование СССР. Таким образом, ротация политических сил в горбачёвский образ строящейся демократии не входила и входить не могла (разве что в какой-то предельно далекой, за горизонтом его времени, перспективе).

План не реализовался, Горбачёв был свергнут, и то, что наступило после этого, естественно, вызывало у него

чувство горечи. Но развал СССР и уничтожение КПСС — уже исторические факты. Оргия «прихватизации» — тоже в прошлом. Чувства, вызванные этими событиями, притупились, и сейчас, когда дело уже сделано, власть вполне готова признать, что многое было сделано неверно. Эти источники разногласий Горбачёва и власти уже исчезли. Между тем режим, установленный свергнувшей Горбачёва группировкой, постепенно эволюционировал, и с приходом Путина приобрел черты, внешне схожие с чертами горбачёвского плана. Если Ельцин 1991 г. — «правый радикал», то Путин — «центрист», равноудаленный от правых и левых, каковым стремился предстать в свое время и Горбачёв. «Единство» — это что-то напоминающее (скорее пародийно) так и не состоявшуюся горбачёвскую «центристскую» КПСС. Даже возвращение гимна СССР с новыми словами — это как бы то самое, что не успел сделать Горбачёв. Может казаться, что после катастрофы 1991 г. всё потихоньку «встает на свои места». Спираль сделала виток, и мы во многом вернулись к ситуации 1990 — начала 1991 г. Однако за внешним сходством несостоявшейся горбачёвской системы и состоявшейся путинской стоят громадные различия в исторической и социальной роли этих систем.

Во-первых, «центризм» Горбачёва и «центризм» Путина — совершенно разной природы. Горбачёв был реформатором и даже «революционером сверху» и с самого начала поставил себя отнюдь не в центр существовавшего тогда политического спектра, а далеко на «правый», реформистский фланг. В любой позиции всегда найдутся те, кто левее или правее, и любой властитель — всегда в «центре». Но Горбачёв указал такую позицию центра, которая до него считалась бы крайне радикальной, и постепенно сдвигал ее

все дальше, последовательно превращая в «нормальное» и «центристское» то, что еще год и даже полгода назад казалось «экстремизмом». Поэтому горбачёвский «центризм» был мнимым, кажущимся. Иное дело — путинский центризм. Придя к власти, Путин застал определенный, устоявшийся спектр и постарался занять место посередине, на относительно равной дистанции от левых и правых. Это — не динамичный псевдоцентризм реформаторской власти, а «настоящий» центризм, центризм status quo. Сходство есть, но в основном — внешнее.

Во-вторых, безальтернативность, своя собственная и своей партии, к которой стремился Горбачёв, и та реальная безальтернативность, которую имеет Путин, — также совершенно различны. Смысл несостоявшейся горбачёвской «безальтернативности» — в обеспечении той устойчивости, которая была необходима для относительно спокойного и упорядоченного демонтажа старой системы. Я убежден, что если бы горбачёвский план реализовался, это был бы значительно лучший вариант нашего развития, чем тот, который осуществился. Люди постепенно привыкали бы к полученной свободе, вырабатывали новые правила и навыки, СССР, несомненно, все равно разваливался бы, но тоже постепенно и «планомерно». Дальше, конечно, начались бы проблемы. Реформаторский идеализм горбачёвских соратников через какое-то время выветрился бы, партия, не имеющая альтернативы, впадала бы в маразм и коррумпировалась, и все равно возник бы тупик — подобный тем, из которых с муками выбираются Индия и Мексика. Но это — цена, которую вполне можно было бы заплатить за относительную плавность перехода. Сейчас же безальтернативность верховной власти утратила свое историческое

оправдание. Теперь она служит не условием планомерного движения вперед, а средством консервации сложившегося порядка вещей.

Наконец, в-третьих, вектор развития при Горбачёве — это движение ко все большей свободе, степень которой увеличивалась буквально с каждым месяцем и, если бы осуществился горбачёвский план, увеличивалась бы и дальше, пока на повестке дня не встал бы вопрос поиска альтернативы обновлённой КПСС. Сейчас движение вперед, к большей политической свободе, к демократической норме — это переход к ротации власти, к реально альтернативным выборам, который никак не может быть осуществлен самой властью. Любые же естественные движения власти к большему порядку и стабильности сейчас могут быть лишь движениями к ограничению уже существующих свобод, к подавлению любой потенциальной альтернативы. Векторы развития страны и развития власти, временно совпавшие в результате преобразовательной деятельности Горбачёва, разошлись. И сближение Горбачёва и Путина вне зависимости от субъективных мнений и чувств сближающихся камуфлирует разные векторы нашего развития на рубеже 90-х и на рубеже нового века и тысячелетия.

ПОТОМ «ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ» ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА...[1]

На прошлой неделе Владимир Путин дал большое интервью четырём российским газетам. Отвечая на вопрос, скоро ли решится «чеченская проблема», президент

[1] «Общая газета», 29.03–4.04.2001.

напомнил собеседникам: на уничтожение «лесных братьев», партизанивших в послевоенной Прибалтике, ушли годы и годы. Дескать, такие дела скоро не делаются. Понял ли президент, какую перспективу он нарисовал?

Заодно с «лесными братьями» Путин мог бы вспомнить и бандеровцев — борьба с ними заняла по меньшей мере десять лет. Но что следует из этих исторических аналогий? Что на усмирение Чечни Путину надо дать время (из сказанного им легко сделать вывод, что он рассчитывает воевать с чеченцами не менее двадцати лет)? Тем более что горная местность более благоприятна для партизанской войны, чем равнинная Балтия, да и современная Россия не обладает столь эффективной машиной подавления, какой обладал сталинский СССР.

Сам президент ничего другого сказать не хотел. По-видимому, он даже не заметил, какой опасный пример пришел ему на память.

Путин, я думаю, прав, связывая замирение Чечни с созданием лояльной чеченской власти и восстановлением экономики. Однако военное подавление сепаратизма в этой связке скорее причина, чем следствие. Во всяком случае, в Балтии было именно так — когда люди поняли, что победить в вооруженной борьбе они на данном этапе не могут, они перешли к мирной жизни и «коллаборационистскому» участию в институтах советской власти, стали восстанавливать заводы и создавать колхозы, вступать в партию и комсомол. Теоретически нечто подобное, конечно, возможно и в Чечне.

Но продолжим эту параллель немного дальше. Что происходило в захваченных СССР балтийских республиках после того, как они покорились силе? Хотя в период

вооруженной борьбы «лесных братьев» большинство народа, конечно, сочувствовало им и ненавидело русских, все же в 40–50-е гг. были эстонцы, латыши и литовцы, искренне преданные коммунизму и советской власти. Но именно тогда, когда балтийские народы сложили оружие и смирились, такие люди начали «идейно разлагаться», и вся Балтия — от колхозников до академиков, от членов ЦК до диссидентов стала единой в том, что не может быть более прекрасной мечты, чем мечта о возвращении независимости и ликвидации советских порядков. И при первой же возможности эти «отдохнувшие» в период мирной советской жизни балтийские страны поднялись вновь и освободились.

Можно, хотя и очень трудно, представить себе на некоторое время успокоившуюся и перешедшую к мирному труду Чечню в составе России. Но абсолютно невозможно представить себе Чечню, забывшую о своей «героической борьбе за независимость» и переставшую мечтать о свободе и мести. Допустим, что Москве удалось создать в Чечне слой лояльных России чиновников и бизнесменов — это был бы слой людей, объясняющих своим детям, что хотя «идеалисты и герои» погибли не зря, но русских слишком много, плетью обуха не перешибешь и пока надо смириться и накапливать силы. А дети, как это всегда бывает, осуждали бы конформистских родителей, вешали бы в своих комнатах портреты Дудаева, Масхадова и Басаева и в мечтах уничтожали тысячи русских и водружали где-нибудь гордый флаг Ичкерии.

Украинские и балтийские внуки добились своего, их чудом уцелевшие деды — участники антисоветского сопротивления теперь маршируют по улицам Львова и Риги

как победители. В конце концов победили «лесные братья», а не отборные части НКВД — вот чего не заметил президент Путин. Если бы он задумался над этим, то должен был бы спросить себя — а стоит ли убивать и калечить столько народу, сколько поубивали и покалечили советские войска в Балтии и Западной Украине и сколько убивают и калечат по его приказам сейчас, если конец будет все равно один и тот же?

А если бы президент подумал над своей аналогией еще чуть-чуть, он пришел бы к выводу, что подавление сопротивления балтийцев и западных украинцев привело к резкому ослаблению СССР, как это убедительно показал 1991 г. Ведь балтийские народы и западные украинцы, выступив «за нашу и вашу свободу», стали едва ли не главной ударной силой в разрушении Советского Союза. Совершенно очевидно, что без Балтии и Западной Украины СССР был бы значительно прочнее и, может быть, дожил бы до сих пор. Не сыграет ли такую же роль и замиренная Чечня? Думая, что он спасает и усиливает Россию (как Сталин, подчиняя балтийцев и украинцев, думал, что он усиливает СССР), не готовит ли президент ее разрушение?

Судя по тексту интервью, Путин наметил для себя перспективу лишь на двадцать лет. О том, что будет после, он не задумывается, поскольку через двадцать лет президентом он, скорее всего, не будет. Возможно, Путину и некогда думать о таких вещах, ибо, если он будет думать слишком много, он не сможет выполнять свои обязанности. Но все, у кого нет таких обязанностей, могут продолжать думать и дальше того пункта, на котором остановился наш президент.

ОСТАНОВКА ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ РЫВКОМ

Путин не может сделать то, что выше его сил[1]

Послание президента раскрывает философию консолидации и упорядочивания завоеваний революции 1991—93 гг., успокоения России, становящейся нормальным обществом, которому больше не нужны ни революции, ни контрреволюции.

Философия — хорошая. И нет оснований считать, что всё, что говорит президент — обязательно лицемерие. Тем не менее Россия под руководством Путина нормальной европейской страной не станет. И дело здесь не в мировоззрении и личных качествах президента. Дело в том, что объективно стоящие перед нашим обществом задачи данного этапа модернизации — не в компетенции президента. Более того, это — задачи, идущие вразрез с естественными импульсами человека, оказавшегося в путинское время на путинском месте.

В русской истории, начиная с Петра и кончая Горбачёвым, власть неоднократно выступала модернизаторской и европеизаторской силой. Но правители, которые добровольно освобождали общество от каких-либо оков, прежде всего освобождали от них самих себя. Они меняли формальную власть на реальную (плюс одобрение и уважение главной референтной группы — передовых западных обществ). Пётр освободил страну от оков православного традиционализма, «открыл окно в Европу». Но традиционализм был оковами и для царя, потому что, будучи формально всесильным самодержцем, он вынужден был подчинять

---

[1] «Общая газета», 12—18.04.2001.

каждый свой шаг установленному порядку и ритуалу. Пётр освободил страну, освободившись сам и многократно увеличив свою власть — не формальную власть русского царя, а реальную власть человека Петра, и одновременно добившись уважения Европы. То есть задача освобождения общества в громадной мере совпадала с личными властными и честолюбивыми стремлениями царя.

И когда Горбачёв говорит, что он имел как генсек абсолютную власть и мог бы ею спокойно наслаждаться до конца своих дней, он не совсем прав. Власть генсека была абсолютной, лишь если в голове у него не было или совсем ничего или только то, что написано в партийных документах. Этой власти было достаточно Брежневу, чтобы навешивать себе ордена и сладко есть и пить. Но такой человек, как Горбачёв, мог ощущать лишь своё бессилие и безвластие. И, демонтируя власть КПСС и ведя страну к неизмеримо большей свободе, Горбачёв менял формальное всевластие генсека на реальную личную власть президента СССР и вдобавок — на преклонение, любовь, сознание своей исторической миссии. (Другое дело, что реформаторство — дело рискованное, и власть в конце концов можно потерять.) О Ельцине и говорить нечего — ясно, что, раздавая государственную собственность и лишая государство и себя, как его главу, чисто формального контроля над экономикой, он не уменьшал, а увеличивал свою личную власть.

Правителю никогда не хватает полномочий, как миллионеру никогда не хватает денег. И если кажется, что правитель добровольно отказывается от власти, это значит, что он меняет формальную власть на настоящую, отказывается от «деревянных» рублей, чтобы получить

конвертируемую валюту. Но сейчас мы находимся на таком этапе развития, когда этот механизм уже не работает. Тех всеохватывающих архаических систем, от которых верховный властитель мог бы освободить общество, получив за это усиление своей личной власти и личного авторитета, больше нет. При Горбачёве и «раннем Ельцине» речь шла о демонтаже и перестройке всех сфер общественной жизни, о ликвидации монструозной тоталитарной системы. По сравнению с этими задачами самые трудные «модернизаторские» задачи, которые может поставить Путин, доводя до конца недоведённое, завершая недоделанное, кажутся чепухой. Что такое «равноудаление» олигархов, усиление независимости судов или жилищно-коммунальная реформа по сравнению с ликвидацией КПСС, роспуском СССР, введением многопартийности и частной собственности?

Но особенность этих новых задач — в том, что для их выполнения не только не нужно дальнейшее усиление личной власти, но и теперешняя сильная власть является препятствием. Например, я вполне допускаю, что «абстрактно» Путин хочет независимых судов. Но независимый суд — это прежде всего суд, независимый от него самого и его чиновников, то есть суд, мешающий ему, сковывающий его. Между тем задача сделать нечто мешающим тебе — едва ли не противоестественная. Я вполне допускаю, что Путин хочет «равноудалить» олигархов. Но как это сделать, если один олигарх делал тебе всякие пакости и вообще неприятен, а другой помогал и во всех отношениях симпатичен. Для «равноудаления» надо или постоянно сдерживать свои нормальные человеческие импульсы, что очень трудно, или создать механизмы по ограничению

своей власти, что ещё труднее. Но даже если представить себе, что Путин поставит перед собой психологически почти противоестественную задачу — создать систему институциональных ограничений собственной власти, всё равно он ничего особенного сделать не сможет.

Ведь самое главное наше отличие от «нормальных» стран — это не формальный, а де-факто «безальтернативный» характер президентской власти. Это — главная планка, которую мы ещё не взяли, основа и источник наших прочих «ненормальностей». Можно, например, принять какие угодно законы о том, что никто не имеет права влиять на прокуратуру и судей, но если есть безальтернативная, то есть, независимая от общества президентская власть, прокуроры и судьи всё равно будут смотреть ей в рот. Но что здесь может Путин? Если бы «безальтернативность» президентской власти основывалась на какой-нибудь статье Конституции, Путин мог бы её отменить, получив за это восторги Запада и всех демократических сил и превратившись из преемника-назначенца в президента, избранного на свободных выборах. Но такой статьи нет и отменять нечего. Поэтому Путин не может ничего — не станет же человек сознательно готовить себе конкурентов, которые его свергнут? Обеспечить реальную сменяемость власти — задача российского общества, а не президента.

Потенциал модернизации сверху исчерпан. Если нормальные стремления Горбачёва и даже раннего Ельцина к увеличению личной власти могли одновременно вести к увеличению общественной свободы, такие же стремления Путина могут вести лишь к её дальнейшему ограничению. Поэтому и отношение либеральных кругов и у нас и на Западе к Путину — «инстинктивно» значительно более

опасливое, чем к его предшественнику, хотя Путин его и интеллигентнее и умнее. От Путина естественно ждут плохого. Но что хорошего можно от него ждать, что такое лучший вариант возможного Путина?

Мне думается, что самое хорошее — если президент, разумеется, проводя, где нужно, некоторые непринципиальные реформы, не будет стремиться к чему-нибудь великому, если его цели будут скромными, а радости — «тихими». Если Путин не может быть новым Горбачёвым, то лучше, чтобы он был повторением (в более современной и культурной версии) Брежнева, чем пародией на Сталина. Конечно, это — застой. Но взять последний барьер на пути «в Европу», перейти к свободным выборам, в теперешнем состоянии общество явно не готово. И может быть, обществу пойдёт на пользу спокойное «застойное» время, когда можно будет накопить силы для последнего рывка. Когда нет сил идти в гору, которую всё равно надо одолеть, лучше постоять и отдохнуть, чем кувыркаться вниз.

ОПАСНОСТИ РУССКОГО СЕПАРАТИЗМА В РОССИИ[1]

В предыдущих номерах ОГ были интересные публикации о сепаратистских настроениях в Калининграде. Калининградцы, постепенно окружаемые единым пространством объединяющейся Европы, тоже хотят в Европу, и многие готовы заплатить за усиление связей с ней ослаблением

---

[1] «Общая газета», 8—16.05.2001.

связей с Россией, если не просто отделением от «материнского корня».

Калининградский «сепаратизм» — абсолютно иного порядка, чем разные сепаратистские движения нерусских национальностей, с которыми мы уже сталкивались и будем сталкиваться в дальнейшем. Чеченский или татарский сепаратизмы — явления «нормальные», аналоги которым можно встретить где угодно — практически везде, где есть компактно проживающие на своих исторических землях меньшинства. Калининградский же — нечто совсем иное. Это не только не сепаратизм этнического меньшинства, но и не сепаратизм, основывающийся на субэтнических культурных различиях, типа известных в русской истории сибирского или донского. Никакого калининградского субэтноса, этнической группы, которая теоретически может развиваться в нацию, нет. Калиниградцы — обычные русские советские люди, приехавшие сюда из разных концов России относительно недавно, их культура — усреднённая русская советская культура. Такой не этнический и не субэтнический сепаратизм, проистекающий не из преданности своему народу или этнической группе, а скорее от отсутствия такой преданности — явление очень редкое и я даже не знаю его подобий за пределами России. Между тем в современной России аналоги ему есть и их не так мало.

Мы уже несколько раз сталкивались за последние 10—12 лет с более или менее серьёзными и массовыми стремлениями русских территориальных групп «уйти из России», даже тогда, когда этот уход означает превращение в национальное меньшинство, нелюбимое и неполноправное. Первым ярким проявлением этого было голосование русских на разных референдумах о независимости в

1990—91 гг. Может быть, не все русские в Прибалтике понимали, что в независимых Эстонии и Латвии они окажутся без гражданства. Но то, что они — нелюбимое меньшинство, что коренные народы мечтают от них избавиться, что в независимой Балтии их связи с Россией будут крайне затруднены, они безусловно знали и понимали. И при этом не менее 25 процентов русских голосовали за независимость — то есть предпочли положение граждан второго сорта или даже «неграждан» в Европе положению «полноправных граждан» в России или в общесоюзном государстве вместе с Россией.

Кроме литовского, латышского и эстонского, в Балтии был и вполне русский сепаратизм. Многие, видимо, ещё помнят причудливые сообщения о том, что жители российского Ивангорода собирали подписи под петицией о передаче их Эстонии, что такие же подписи о передаче Японии собирали жители Курил. В Карелии, где карелов — небольшое меньшинство, русские мечтают об «еврорегионе», тоже — полуотделённом от России и связанном с Финляндией. Теперь — Калининград, в котором многие готовы интегрироваться в Европу без России.

Что это значит? Совершенно ясно, что каждый раз стремление покинуть Россию связано с материальными стимулами. Это — нечто вроде эмиграции в более богатые страны вместе с территорией и всеми соседями. Менее хлопотно и менее страшно. Однако русские всё же — не самая «материалистическая» нация на свете и мотивации русских стремлений отделиться от России — менее корыстны и более сложны. Дело не в бедности. Дело в ощущении бессилия и безнадёжности. Ощущении своего общества как не зависящего от тебя, тебе враждебного и главное —

не поддающегося исправлению. Это ощущение стало нарастать в России по мере того, как западные общества демократизировались, а Россия продолжала оставаться самодержавным монолитом. Создатель образа Смердякова, жалеющего, что умные французы не завоевали Россию, не мог его просто выдумать — где-то Достоевский слышал такие мысли, которые по отношению к своей стране не слышал ни один европейский писатель.

При советской власти, особенно на первых порах, чувство бессилия человека перед обществом и общества перед властью и соответственно — нашей социальной и культурной «ненормальности» и «безнадёжности» компенсировалось революционной идеологией, ощущением мощи и блеска государства. Это было похоже на то, как слуга гордится богатством и могуществом своего господина. Но сейчас эти компенсаторные факторы исчезли. Вместе с тем власть всё равно не стала реально исходящей от народа и зависящей от него. Всё важное, что произошло за последние десять лет — и распад СССР и превращение России в «независимую державу», и приватизация, и избрание Путина — совершалось фактически без какого либо народного участия.

Чувство бессилия и безнадёжности после падения советской власти могло даже усилиться, ибо стало ясно, что дело не в режиме, не в коммунизме, а в чём-то более глубоком — в том, что определяет одинаковую безответственность перед народом разных сменявших друг друга и идеологически противоположных режимов — в самом нашем национальном организме. Если бы калининградцы считали, что их беды, допустим, — от плохой политики Путина и надо, объединившись со всеми его противниками, убрать его и сделать президентом, скажем, Зюганова, у них не

было бы чувства бессилия и искушений вообще покинуть эту страну. Но в том-то и дело, что они чувствуют, что ничего не могут, что президенты, режимы, идеологии у нас меняются так, что их никто и не спрашивает, и любая власть оказывается независимой от них и безразличной к ним.

На поверхности у нас — скорее национализм и шовинизм. Но все столь популярные у нас утверждения о нашей особой «цивилизации» и особом пути развития имеют оборотную сторону. Ведь принципиальная особость легко может восприниматься как принципиальная безнадёжность. «Русские сепаратисты» как бы согласны с тем, что Россия — особая страна, с особым путём развития, но именно поэтому подумывают от неё избавиться.

Конечно, к такому сепаратизму можно относиться с иронией. Ведь совершенно очевидно, что никогда калининградцы не будут бороться за свободу Калининграда от России, как борются чеченцы за свободу Чечни. Но они — симптом глубокой национальной болезни, всё растущей «хрупкости» российского организма. За суверенитет Калининградской области никто бороться не будет, но в ситуации какого-то большого кризиса может оказаться, что у российского государства будет так же мало защитников, как мало их оказалось у СССР.

Остановить рост таких настроений, естественно, не может никакая централизация. Она может, напротив, только его ускорить. Его могут остановить только серия реальных демократических преобразований (начиная с выборов верховной власти), которые дадут русским людям ощущение того, что их страна действительно принадлежит им. Но если наступление таких преобразваний затянется, наша «хрупкость» может достигнуть таких размеров, что это

лекарство уже не поможет. Для чего калининградцам мучаться, бороться за какую-то общероссийскую программу и какого-то кандидата, который может оказаться и не таким уж хорошим правителем, когда можно просто воспользоваться суматохой и улизнуть в Европу?

С точки зрения мировой истории и человечества в общем безразлично, как будут развиваться отдельные «куски» России — вместе или порознь, и как Россия будет интегрироваться в большой мир — «целиком» или отдельными регионами, оказывающимися под покровительством более развитых соседей. Но на протяжении веков в Россию было вложено так много сил, что её распад — всё-таки обидная перспектива.

АВГУСТА ДИКИЕ ПЛОДЫ[1]

Десять лет назад августовский «путч» перешёл в августовскую «революцию». Эта революция была одной из множества, прокатившихся в тот период по странам СССР и соцлагеря. И все они шли под практически одинаковыми лозунгами — антикоммунизма, демократии, рынка, прав человека, «возвращения в Европу» и т. д. Но сейчас мы видим, что возникшие из них политические системы — очень разные, и наша система принципиально отличается от сформировавшихся в европейских посткоммунистических странах, всё более воспроизводя многие черты предшествующей советской системы. Если из одного из посаженных в землю семян выросло какое-то совсем неожиданное

[1] «Общая газета», 16–22.08.2001.

растение, значит, и семя было — похожее, но другое. Тогда, в момент посадки, его маленькие отличия от других семян можно было не заметить, но затем они превратились в громадные различия сформировавшихся организмов. Что же особенного было в нашей демократической революции?

Практически во всех странах, кроме России, демократы могли представлять (несколько упрощая реальность) коммунизм как систему, привнесённую русскими завоевателями, а демократию и рынок — как возвращение к тому, что было в результате этого завоевания утрачено. Антикоммунистические идеологии легко принимали «национально-освободительную окраску». В России этого быть не могло. Коммунизм у нас — свой, а не навязанный извне, он господствовал дольше, чем в других странах, и под его знаменем была создана величайшая империя, в которой русские были если не господами, то «старшими братьями». Одновременно, хотя докоммунистический строй на позднем этапе своего развития у нас был значительно либеральнее коммунистического, всё же он был слишком далёк от демократии, чтобы её можно было изображать, даже с «натяжками», как возвращение к национальной «норме». «Национально-освободительного» компонента в нашей антикоммунистической идеологии быть не могло.

Естественно, что не могло быть и сплочения антикоммунистической революционной идеологией подавляющего или даже простого большинства народа. В отличие от идеологий революций в Польше, Венгрии, Чехии, балтийских странах, охвативших всё общество (различия политических сил скорее касались методов освобождения от коммунизма и «возвращения в Европу»), наша революционная идеология августа 1991 г., как и октября 1917-го, была

идеологией меньшинства. Это меньшинство было активным, более образованным, сосредоточенным в стратегически важнейших центрах и имеющим мощных союзников вне России, но только на самом пике революционного процесса ему удалось на время повести за собой большинство, добившись избрания Ельцина президентом. Да и тогда большинство голосовало не за «настоящую» власть — никто не подозревал, что Россия скоро станет «независимой» — и очень смутно представляло себе, что хочет Ельцин. (Что хотят Валенса, Гавел или Ландсбергис, понимали все, и все хотели того же.) Эти не бросавшиеся в то время в глаза отличия нашей демократической идеологии и её социального и культурного контекста от демократической идеологии других стран затем развиваются в громадные отличия сформировавшихся политических организмов.

Меньшинство «по определению» не может прийти к власти демократическим путём. Реальная власть досталась нашим демократам не на выборах, а в результате августовской революции и затем — безусловно противоречащих стремлениям большинства, свалившихся на него как снег на голову Беловежских соглашений, которые Ельцин даже пост фактум не решился легитимизировать каким-нибудь референдумом. Способ прихода к власти наших демократов, таким образом, ещё больше, чем их идеология, отличался от способа прихода к власти демократов в европейских странах и был не так уж далёк от того, каким пришли к власти в 1917 г. большевики, прогнавшие Временное правительство и Учредительное собрание.

Дальше отличия нашего политического развития от европейского процесса и его сходства с первым послеок-

тябрьским витком нашей исторической спирали становятся всё заметнее. Если, как это было в европейских странах, возглавившая революцию группировка опиралась на большинство общества и во всех наиболее важных своих действиях выполняла его волю, она может уйти от власти. Ничего страшного при этом ей не грозит. Пришедшему же к власти меньшинству не остаётся иного пути, кроме закрепления у власти и превращения её в «безальтернативную», а демократии — в «управляемую». За августовскими событиями у нас следуют Беловежские соглашения, затем — приватизация, кровавый разгон съезда народных депутатов, принятие на референдуме, подлоги которого очевидны и документы которого были уничтожены, авторитарной Конституции. Каждый из этих шагов означает укрепление власти августовских победителей и одновременно — сожжение ими за собой очередного «моста». После каждого из них наши «демократы» всё меньше могут уйти от власти, ибо такой уход всё неизбежней означает для них тюрьму, разорение, гибель. У победителей был только один путь — вперёд, ко всё большему контролю своей власти над обществом.

Любая революция, даже сплотившая в едином порыве всё общество, всё равно через какое-то время вызывает реакцию. Люди устают от шума и энтузиазма, от вождей, может быть, прекрасных в революционной ситуации, но оказывающихся плохими руководителями в «мирное время», требующее иных навыков и иной психологии. Они начинают понимать, что их ожидания были слишком радужными и что даже в коммунистическом режиме было кое-что хорошее, что выбросили «сгоряча». Поэтому во всех европейских посткоммунистических странах через некоторое

время партии, возглавлявшие революции, терпят поражение на выборах, и к власти приходят оппозиционные группировки, также поддерживающие основные цели революции, но противопоставляющие свою «умеренность» радикализму демократов и объединяющие скорее старую элиту. И именно эта первая ротация власти окончательно превращает власть демократов во власть демократии.

Реакция происходит и у нас. Но «европейская» форма реакции — уход «демократов» и победа оппозиции — у нас была исключена изначально, самим способом прихода демократов к власти. В режиме же «безальтернативной» власти реакция принимает принципиально иную форму и работает не на демократию, а на усиление антидемократических черт государства и общества. Так было на первом витке нашей спирали, при переходе власти к Сталину, правление которого было не только продолжением ленинского, но и реакцией на революцию, вернувшей многие черты, символы и «дух» дореволюционного режима. В «смягчённом» виде то же самое происходит и на втором витке спирали. По совершенно разным причинам, но и верхи, и низы общества, и те, кто потерял от революции, и те, кто приобрёл, у нас стремятся отойти от «духа 1991 года». Те, кто потерял — потому, что революция ничего, кроме страданий и обнищания, им не принесла. Те, кто приобрёл, наоборот, — потому, что она уже сделала своё дело, дала им всё, что могла дать, и теперь им нужно закрепить её «завоевания». И как и в сталинское время, установившийся в результате революции режим начинает всё более опираться на русскую авторитарную традицию (при Сталине — самодержавную, при позднем Ельцине и Путине — и самодержавную, и советскую).

Сейчас на нашем российском «революционном календаре» 1927-й — десятый год после революции. Это — год, когда режим уже прошёл через испытание перехода власти от революционного лидера к его преемнику, ставящему перед собой задачи ликвидации остатков революционного хаоса и установления жёсткой вертикали власти и её полного контроля над обществом. Год, когда люди типа Проханова или Дудина начинают видеть что-то родное в облике этого преемника, который смог вернуть порядок значительно лучше, чем путчисты ГКЧП с их «дрожащими руками», как в своё время что-то родное — не то от Петра I, не то от Ивана Грозного, — с изумлением начинали видеть в Сталине многие русские контрреволюционеры-монархисты. Год, когда власть не только утвердилась как «безальтернативная», но эта безальтернативность уже всеми осознаётся. Когда народ начинает воспринимать власть не как «новую», революционную, а просто как власть, «объективную данность». Когда реальных противников у власти уже не осталось — действительно опасные «оппозиции» разгромлены, а от коммунистов для теперешней власти опасности не больше, чем для большевистской от православной церкви. Год всё усиливающихся конформизма и сервильности, когда каждый руководитель, занявший какой-либо пост, клянётся в верности главе государства и его курсу. Год, когда начался массовый выпуск скульптурных бюстов вождя и маек с его изображением. И это ещё далеко не конец. За 1927-м должен последовать и 1937-й. Особенно страшным он не будет (на втором витке всё мягче и «мельче»), но движение по пути всё большей «безальтернативности» и «управляемости» явно ещё не завершилось, и шпионов вокруг становится что-то всё больше и больше.

В нашей августовской революции было то, что отличало её от других антикоммунистических революций и сближало с русской революцией 1917 г. Соответственно, и организм, который из неё вырос, не похож на европейские и во многом всё более напоминает советский. Но раз так, значит, эти сходства будут сохраняться и в его дальнейшей судьбе. Безальтернативный режим, как все режимы такого рода, будет стремиться ко всё большему контролю над обществом и всё большей неподвижности. Публичная политическая жизнь может вообще замереть, и политика — полностью свестись к подковёрным кремлёвским интригам вокруг «доступа к телу». А дальше режим неизбежно будет погружаться в маразм и спячку. Но общество всё равно будет развиваться, как оно развивалось и в советские годы. И где-то траектория маразмирования режима и развития общества пересекутся, как они пересеклись при Горбачёве. Но в XXI веке всё будет развиваться быстрее, чем в XX, и наш «девяносто первый» наступит значительно раньше, чем через 63 года.

ПОСЛЕ 2001 ГОДА И ДАЛЕЕ – ПОСЛЕ НАС

Послесловие

В сборнике последние статьи относятся к лету 2001 г., как раз примерно к годовщине «августовской революции» 1991 г., когда я начал свою газетную деятельность. В предисловии к сборнику я говорил в основном о том, почему я писал эти статьи, то есть о прошлом, недавнем и более отдалённом. Мой редактор-составитель А. Бельский попросил меня завершить сборник послесловием, в котором говорилось бы не о прошлом и настоящем, а о будущем.

* * *

Ясно, что заглянуть в будущее невозможно. Любое предсказание может быть лишь предсказанием вероятностным («скорее всего, раньше или позже...») и условным («если произойдёт то-то, то скорее всего...»). Фактически единственное, что мы можем с абсолютной точностью предсказать, без «скорее всего» и «если», в жизни человека — что он умрёт, «раньше или позже». Всё остальное — лишь более или менее вероятно. История общества предсказуема не более, чем биография человека.

Было бы очень поучительно сделать такую антологию — собрать воедино все, что в конце XIX – начале XX века говорили о том, какой будет Россия в XX веке. Мы найдём довольно много всяких предсказаний — свободной республики зажиточных крестьян-общинников, православной империи со столицей в Константинополе, даже завоевания России полчищами китайцев и т. д. Но среди них мы бы не

встретили предсказаний ни победы большевиков, которых ещё и не было, ни Сталина, ни Гитлера, ни атомной бомбы, ни Советского Союза, ни его распада, ни появления компьютеров и СПИДа, вообще ничего, что составляло реальное содержание нашей истории и нашей жизни. Есть ли у нас основания считать, что в начале XXI века мы способны предсказать, каким будет мир в его конце, лучше, чем в начале XX-го века люди могли предсказать мир конца XX-го?

Конечно, кое в чём мы понимаем логику функционирования и развития общества лучше, чем сто лет назад. Но с другой стороны, скорость появления новых знаний, новых технических достижений и соответственно — новых условий жизни всё возрастает, и в этом отношении будущее будет ещё более странным для человека, который чудом мог бы перенестись в него, чем было бы настоящее для чудом перенесшегося в него человека прошлого. Я сейчас пишу эти строки на компьютере. Только что я получил письма по e-mail, отправленные мне сегодня из США. В холле у меня говорит и несколько мешает работать цветной телевизор, который смотрит мой сын. Всё это — реализовавшиеся научные фантазии моего детства. И всё это — вещи, радикально изменившие нашу психологию, наши представления о жизни и мире, все условия и формы нашей жизни. В эпоху моего детства не могло быть речи о той политической борьбе за контроль над телевидением, которую мы наблюдали недавно — и не только потому, что в тоталитарном обществе были совершенно иные формы борьбы (то, что тоталитаризм рухнет, ещё можно было представить), но прежде всего — потому что не было телевидения. И исходя из этого, мы можем пред-

ставить себе, каким чудным будет мир наших детей и внуков, какими «не вообразимыми» нам будут их проблемы.

Но тут возникает один интересный парадокс. Саму всё увеличивающуюся быстроту появления нового, изменения картины мира и просто самого мира, в котором мы живём, «скорость появления непредсказуемого» мы можем предсказать с очень большой степенью уверенности. Конечно, любая экстраполяция любой тенденции — всё равно лишь вероятностное предсказание. Бурный рост знаний может когда-то и замедлиться и даже остановиться. Но если мы примем во внимание, что рост знаний шел на протяжении всей человеческой истории и что бурный и идущий по нарастающей рост знаний, начавшийся в Западной Европе в XVI—XVII веках, продолжается уже полтысячелетия и нет никаких видимых признаков, что он может прекратиться или даже замедлиться в обозримое время, то предсказание растущей «непредсказуемости» будет практически несомненным.

Но раз это так, значит, мы имеем очень важный отправной пункт для множества других предсказаний в самых разных сферах общественной жизни, которые не могут не «настраиваться» на эту растущую скорость появления новых знаний и новых возможностей человека. И само общество в своём сознании и своей организации, поскольку оно «настраивается» на эту постоянную и всё увеличивающуюся «непредсказуемость», приобретает определённую устойчивость и стабильность.

Очень устойчивым было древнее и средневековое китайское общество, стремившееся воспроизводить одни и те же неизменные формы жизни. Человек, живущий в нём,

знал, что и двести, и больше лет назад всё было примерно так же, и через двести лет будет всё то же: так же крестьяне будут выращивать рис, работать ремесленники, учёные будут изучать всё того же Конфуция, будут императоры, чиновники, восстания, набеги кочевников. Но, хотя совершенно иначе, не менее устойчивым является и общество США, изначально создавшее социально-политическое устройство, «рассчитанное» на постоянные изменения. Вся история США, кроме периода Гражданской войны, укладывается в жёсткий ритм выборов. И мы можем уже сейчас с уверенностью сказать, когда в конце века будут выборы в президенты и конгресс. И по мере того как другие общества «настраиваются» на постоянные изменения, они начинают приобретать «американскую» устойчивость, а их политическая история — «американскую предсказуемость». (Достаточно сравнить историю европейских стран в XIX веке, первой половине XX и в его второй половине.)

Поэтому есть все основания полагать, что хотя история XXI века будет более непредсказуемой, чем история XX века во всех сферах жизни, она будет более предсказуемой и более «спокойной» в политической сфере. Россия идёт «своим путём», более медленным и трудным, но она идёт в том же единственно возможном направлении, заданном самой глубокой и устойчивой особенностью современного мира — ростом знаний и необходимостью настраиваться на этот рост, приводить свои общественные формы «в соответствие» с этим ростом. В своих формах и с «задержкой в развитии» она проходит те же стадии, что и другие общества. В США «открытое общество», ориентированное на постоянные изменения, возникло изначально. Во Франции его становление пришлось на бурный и кровавый период,

начавшийся с революции 1789 г. и занявший весь XIX век. В России эта фаза развития пришлась на XX век. XXI век должен быть для нас более спокойным и политически «предсказуемым».

Мы совершенно не можем представить себе жилище или одежду русского человека конца XXI века, его развлечения, его заботы и его страхи. Но мы можем с уверенностью сказать, что он будет голосовать, что он будет избирать свои власти, как бы они ни назывались, что важные решения будут приниматься большинством, а меньшинство будет иметь гарантии того, что в каких-то, всё расширяющихся, рамках им дадут жить, как они хотят.

* * *

Рост знаний, постоянные технические новшества, расширение наших возможностей (и «хороших» и «плохих» возможностей) — объективный процесс. Если человек сам и участвует в этом процессе роста знаний и техники, что-то открывает, изобретает и внедряет, то лишь в какой-то очень узкой сфере. Люди как бы сидят в поезде и смотрят в окно, где постоянно и со всё большей скоростью, независимо от их действий и желаний, «сама собой» меняется картина. Телеги и кареты сменяют конки, затем паровозы и трамваи, и т. д. Кто-то, конечно, всё это придумывает и создаёт. Но к подавляющему большинству людей всё это приходит как бы «извне». Однако изменение организации общества, становление устойчивых к переменам, рассчитанных на них политических систем происходит иначе. Оно происходит через изменение сознания людей, через возникновение у них привычки к постоянному появлению нового, перестройку их сознания.

В мире, где скорость изменений была минимальной, который мог восприниматься как в основном неизменный, господствовали тоже неизменные, данные самим богом, догматические религии. Наступление новой, более динамичной эпохи означало упадок и «размягчение» религий. Но появляется новый тип полурелигий — полунаучных теорий: идеологии, обещающие людям земное счастье. Идеологии вроде бы основываются на науке, представляются великими научными истинами и делают верифицируемые предсказания. И именно поэтому они могут возбуждать ту веру, которую уже не способны пробудить старые религии, и создать системы, в которых воспроизводились все элементы религиозной структуры (труды «классиков марксизма» — функциональный эквивалент священных писаний, партия — церкви и т. д.). «На новом, высшем этапе» возрождаются «религиозные войны», «крестовые походы» и «джихады», инквизиции и мученики за веру.

XIX — начало XX века — эпоха идеологий, одна из которых, марксизм-ленинизм, в 1917 г. побеждает в России. Однако по сравнению с «настоящими» религиями марксизм-ленинизм смог продержаться как реальная народная и государственная вера очень недолго. К концу советской власти от него уже ничего не осталось. Мир менялся слишком быстро для догматической идеологии. Все его предсказания провалились, его исходные принципы были разрушены дальнейшим движением науки, ростом знаний. К концу XX века эпоха идеологий кончилась. (То, что в Иране и Афганистане может господствовать религия, а в Северной Корее — марксизм-ленинизм, также не противоречит этому, как и то, что где-то в Новой Гвинее есть племена, живущие в каменном веке.)

Как изменилось сознание людей на протяжении XX века, отчётливо видно при сравнении двух русских революций — 1917 и 1991 гг. В 1991 г. серьёзных идеологий уже нет. Есть что-то очень аморфное — рыночно-демократический романтизм, эклектическая «реакционная» идеология КПРФ, скорее шутовские, чем несущие в себе угрозу фашизма, формы русского шовинизма. Ни одно из этих «идейных течений» не способно возбудить ту страсть, веру и преданность, которую возбуждали в начале века разные социалистические, анархистские и «протофашистские» секты, каждая из которых могла, победив, превратиться в «церковь» и создать тоталитарную систему. Ритм событий первой и второй революции — схожи, но во второй всё — «мягче». Современный человек просто не способен во что бы то ни было поверить так, как мог поверить готовый отдать за эту веру свою жизнь (и уж тем более — чужие жизни) человек начала XX века.

Эта «деидеологизация», «дедогматизация», прямо связанная с бурным ростом знаний — тенденция очень устойчивая. Она связана также со множеством тенденций в других сферах сознания и общественной жизни — с «дедогматизацией» морали, трансформацией семьи, с новыми явления в искусстве, где кончилась эпоха борьбы великих стилей, каждый из которых претендовал на тотальное господство, как в сфере политики на него претендовали идеологии.

У нас уже сейчас нет того «человеческого материала», из которого можно построить здание тоталитаризма, и дальше его будет ещё меньше. Наши дети и внуки будут ещё менее способны стать приверженцами требующей жертв догматической идеологии, чем мы. Их сознание будет ещё

более «открытым». Множество интеллектуальных и моральных догм нашего сознания, которые мы воспринимаем не как догмы, а просто как самоочевидные истины, перестанут быть догмами, множество понятий, которые для нас ещё остаются «священными», утратят свою святость. (Я не хочу в это вдаваться, ибо выводы получатся какими-то уж слишком гротескными и «эпатирующими».)

Эти неизбежные трансформации сознания будут определять и характер будущей политической жизни. Россия ещё не вышла окончательно на путь бескризисного политического развития. Нам ещё предстоит в первый раз выбрать не того, кто уже — наш начальник, что совсем не просто и для нас в какой-то мере тоже — революция. Но эта «революция» будет настолько же «трезвее» революции 1991 г., насколько революция 1991-го была «трезвее» революции 1917-го. Те, кто будет её осуществлять, не только не будут верить сами и обещать другим, что они приведут всё человечество к земному раю коммунизма, но не будут и сулить быстрого достижения всеобщего благосостояния посредством ряда рыночных реформ. Они будут руководствоваться более простыми соображениями — что только таким путём можно сделать власть зависимой от народа и заставить её работать не на себя, а на общество, и что в XXI веке каждый раз голосовать так, как указало начальство — стыдно.

* * *

Поскольку наше сознание меняется, становится всё более «открытым», поскольку эпоха идеологий и тоталитаризмов кончилась и во всём мире и у нас, реальной альтернативы демократии в России нет. Демократия — тип общественного устройства, который соответствует условиям

бурно развивающегося, постоянно меняющегося мира и «открытому» новому, не догматическому сознанию. Это — единственный тип устройства, который в этом мире, где рост знаний и постоянные перемены последовательно сокрушают все догмы, может быть устойчивым. Это — «норма» современного мира и цель, к которой объективно стремятся все общества. (Даже в самых отсталых странах диктатуры прикрываются демократическими институтами, «притворяются» демократиями или предстают как временные меры). Мы уже достигли очень многих элементов демократического общества, и нам осталось «взять последнюю планку» — перейти к реальным выборам власти, после чего наша политическая жизнь должна стать такой же стабильной и «предсказуемой», так же окончательно войти в русло периодических выборов, как это произошло в США и европейских странах. И нет никакого сомнения, что мы эту «планку» возьмём.

Переход к реально демократической системе, однако, не может не представлять для нас достаточно болезненного кризиса. Первое реальное избрание власти, как любой первый шаг, не может не вызвать и страхов, и психологической мобилизации, призванной преодолеть эти страхи, и, безусловно, будет сопровождаться ожесточённой борьбой. Может ли в ходе этого кризиса возникнуть диктатура? Разумеется, такую возможность совершенно исключать нельзя. Теоретически может быть, например, что, предчувствуя конец, какой-нибудь из правителей «династии» заявит, что так как страна — перед лицом опасного кризиса, к власти идут опасные экстремистские силы, он отменяет очередные выборы, — Ельцин сам несколько раз собирался это сделать. (Теоретически может быть и другой вариант диктатуры —

не возникшей из теперешнего режима, а «революционный», например, какая-то группа «силовиков» свергнет правителя и приостановит действие Конституции — этот вариант ещё более «теоретический», чем первый). Но это — не «серьёзные», прочные альтернативы. Такие диктатуры могут быть представлены только временными и чрезвычайными мерами в условиях кризиса, и реально они могут быть или средством продлить агонию правящей группировки или временной мерой по обеспечению порядка в переходный период. Диктатура не может быть реальной альтернативой демократии.

Хотя неизбежность перехода к реально демократической системе и неизбежность кризиса, каким должен явиться этот переход, мне представляются очевидными, форму и сроки этого перехода предвидеть невозможно.

Наша система очень устойчива. Не говоря уже о нашей национальной психологии, она базируется на прочных, устойчивых особенностях наших политических размежеваний. И правая и левая оппозиция у нас — меньшинства, которые не могут объединиться и для которых власть — «меньшее зло» по сравнению с противоположной оппозицией. Победить президента или его назначенца и открыть эру новых отношений власти и общества в этой ситуации просто некому. Задача, решить которую необходимо, и которая всё больше и больше будет осознаваться обществом и мучить его, и которая для людей, живущих в развитых демократиях, просто непонятна, у нас — своего рода «головоломка», «квадратура круга».

В некоторых, особо благоприятных ситуациях решение этой головоломки может быть облегчено. Например, хотя правящая верхушка справилась с кризисом передачи власти

1999—2000 гг., всё же нельзя исключать возможность в будущем подобного кризиса и раскола элиты, когда народ оказывается перед лицом двух кандидатов, одинаково или почти одинаково представляющих власть. Пусть различия между ними будут минимальны, всё равно это будет создание прецедента и переход к принципиально новой системе. В условиях большого кризиса, порождённого «толчком извне» (некоторые такого рода кризисы очень прогнозируемы, например, совершенно очевидно, что если на этот раз нам удастся на время задавить Чечню, то через какое-то время вспыхнет, возможно, с ещё большей силой, новый чеченский, и скорее всего, не только чеченский кризис), может появиться «харизматическая» фигура по типу Лебедя, преодолевающая различия правой и левой оппозиции. Очевидно, могут быть и какие-то иные облегчающие переход ситуации, которых я сейчас не вижу. Но вполне возможно и другое — что нам придётся ждать очень долго, пока вся наша система политических размежеваний не приобретёт какого-то с трудом представимого сейчас принципиально иного вида, когда вообще утратят значение теперешние противоречия между правыми и левыми.

Тем не менее ясно, что система правления «династии», которая сейчас очень прочна, постепенно будет всё более ослабевать и самые труднопредставимые сейчас варианты перехода могут оказаться очень реалистическими и относительно простыми, как в конце советской эпохи оказался возможным и реализовался вариант выхода из тоталитаризма, в период расцвета системы просто непредставимый. Предвидеть форму и время этого перехода — невозможно. Но то, что он произойдёт, что Россия будет иметь нормальную демократическую систему с настоящими выборами и

ротацией у власти разных политических сил — совершенно несомненно.

* * *

Ещё одна очень глубокая тенденция современного мира будет облегчать наш переход к реальной демократии. Это — пресловутая «глобализация».

Мир становится всё более взаимозависимым и «хрупким» (это — тоже прямое следствие роста знаний и развития техники) и всё более единым. Мировой правопорядок — всё более реальным. Во второй половине XX века под влиянием прежде всего страха ядерной мировой войны произошло радикальное «упорядочивание» межгосударственных отношений, и более пятидесяти лет, впервые во всей человеческой истории, никто никого не завоёвывал. Мировой правопорядок сковал свободу действий государств по отношению к другим государствам. Сейчас, на рубеже веков, мы наблюдаем, как он начинает сковывать и внутреннюю «свободу» государств. Это — неизбежный и естественный процесс ограничения государственных суверенитетов, и он, несомненно, будет продолжаться. В мире, где террорист может из Афганистана организовать взрывы в США, финансист, не покидая своей комнаты в Лондоне, произвести падение курса валюты в Малайзии, а авария на АЭС на Украине приводит к тому, что в Финляндии перестают собирать грибы, ограничение суверенитета государств — просто условие выживания. Мы можем экстраполировать теперешние тенденции и представить себе, как будет дальше сужаться сфера «наших внутренних дел», как они всё более будут превращаться в дела, не только затрагивающие всех, но и решаемые всеми. Невозможно сказать, в каких формах это будет происходить, войдёт ли

Россия лет через тридцать в ЕС и НАТО, что вообще будут представлять из себя к этому времени ЕС и НАТО. Но ясно, что чем дальше, тем больше Россия будет «втягиваться» в глобальную мировую систему и в громадные, ограничивающие её «свободу» организации, становиться скорее частью целого, подчиняющейся и в своих внутренних делах законам этого целого. Я думаю, что, например, теперешняя война в Чечне — последний наш такого рода подвиг. Через некоторое время повторить подобное нам просто не дадут.

Дальнейшая интеграция России в «большой мир» и её приспособление к требованиям и нормам этого мира, естественно, будут происходить при постоянных реакциях и протестах. Но постепенно возникает привычка. Теперешнее поколение политиков с ужасом смотрит на такие события, как интервенция НАТО в Косово, аресты Пиночета, Милошевича и Бородина. Но следующее уже будет действовать в условиях, когда процесс над Милошевичем был когда-то давно, и после этого было много других процессов, и будет действовать, сообразуясь с реальной возможностью пойти под суд не в своей стране, где всё может быть «схвачено», а в какой-нибудь самой неожиданной.

Сужение сферы наших «внутренних дел», эрозия суверенитета и интеграция России в мировую систему будет облегчаться тем, что удельный вес России в мире будет становиться всё меньше. Это — тоже необратимый и естественный процесс. Возникшие в Европе на рубеже нового времени достижения распространяются по всему миру. И не только отдельные технические достижения, но и сами основания современного мира, то, что делает возможным все частные достижения — наука, демократия, «открытое». Недогматическое сознание перестаёт быть достоянием

Европы и Америки. Но это означает, что меняется мировое соотношение сил, и если когда-то горстка англичан могла завоевать Индию и затем контролировать её, а частично подключившаяся к европейской культуре Россия могла при завоеваниях на юге и востоке опасаться только других европейских держав, а никак не «азиатов», то постепенно мир идёт к тому, что один китаец или индиец по своей культуре, способности к организации, производительности будет «равен одному европейцу». Но неевропейцев просто очень много. Громадная и резко вырвавшаяся вперёд Америка и всё расширяющаяся и становящаяся всё более единой Европа ещё очень долго будут сильнее Китая или Индии. Но Россия со своими 145 миллионами, которых, скорее всего, будет меньше, а не больше, будет просто маленькой страной, зажатой между двумя гигантами — Китаем и Европой. И для объединённой Европы интеграция такой страны будет не намного сложнее, чем сейчас — интеграция Польши.

* * *

Обрисовывая будущее, как оно мне видится, я только экстраполировал процессы, о которых нет никаких оснований думать, что они могут быть обращены вспять. Теперь попытаемся понять — «хорошее» это будущее или «плохое».

Я думаю, оно скорее «никакое», его можно увидеть и как хорошее и как плохое, и как реализацию утопии и как антиутопию, в зависимости от «вкуса» и даже настроения. И люди этого будущего не будут ни счастливее и ни несчастнее нас.

Любое человеческое достижение приносит с собой счастье. Но очень быстро ощущение счастья пропадает, и об-

щий «баланс» счастья и несчастья в жизни человека остаётся неизменным. Я приведу один личный пример, в котором, мне кажется, как в модели, можно наглядно увидеть всю динамику счастья и несчастья. Когда-то я с семьёй жил в маленькой комнате в квартире с соседями за 70 километров от Москвы, где я работал и куда почти каждый день ездил на электричке, иногда — битком набитой. Я и моя семья, естественно, мечтали об отдельной квартире и хорошо бы в Москве. Мечта эта казалась очень труднодостижимой, почти утопией. Но вот она осуществилась, и полностью — не только отдельная квартира, но и в Москве, и довольно большая. Первое время она даже казалась мне слишком большой для нас. Естественно, это было счастье. Но длилось это счастье недолго. Очень скоро квартира стала нормой, тем, что на ощущение счастья и несчастья так же не влияет, как, например, раньше, когда мы жили в комнатке, на него не влияло то, что комната всё-таки обогревалась центральным отоплением и был водопровод и даже ванная. Навалились новые заботы, и счастливее мы не стали. Очень интересно, что сейчас, когда мы вспоминаем о нашей прошлой жизни в комнатке под Москвой, все кошмары этой жизни кажутся скорее чем-то комическим, а в целом воспоминания окрашены даже в тона несколько романтической ностальгии. Соседи у нас были хорошие и дружные, в доме все друг друга знали, помогали, ходили в гости — в Москве, естественно, этого нет. Кругом были леса и поля, выйдя из дома, ты через десять минут оказывался в лесу, воздух был чистый и т. д. И главное — мы были моложе.

Разберём этот пример. Прежде всего зададим вопрос — почему вообще комната под Москвой была для нас источ-

ником страданий и мы мечтали о квартире в Москве? Ясно, что наши трудности в комнате под Москвой были объективными и что жить в большой квартире в Москве лучше, чем маленькой комнате под Москвой. Но мы мечтали о квартире в Москве, потому что знали, что в принципе её получение возможно. Более того, для нашего социального круга естественным, нормальным было иметь отдельные квартиры в Москве, мы были единственными, кто жил в таких условиях. Если бы квартира в Москве была полностью за пределами наших социальных возможностей, отсутствие её не делало бы нас несчастными — также как в период до изобретения чего-либо — автомобиля, электрического освещения, чего угодно,— их отсутствие не делало несчастными тех, кто их не имел, и как в период жестких социальных делений крестьянин не был несчастен потому, что не имел дворца, в котором живёт помещик, но мог ощущать себя несчастным, если у него нет лошади.

Демократия для России в некотором роде — как московская квартира для моей семьи. Мы мучались, мучаемся и ещё какое-то время помучимся не потому, что у нас просто нет демократии или она — неполная. Смешно думать, что жившие без демократии люди прошлого были несчастнее нас. Мы мучаемся потому, что знаем, что она в принципе возможна, приблизительно представляем себе, как она работает, и знаем, что достичь её в принципе можно, только не знаем как. И это чувство усиливается тем, что мы ощущаем свою принадлежность к миру «европейских народов» (жившие с нами в квартире соседи не так ощущали трудности жизни и о московской квартире вообще не думали). Мы также не благодарим бога каждый день за то, что у нас нет крепостного права или сталинского

террора, как мы не благодарили бога, что у нас всё-таки было центральное отопление, ибо мы сравниваем свою жизнь не с жизнью людей в Африке или жизнью в России прошлого, а с «нормальной» жизнью развитого современного народа.

В ближайшее время чувство недовольства собой и судьбой, очевидно, будет возрастать. У людей нашего поколения всё-таки ещё свежа в памяти советская система (хотя удивительно, как быстро люди забывают о недавнем прошлом и воспринимают достижения последних десяти лет как норму). Для наших детей советская власть уже становится древней историей, чем-то вроде эпохи самодержавия и крепостного права для нас. Система наших фактически безальтернативных выборов будет сравниваться ими не с советской системой выборов чисто ритуальных, а с реальными выборами в других странах. Кроме того, логика развития нашей системы такова, что в ближайшее время власть и дальше будет несколько ограничивать свободы. Между тем лишиться какой-то ставшей уже привычной ценности — болезненнее, чем никогда не иметь её вообще. Очень многие люди болезненно восприняли, например, историю с НТВ, хотя по меркам совсем недавнего прошлого то, что некто просто-напросто сослал куда-нибудь Гусинского с Киселёвым, а в течение года проводил сложнейшую операцию через других людей, сам оставаясь в тени и даже не добившись стопроцентного успеха — это просто какой-то немыслимый разгул демократии и прав человека.

Переход к системе реальных выборов, несомненно, будет счастьем. Я думаю, что некоторое время после того, как русские люди впервые выберут не начальство и почувствуют, что теперь они ничем принципиально не отличаются в

худшую сторону от других народов, они будут испытывать чувство гордости и эйфории. Но, как и у нас при получении квартиры, это чувство будет длиться не очень долго. Нахлынут новые заботы.

Более того, практически несомненно, что пройдёт время, и наша эпоха будет ощущаться приблизительно так же, как я и моя семья вспоминаем сейчас жизнь в комнатке под Москвой — с некоторым ностальгически-романтическим оттенком чувства. Любое движение вперёд, любое достижение имеет какие-то «оборотные» стороны. И я вполне допускаю, что нашим детям будет казаться, что мы жили как-то ярче, чем они, «во что-то верили», и характеры были сильнее, и не было тех бед и проблем, с которыми они столкнутся и о возможности которых мы также не подозреваем, как наши родители не подозревали о возможности СПИДа, изменения климата в результате каких-то выбросов в атмосферу и возможности показа по телевидению в новогодние праздники фильма о лесбийской любви.

Баланс наших ощущений счастья и несчастья зависит от нас самих. Есть люди, которые скорее довольны всем и радуются жизни, есть — недовольные и склонные страдать. Но от времени и внешней среды счастье и несчастье не зависят. Прогресс — не движение от плохого к хорошему, от счастья к несчастью. Мне думается, что лучше всего сравнивать прогресс с развитием человеческого организма. Чем более глубока и необратима тенденция развития, тем более она похожа на естественные органические процессы, переход от одного возраста к другому. Но эти процессы — не плохи и не хороши, а просто неизбежны.

* * *

Я сделал всё, что мог — есть «вступление», есть основной текст и даже «заключение». Теперь мне остаётся только выразить благодарности. Я благодарю инициатора и редактора-составителя этого издания Альберта Григорьевича Бельского, спонсора — генерального директора ОАО «РИТЭК» Валерия Исааковича Грайфера и издательство «Летний сад».

июль—август 2001

ОГЛАВЛЕНИЕ

1999

2000

2001

Дмитрий Ефимович Фурман

НАШИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Редактор *А. Ю. Зубков*
Корректор *С. М. Хорошкина*
Тех.редактор, вёрстка *В. Г. Васильев*
Оформление обложки *M. Verte*
Фото на переплете *А. Д. Фурман*

Сдано в печать 28.09.2001 г. Формат 70x100/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Петербург». Усл. печ. л. 17,92. Уч.-изд. л. 16.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3543.

ЗАО ИТД «Летний сад»
121069, Москва, Б.Никитская, 46.
Изд. лицензия ИД 03439 от 5.12.2000.

Отпечатано в ПФ «Полиграфист»
160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3